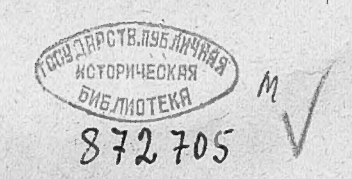
ВОСПОМИНАНИЯ БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЧИЧЕРИНА

МОСКВА СОРОКОВЫХ ГОДОВ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
И ПРИМЕЧАНИЯ
С. В. БАХРУШИНА

ИЗДАНИЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХ
1929

Обложка гравирована
на дереве А. Кравченко



Главлит № А 34156. Москва — 1929 г. Заказ № 1370. Тир. 4000.

14-я типография „Мосполиграф", Бородинский мост, Варгунихина гора, 8

В настоящем выпуске „Записей Прошлого“ печатаются четыре главы (III—VI) из „Воспоминаний“ Б. Н. Чичерина, отрывок из которых (главы VIII—X) был напечатан в одном из предшествующих выпусков под заглавием: „Московский университет. 1861—1868 г.г.“ Издаваемые в настоящее время главы говорят об Москве на переломе между царствованиями Николая I и Александра II (1845—1857), главным образом, об Московском университете и об литературном движении той эпохи. В жизни Б. Н. Чичерина охватываемый ими период был поворотным моментом, который определил всю дальнейшую его деятельность и заложил основание его политического и научного миросозерцания. То были годы студенчества и подготовки к профессуре, годы, наложившие на Чичерина глубокий отпечаток, когда он впервые вошел в соприкосновение с широкими научными и литературными кругами, впервые втянулся в круг глубоких умственных интересов, впервые поставил себе краеугольные вопросы и попытался найти им разрешение.

Б. Н. Чичерин вступил в Московский университет, по его собственному выражению, в „лучшую эпоху московской жизни, эпоху умственного движения сороковых годов, когда всюду, и в литературе, и на университетской кафедре, и в гостиных, кипели умственные интересы и происходили блистательные ристалища славянофилов и западников“. Начало его ученой и литературной деятельности охватывает „другую хорошую для Москвы эпоху, время возрождения русского общества.... время пылких надежд и зарождающейся (говоря его словами) свободы“. В ряде ярких характеристик он рисует людей

той эпохи: профессоров и ученых, как Грановский, Кавелин, Соловьев, Забелин, Шевырев, Крылов, Корш, Редкин, Морошкин и другие, литераторов различного направления, как Павлов и его жена, Кетчер, Тургенев, Лев Толстой, Катков, Леонтьев, славянофилы Хомяков, Юрий Самарин, Аксаковы, Киреевские, видных государственных деятелей, как братья Милютины, и тут же он изображает общий фон московской жизни той эпохи и быт ее великосветского общества. В итоге получается цельная картина той переходной эпохи, которая знаменовала собою глубокий кризис, пережитый Россией в середине прошлого столетия — развал крепостнического общества и зарождение на его развалинах общества буржуазного, кризис, нашедший себе выражение в литературном движении 40-х годов и завершившийся реформами 60-х годов.

Мировоззрение Чичерина всецело отразило собою ту бурную эпоху Sturm und Drang, с которой совпали его юношеские годы. Он пережил на себе волну новых запросов, противоречий и исканий, которая охватила тогда все мыслящее русское общество. „Воспоминания" Б. Н. Чичерина тем и интересны, что с особенной рельефностью рисуют нам глубокую раздвоенность, переживавшуюся передовым представителем того класса, который под напором неизбежной необходимости, должен был отказаться от своего первенства в обществе.

Среда, из которой вышел Чичерин, была богатая дворянская среда,—„аристократическая", употребляя любимое им слово. „Моя молодость протекла средь старого дворянского быта",— говорит он сам. Он и рисует в первых двух главах своих „Воспоминаний" этот „старый дворянский быт", патриархальный, веселый, изысканно-изящный [1]. Уголок Тамбовской губернии, где протекли годы его детства, в соседстве с „Марой" Боратынских, с „Любичами" Кривцовых, был один из типичных центров дворянской культуры, доживавшей блестящий век накануне своего падения. Усадьбы в европейском вкусе с английскими парками, с павильонами в готическом

[1] Глава I. „Мои родители и их общество"; гл. II. „Мое детство". Эти главы имеют выйти в одном из последующих выпусков „Записей Прошлого".

стиле, гротами, искусственными оврагами, башнями „англо-саксонской архитектуры", оранжереями и теплицами, библиотеками и готическими часовнями, вечные семейные праздники, вечные гости („помещики объезжали весь край, везде гостили по несколько дней, а более близкие по целым неделям"), „разного рода затеи", леса, освещаемые ночью „разноцветными фонарями и бенгальскими огнями", „пиршества" с угощеньями и плясками крестьян, и тут же тонкость литературных интересов, блеск и остроумье беседы, самые утонченные плоды умственной культуры,— вот те рамки, в которых рос Б. Н. Чичерин. Отец его был представителем новой формации дворянства, не в смысле происхождения (Чичерины вели свой род от времен Василия Шуйского), а в смысле новых хозяйственных устремлений. Образование Николай Васильевич Чичерин получил более, чем скромное. „13 лет он окончил изучение языка у тамбовского семинариста, потом учился в полку, переписывая то, что ему нравилось в книгах, и стараясь отгадывать правила и красоты языка, не имея никого, кто бы мог их ему объяснить". Но природная сметка вывела его на широкий путь. Крупный тамбовский помещик, он в 30-х годах умножил свое состояние промышленной предприимчивостью по винному откупу. В 1834 г. он, говоря словами его сына, „кроме крупной доли в Тамбовском откупе, взял еще Кирсанов; 8 лет он держал эти города; под его непосредственным надзором предприятие шло успешно, и мало-по-малу полученные им от отца 300 дес. возросли до 1300". И по политическим своим убеждениям, этот типичный представитель нарождавшейся дворянской буржуазии, выработал себе чисто буржуазные умеренно-либеральные взгляды. В его кабинете висели портреты „освободителей народов" — Вашингтона, Франклина, Каннинга,— которые после его смерти вместе с его убеждениями по наследству перешли к его старшему сыну; но, „как русский человек, он понимал положение России, потребность в ней сильной власти. Поэтому он всегда относился к власти с уважением и осторожно... Когда в 50-х годах заговорили о реформах, он вполне признавал их необходимость, но смотрел вперед с некоторым сомненьем, опасаясь неизвестного будущего и полного переворота в частной жизни".

В этой обстановке, соединявшей блеск старого дворянского быта, основанного на крепостном праве, с новыми запросами буржуазного хозяйства и буржуазной идеологии, Б. Н. Чичерин рос настоящим барчуком, окруженный заботою и холею. Его не отдавали учиться в училище, и он получил чисто домашнее образование, пользуясь уроками частных учителей. Для подготовки в университет он вместе с братом был отвезен в Москву, где готовился к экзаменам под руководством лучших профессоров университета; на экзамен его, 16-летнего юношу, повез отец. И в университете Чичерин попал в тесную среду дворянской молодежи, образовавшей „аристократический кружок", державшийся особняком, на который несколько косилось остальное студенчество. „Люди с одинаковым воспитанием",— откровенно говорит он по этому поводу,—„естественно сходились друг с другом, скорее нежели с другими".

Богатая дворянская среда, в которой родился и воспитывался Б. Н. Чичерин, наложила сложный отпечаток на всю его идеологию. В его „Воспоминаниях" ярко выступает почти наивная идеализация поместного дворянства и наряду с этим высокомерно пренебрежительное отношение к городской буржуазии, к „купцам", о которых он отзывается не иначе, как с какой-то презрительной снисходительностью.

Особенно характерно вырисовывается дворянская окраска Чичерина в его взглядах на дворянские привилегии. Всякий раз, как в самом дворянстве или в правительственных кругах возникал вопрос об уравнении дворянства в правах с прочими сословиями, в нем вспыхивал полемический задор. Как умный человек, он не мог не согласиться с справедливостью такой меры, но спешил оговориться, что проведению ее в жизнь должно предшествовать коренное переустройство всего государственного порядка. Так высказался он по поводу нового воинского устава Александра II, „когда само московское дворянство... рукоплескало отнятию присвоенных ему дворянскою грамотою прав". „Это была,—пишет он,—отмена основной статьи жалованной дворянской грамоты, которою дворянству на веки-веков даровалась свобода от обязательной службы. При разрушении государственного строя, опиравшегося на сословные различия, и водворении на место его порядка, основанного на всеобщей

свободе и равенстве, эта льгота рано или поздно, конечно, должна была пасть. Но нежелательно было уничтожение исторически укоренившейся свободы без замены ее другою, высшею. С точки же зрения чисто дворянской, подчинение благородного сословия рекрутчине, наравне с мужиками, шло наперекор всем понятиям о дворянской чести, которые установились в течение столетия".[1]

„Среди самого дворянства выдающиеся люди находили мое направление слишком консервативным",—не без чувства удовлетворенного самолюбия пишет он. Не даром петербургский предводитель дворянства П. П. Шувалов, которому представили Чичерина в качестве „un des rares défenseurs de la noblesse", отвечал не без язвительности: „Je trouve que Monsieur nous défend trop" [2].

Так, на всем протяжении своих записок Чичерин остается тем, чем он был по происхождению,—дворянином, дворянином умным, просвещенным, далеким от крепостнических вожделений своего сословия, но насквозь проникнутым с детства воспитанными классовыми представлениями и взглядами.

Из дворянской же среды вынес Чичерин и глубокое принципиальное уважение к представителям верховной власти. Еще детьми он и его брат „проникались благоговеньем, когда... (им) говорили, что перед государем и наследником нельзя являться иначе как в коротких белых штанах и шелковых чулках" [3]. Позже на смену этим ребяческим впечатлениям пришли другие, более серьезные. Не принадлежа непосредственно к придворному кругу, Чичерин через близкую ему группу родовитой знати рано завязал связи с двором; уже в конце 50-х годов он сблизился с сравнительно демократичным двором великой княгини Елены Павловны; в 1862 г. гр. Строганов, „попечитель" наследника, рано умершего сына Александра II — Николая, привлек его сначала к учебным занятиям с цесаревичем, а затем и в его свиту при путешествии по Западной Европе. К этому молодому человеку, в лице которого Россия,

---

[1] Гл. XI.

[2] Воспоминания Б. Н. Чичерина, Московский университет. Стр. 40—71 („Записи Прошлого").

[3] Гл. II.

по его словам, „рисковала иметь государя просвещенного“, Чичерин испытывал необычное для его сухой души чувство грустной нежности, в котором условное восхищение перед личностью будущего венценосца сплеталось с привязанностью к талантливому ученику.

Эти разнообразные и сложные отношения к высоким сферам не могли не отразиться на строе мыслей Чичерина. Долгое время он упорно боролся и печатно, и устно против всяких конституционных „вожделений“ либеральной части общества. Известная книга Б. Н. Чичерина „О народном представительстве“, появившаяся 1866 г., имела целью, как мы теперь знаем из откровенного признания самого автора, показать неприменимость конституционной формы правления к России.[1] И если в конце своей жизни Чичерин должен был изменить свою точку зрения и опубликовал за границей брошюру, в которой осторожно высказывался за конституцию, то он уступил лишь поневоле неоспоримой убедительности фактов, в значительной степени под влиянием личного раздражения и перенесенных унижений со стороны не только придворного круга, для которого он всегда был чужим, но и самих носителей верховной власти, разочаровавшись в их личных достоинствах и убедившись в безнадежном гниении окружавшего их „болота“. Но к каким бы выводам он ни пришел в последние годы перед смертью, всю жизнь Чичерин оставался под обаянием обветшалых, сделавшихся вопиющим анахронизмом после освобождения крестьян дворянских политических идеалов, в основе которых лежала мысль о просвещенном абсолютизме, опирающемся на дворянскую аристократию.

И в области религии Чичерин в детстве был окружен атмосферой старой дворянской традиции, из которой он почерпал „младенческую веру“, утраченную им лишь в юношеские годы.

Так, среда, в которой воспитывался Чичерин, способствовала консерватизму убеждений и классовой узости мышленья. Чичерин был, однако, слишком умен, чтобы сделаться примитивным реакционером. Традиционная дворянская идеология XVIII в.

[1]) Воспоминания Б. Н. Чичерина, Московский университет. Стр 162—163.

в том кругу, к которому принадлежала его семья, как мы видели, уже в представителях старшего поколения была несколько поколеблена новыми буржуазно-либеральными веяньями, а в младшем поколении она была уже совершенно нарушена благодаря блестящему образованию, полученному в семье и в университете, которое вводило молодежь в круг философских и научных интересов Западной Европы, переживавшей расцвет послереволюционной культуры. Особенно глубокое впечатление произвел на Чичерина Московский университет, в который он вступил в 1845 г. Вот в каких восторженных выражениях говорил он об нем уже в старческих годах: „Университет дал мне все, что он мог дать: он расширил мои умственные горизонты, ввел меня в новые, дотоль неведомые области знания, внушил мне пламенную любовь к науке, научил меня серьезному к ней отношению, раскрыл мне даже нравственное ее значение для души человека. Я в университете впервые услышал живое слово, возбуждающее ум и глубоко западающее в сердце; я видел в нем людей, которые остались для меня образцами возвышенности ума и нравственной чистоты. Отныне я мог уж работать самостоятельно, заниматься на свободе тем, к чему влекло меня внутреннее призвание... Весь запас сил, с которым я готовился вступить на этот новый путь, я вынес из университета, а потому никогда не обращался и не обращаюсь к нему иначе, как с самым теплым и благодарным воспоминанием.“

Из университета Чичерин вышел последователем „гегелизма“ и глубоким поклонником Запада. Еще более расширило его кругозор и приобщило к результатам либерально-буржуазной культуры путешествие по Западной Европе, которое он совершил по окончании университета, в частности пребывание в Англии[1]. Так, из лекций московских профессоров-западников, особенно Грановского, имевшего на юношу исключительно сильное влияние, из западно-европейской литературы, в частности из философии Гегеля, наконец, из личных наблюдений черпал молодой Чичерин новый строй

[1] Глава „Воспоминаний“ Б. Н. Чичерина, посвященная его путешествию по Западной Европе, имеет выйти в ближайшее время в одном из очередных выпусков „Записей Прошлого“.

религиозно-политических понятий. Принадлежа к дворянским кругам, уже приближавшимся к буржуазии, он воспринял этот строй понятий во всей их полноте, но, подобно своему отцу, должен был так или иначе попытаться примирить их с внедренной с детства старой идеологией. Отсюда известная раздвоенность его миросозерцнаия.

Влияние университета, первым делом, отразилось на религиозном мировоззрении молодого студента. „Младенческая вера", в которой он воспитывался, сменяется теперь скептицизмом. „Скоро все мое религиозное здание разлетелось в прах; от моей младенческой веры не осталось ничего",— говорит Чичерин. „Знакомство с европейской литературой,— пишет он далее,—и в особенности с ученою критикою могло только подкрепить зародившийся во мне скептический взгляд. Одно уже чтение „Всеобщей истории" Шлоссера показывало мне предмет совершенно в ином свете, нежели в каком я привык смотреть на него с детства. Еще более я утвердился в своих новых убеждениях, когда прочел разбор библейских памятников Эвальда в его „Истории еврейского народа", и на все наложило окончательную печать чтение Штрауса. К тому же вело, с другой стороны, и изучение философии". Этот скептицизм приводил в сущности к своеобразному атеизму. Христианство он „признавал религией средневековою, окончившею свой век, отслужившей, так сказать, свою службу, а так как будущая религия, религия духа, еще не явилась, то... (он) думал, что современное человечество, по самому своему положению, лишено религиозных верований". Чичерин, однако, не делал естественного дальнейшего шага от своего религиозного индифферентизма. От религии он не отказался и в более зрелые годы он вернулся к христианству, хотя и понимаемому им по-своему[1].

Такие же колебания испытал молодой Чичерин и в отношении социально-политических своих взглядов. В годы молодости он, „как 20-летний юноша, разумеется, сочувствовал крайнему направлению". Но события 1848 г., показавшие наглядно угрозу для его сословия, таившуюся

[1] Ср. Воспоминания Б. Н. Чичерина. Московский университет, стр. 147—149.

в этом „крайнем направлении“, оттолкнули его от него: „Для меня громовым ударом,—пишет он,—были июльские дни, когда демократическая масса, в которую я верил, вдруг выступила без всякого повода и без всякого смысла, как разнузданная толпа, готовая ниспровергнуть те самые учреждения, которые были для нее созданы. Когда мятеж был укрощен и водворен Кавеньяк, я сделался умеренным республиканцем и думал, что республика может утвердиться при этих условиях. Но выбор президента окончательно подорвал мою непосредственную веру в демократию. Я попрежнему остался пылким приверженцем идей свободы и равенства; я продолжал видеть в демократии цель, к которой стремятся европейские общества; на эту цель указывало и все предыдущее развитие истории и самые беспристрастные европейские публицисты. Но достижение этой цели представлялось мне уже в более или менее отдаленном будущем. Я перестал думать, что исторические начала могут осуществляться внезапными скачками и пришел к убеждению, что европейская демократия должна пройти через многие испытания прежде нежели достичь прочных учреждений“.

Впечатления 1848 года толкнули Чичерина, таким образом, в сторону консерватизма. Это отразилось на его отношении к социализму. Если в юности он готов был принять его, как „смутный идеал отдаленного будущего“, то события, развернувшиеся перед ним, сразу охладили его сочувствие к нему, и „все эти мечты рассеялись, наконец, в более зрелую пору жизни“. Отсюда исключительно резкие отзывы о социализме и его провозвестниках, отсюда декламация против „шарлатанства демагогов, которым нетрудно увлечь за собой невежественную массу, лаская ее инстинкты, представляя ей всякие небылицы и возбуждая в ней ненависть к высшим классам“, отсюда недостойные выходки по адресу Чернышевского и вообще всех русских „нигилистов“. Борьба с революцией делается основным лозунгом политической программы Чичерина. Манифестом этой борьбы было известное его письмо в „Колоколе“ 1 декабря 1858 года.

Но, выступая против революционных лозунгов, Чичерин отмежевывается и от крайних правых взглядов. Поклонник правового строя и культуры Запада, он зло высмеивает сла-

вянофильские фантазии и жестоко бичует реакцию в лице Каткова, гр. Дмитрия Толстого, Победоносцева. И в своем консерватизме он был непоследователен. Он признавал блага парламентского образа правления. „Теоретически,—говорил он—конституционная монархия лучший из всех образов правления,... к представительному порядку стремится всякий образованный народ, но... он требует условий, которые не всегда на лицо“. Этих условий Чичерин долгое время не находил в России. В России он проповедовал необходимость сильной власти, мощного государства. Его письма к брату в 1861 г., негласно доходившие до царя, представляют собой сплошной гимн „сильной власти“ и приобрели ему благорасположение высших сфер; его приятельница Э. Ф. Раден, фрейлина великой княгини Елены Павловны, сравнивала его с наиболее видным из современных носителей идеи консерватизма в Западной Европе, с Руэ[1]. Но, идеалиализируя власть, Чичерин отрицал то, что он называл „власть в голом виде“, то есть произвол. Сильную власть необходимо было, как он внушал Горчакову, соединить с „либеральными мерами“[2].

Предоставляя государству всю полноту власти, Чичерин мыслил это государство, как государство правовое, и в этом было опять тяжелое противоречие, которое язвительно отметил в желчном письме к нему Кавелин. Свой политический дуализм он рельефно выразил в вступительной речи в Московской городской думе, когда был избран городским головою в 1881 г.: „По своему характеру, по своим убеждениям, я не человек оппозиции. Я держусь охранительных начал не в том, конечно, смысле, в каком нередко принимается это выражение, которое выставляется каким-то пугалом, означающим врагов всякого улучшения, а в том смысле, какой может придавать ему разумный человек, любящий свободу, но понимающий необходимость чего-нибудь прочного в жизни. Я приверженец охранительных начал в том смысле, что я глубоко и живо чувствую потребность власти и порядка. Я вижу в этом завет всей русской истории и существеннейшую нужду настоящего смутного времени. Поэто-

[1] Чичерин, Московский университет, стр. 221.

[2] Там же, стр. 28 след. („либеральные меры и сильная власть“).

му я всегда буду готов итти рука об руку с властью. Но итти рука об руку с властью не значит поступаться своими правами, а еще менее отрекаться от независимости своих суждений. Человек с самостоятельным образом мыслей дает свое содействие не иначе, как сознательно и свободно. Я уверен, что в интересах самой власти встречать перед собой не страдательные только орудия, а живые, независимые силы, которые одни могут дать ей надлежащую поддержку, ибо только тот кто способен стоять за себя, может быть опорою для других. Мы живем в трудное время, где приходится бороться с внутренними врагами, и это налагает на нас обязанность быть вдвойне осторожными в своих действиях. Мы должны обдумывать каждый свой шаг, дабы не поколебать и и без того обуреваемую враждебными стихиями власть. Не покидая.... почвы права, мы должны стараться соблюсти счастливую середину между старыми привычками безусловной покорности и новыми стремлениями к безотчетной оппозиции..... Будем постоянно помнить.... что только согласным действием правительства и общества мы можем победить гнетущий нас недуг и приготовить для своего отечества более светлое будущее"[1]. Таково политическое credo Чичерина, как оно сложилось к концу его общественной деятельности.

Политическому идеалу Чичерина вполне, в сущности, удовлетворял бюрократический либерализм начало царствования Александра II. Реформы 60-х годов оставались для него всегда проявлением высшей государственной мудрости и справедливости, во имя которой он готов был многое простить власти.

В конце-концов, как и многие самые просвещенные его современники, он был сторонником „абсолютизма“, действующего на основах строгой законности и социальной „справедливости“.

Этот политический идеал нашел себе выражение во всей общественной деятельности Б. Н. Чичерина. Он хотел работать рука об руку с властью, под условием, чтобы власть действовала закономерно. Свой тонкий ум, свою блестящую

[1] Гл. XIV.

диалектику, свои глубокие познания, все силы своей мысли он готов был предоставить в распоряжение „просвещенного и мудрого“ правительства; оппозиция для оппозиции ему претила. В 1861 г., когда вспыхнули студенческие беспорядки, он осуждал правительство за его мероприятия, но со всей силой убежденности поддерживал его требования и помогал восстановлению порядка. В эту эпоху он пытался даже играть роль негласного маркиза Позы и посредством писем к брату, доходивших через Горчакова до государя, стремился влиять на действия правительства в направлении, которое он считал справедливым. В 1868 г., когда большинство Совета университета допустило, по его мнению, ряд незаконных действий, он обратился, первым делом, к начальству для восстановления попранного права и, не добившись правосудия, вызвав своим упорством недовольство монарха, подал в отставку и не вернулся в университет, несмотря на то, что доброжелателям удалось замять дело. Избранный в 1881 г. московским городским головою, он проявил те же, свойственные ему черты: независимость перед администрацией и лояльность в отношении монарха, и пытался использовать свое почетное положение для достижения основной цели своей политической деятельности — установления связи между верховной властью и обществом, в чем он видел единственное средство для создания сильного правительства и для борьбы с революцией. Таков смысл его знаменитой речи на обеде городских голов. В правительственных сферах она была истолкована, как требование конституции, и политической карьере Чичерина был положен конец.

Так, под маскою сильного и самоуверенного человека, доктринера с строгим и определенным, научно построенным миросозерцанием, проглядывают черты человека переходной эпохи, с характерными для нее раздвоенностью и колебаниями. Борьбу этих двух идеологических течений, которые столкнулись в его личности, Чичерин пережил именно в те годы, которые связаны с пребыванием в университете и с подготовкой к научной деятельности. Это и делает публикуемые главы его „Воспоминаний“ особенно интересными. Чичерин как бы переживает вновь свои юношеские увлечения новыми

идеями; отсюда свежесть и сила его „Воспоминаний“ за эти годы. Но по этим впечатлениям молодости прошла уже рука старика, отказавшегося от своих былых исканий и думающего, что в „зрелую пору жизни“ нашел верный ответ на все волновавшие его юношескую душу вопросы.

Как видно из сказанного, заглавие настоящего выпуска уже его содержания; публикуемые главы охватывают не только 40-е, но и 50-е годы XIX века, но, поскольку центральное место в них занимают люди сороковых годов и их роль в последующих событиях, редакция полагает, что заглавие правильно отражает сущность печатаемых глав.

Непосредственным продолжением и дополнением к издаваемым главам, является глава VII „Воспоминаний“ Чичерина, описывающая его путешествие и впечатления от буржуазных стран Запада. К этой поездке относится разрыв с Герценом и окончательный переход Чичерина в ряды борцов против революции.

Указатель к настоящей части Воспоминаний будет приложен к следующему выпуску, который будет содержать указанную главу VII. Примечания, принадлежащие Б. Н. Чичерину, оговорены, остальные принадлежат редакции.

С. Бахрушин.

20 июня 1929 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К УНИВЕРСИТЕТУ

Мы поехали в Москву для приготовления к Университету в декабре 1844 г. перед самыми праздниками. Мне было тогда шестнадцать лет, а второму брату Василию, который должен был вступить вместе со мною, минуло только пятнадцать. Отправились мы двое с матерью, которая взяла с собою и маленькую сестру; отец же с остальным семейством остался пока в Тамбове. Они приехали уже в феврале следующего года. Цель поездки была подготовить нас к экзамену в течение остающихся до него семи месяцев, пользуясь уроками лучших московских учителей.

Мы приехали в Москву не как совершенно чужие в ней люди. Нас встретил старый приятель отца Николай Филиппович Павлов. Он явился к матери тотчас, как получил известие о нашем прибытии, и с тех пор не проходило дня, чтобы он не навещал нас один или даже два раза. Он взялся устроить для нас все, что нужно, хлопотал о квартире, заключал контракт о найме дома, сам возил нас всюду, знакомил со всеми, приглашал учителей, одним словом, он няньчился с нами, как с самыми близкими родными. „Хотя я не сомневался в дружбе Павлова,— писал мой отец к матери,— но описанное тобою живое участие, которое он принял в вас, меня глубоко тронуло. Есть еще люди соединяющие с возвышенным умом теплое сердце, верные своим привязанностям, несмотря на действие времени“. [1]

Павлов в это время был женат во второй раз и имел семилетнего сына. Этот брак, окончившийся весьма печально, как

[1] О Н. Ф. Павлове и его отношениях к жене много говорит в своих „Записках“ (гл. IV) Н. В. Берг („Рус. Старина“, 1891 г., февраль).

я расскажу ниже, был заключен не по любви, а по расчету. Сам Павлов говорил мне впоследствии, что он в жизни сделал одну гадость: женился на деньгах,—проступок в свете весьма обыкновенный, и на который смотрят очень снисходительно. Вследствие страсти к игре, он запутался в долгах, а у жены, рожденной Яниш, было порядочное состояние. Он решился предложить ей руку, несмотря на то, что сам часто подсмеивался над ее претензиями, и она охотно за него пошла, ибо у него был и блестящий ум и литературное имя, а она была уже не первой молодости.

Каролина Карловна была, впрочем, женщина не совсем обыкновенная. При значительной сухости сердца, она имела некоторые блестящие стороны. Она была умна, замечательно образованна, владела многими языками и сама обладала недюжинным литературным талантом. Собственно поэтической струны у нее не было: для этого недоставало внутреннего огня; но она отлично владела стихом, переводила превосходно, а иногда ей удавалось метко и изящно выразить мысль в поэтической форме. Но тщеславия она была непомерного, а такта у нее не было вовсе. Она любила кстати и некстати щеголять своим литературным талантом и рассказывать о впечатлении, которое она производила. Она постоянно читала вслух стихи, и свои и чужие, всегда нараспев и с каким-то диким завыванием, прославленным впоследствие Соболевским в забавной эпиграмме. Бестактные ее выходки сдерживались, впрочем, мужем, превосходство ума которого внушало ей уважение. В то время отношения были еще самые миролюбивые, и весь семейный быт носил даже несколько патриархальный характер, благодаря присутствию двух стариков Янишей, отца и матери Каролины Карловны. Старик, почтенной наружности, с длинными белыми волосами, одержим был одною страстью: он с утра до вечера рисовал картины мясляными красками. Таланта у него не было никакого, и произведения его были далеко ниже посредственности; но зато правила перспективы соблюдались с величайшею точностью. Он писал даже об этом сочинения, с математическими формулами и таблицами. Старушка же была доброты необыкновенной; оба они производили впечатление Афанасия Ивановича и Пульхерии Ива-

новны в образованной среде. Дочь свою они любили без памяти, и она распоряжалась ими, как хотела. Но главным предметом их неусыпных забот был единственный внук, маленький Ипполит, которого держали в величайшей холе, беспрестанно дрожа над ним и радуясь рано выказывающимся у него способностям. Сама Каролина Карловна, хотя несколько муштровала стариков, но позировала примерною женою и нежною матерью.

При таком настроении, она старых друзей своего мужа приняла с распростертыми объятиями, часто ходила к моей матери, звала нас к себе, готова была все для нас сделать. Дом Павловых на Сретенском бульваре[1] был в это время одним из главных литературных центров в Москве. Николай Филиппович находился в коротких сношениях с обеими партиями, на которые разделялся тогдашний московский литературный мир, с славянофилами и западниками. Из славянофилов, Хомяков и Шевырев были его близкими приятелями; с Аксаковым велась старинная дружба. С другой стороны, в таких же приятельских отношениях он состоял с Грановским и Чаадаевым; ближайшим ему человеком был Мельгунов. Над Каролиной Карловной хотя несколько подсмеивались, однако поэтический ее талант и ее живой и образованный разговор могли делать салон ее приятным и даже привлекательным для литераторов. По четвергам у них собиралось все многочисленное литературное общество столицы. Здесь до глубокой ночи происходили оживленные споры: Редкин с Шевыревым, Кавелин с Аксаковым, Герцен и Крюков с Хомяковым. Здесь появлялись Киреевские и молодой еще тогда Юрий Самарин. Постоянным гостем был Чаадаев, с его голою, как рука, головою, с его неукоризненно светскими манерами, с его образованным и оригинальным умом и вечною позою. Это было самое блестящее литературное время Москвы. Все вопросы, и философские, и исторические и политические, все, что занимало высшие современные умы, обсуждалось на этих собраниях, где соперники являлись во

---

[1] Впоследствии он был куплен Маттерном. Прим. Б. Н. Чичерина. В „Адрес-календаре жителей Москвы“, составленном К. Нистромом на 1846 г., стр. 85 читаем: „Павлов Николай Филиппович, чинов. особ. поруч., на Сретенском бульв., соб. д.“.

всеоружии, с противоположными взглядами, но с запасом знания и обаянием красноречия. Хомяков вел тогда ожесточенную войну против логики Гегеля, о которой он по прочтении отзывался, что она сделала ему такое впечатление, как-будто он перегрыз четверик свищей. В защиту ее выступал Крюков, умный, живой, даровитый, глубокий знаток философии и древности. Как скоро он появлялся в гостиной, всегда изящно одетый, elegantissimus, как называли его студенты, так возгорался спор о бытии и небытии. Такие же горячие прения велись и о краеугольном вопросе русской истории, о преобразованиях Петра Великого. Вокруг спорящих составлялся кружок слушателей; это был постоянный турнир, на котором выказывались и знание, и ум, и находчивость, и который имел тем более привлекательности, что по условиям времени заменял собою литературную полемику, ибо при тогдашней цензуре только малая часть обсуждавшихся в этих беседах идей, и то обыкновенно лишь обинякми, с недомолвками, могла проникнуть в печать.

Однажды я сказал Ивану Сергеевичу Тургеневу, что напрасно он в „Гамлете Щигровского уезда“ так вооружился против московских кружков. Спертая атмосфера замкнутого кружка без сомнения имеет свои невыгодные стороны; но что делать, когда людей не пускают на чистый воздух? Это были легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль. И сколько в этих кружках было свежих сил, какая живость умственных интересов, как они сближали людей, сколько в них было поддерживающего, ободряющего, возбуждающего! Самая замкнутость исчезала, когда на общее ристалище сходились люди противоположных направлений, но ценящие и уважающие друг друга. Тургенев согласился с моим замечанием.

Мы разом окунулись в этот совершенно новый для нас мир, который мог заманить всякого, а тем более приехавших из провинции юношей, жаждущих знания. Передо мною внезапно открылись бесконечные горизонты; впервые меня охватило неведомое дотоле увлечение, увлечение мыслью, одно из самых высоких и благородных побуждений души человеческой. Я узнал здесь и людей, которые стояли на высоте современ-

ного просвещения, и вместе с тем своим нравственным обликом придавали еще более обаяния возвещаемым ими идеям. Здесь сложился у меня тот идеал умственного и нравственного достоинства, который остался драгоценнейшим сокровищем моей души. Я захотел сам быть участником и деятелем в этом умственном движении, и этому посвятил всю свою жизнь.

Первый наш выезд был на публичную лекцию Шевырева, куда повез нас Николай Филиппович. В предшествующую зиму Грановский читал публичные лекции об истории Средних Веков. Это была первая попытка вывести научные вопросы из тесного литературного круга и сделать их достоянием целого общества. Попытка удалась, как нельзя более. Блестящий талант профессора, его художественное изложение, его обаятельная личность производили глубокое впечатление на слушателей. Светские дамы толпами стекались в университетскую аудиторию. По окончании курса Грановскому дан был большой обед, на котором и славянофилы и западники соединились в дружном почитании таланта. Заказан был портрет Грановского, который был поднесен его жене. Это было событие в московской жизни; о нем продолжали еще толковать, когда мы приехали в Москву. В эту зиму публичные лекции читал Шевырев, которому успехи соперника не давали спать. В противоположность курсу, проникнутому западными началами, Шевырев хотел прочесть курс в славянофильском духе. Предметом избрана была древняя русская литература. Стечение публики опять было огромное; но успех был далеко не тот. Ни по форме, ни по содержанию этот курс не мог сравняться с предыдущим. Талант был несравненно ниже, да и скудные памятники древней русской словесности не могли представлять того интереса, как мировая борьба императоров с папами. На нас, однако, первая лекция, которую мы слышали, произвела большое впечатление. Новых мыслей и взглядов мы из нее не почерпнули: известное уже нам поучение Мономаха, проповеди Кирилла Туровского, слово Даниила Заточника не заключали в себе ничего, чтобы могло возбудить ум или подействовать на воображение. Но мы в первый раз слышали живую устную речь, обращенную к многочисленной публике. Толпа народа, наполнявшая аудиторию, студенты с синими

воротниками, нарядные дамы, теснившиеся около кафедры, глубокое общее внимание слову профессора, громкие рукоплескания, сопровождавшие его появление и выход, наконец, самая его речь, несколько певучая, но складная, изящная, свободно текущая, все это было для нас совершенно ново и поразительно. Мы остались вполне довольны.

После лекции Павлов представил нас Шевыреву, как будущих студентов. Шевырев сказал, что он давно знает отца, и звал нас к себе. Для ближайшего знакомства Павлов пригласил мою мать и нас обоих к себе обедать вместе с ним. Кроме Шевырева, тут были Хомяков, Константин Аксаков и Брусилов, приятель Павлова и моего отца, человек милейший, живой, с тонким и образованным умом, с изящными светскими формами. Разговор был оживленный и литературный, касавшийся текущих вопросов дня. Хомяков, маленький, черненький, сгорбленный, с длинными всклокоченными волосами, придававшими ему несколько цыганский вид, с каким-то сухим и не совсем приятным смехом, по обыкновению говорил без умолку, шутил, острил, приводил стихи только что начинающих тогда поэтов, Ивана Аксакова, Полонского, цитировал, между прочим, и хорошо известную мне строфу Байрона:

For freedom's battle once begun,
Bequeathed by bleeding sire to son,
Though baffled oft, is ever won[1].

Мы были совершенно очарованы этою блестящею игрою мысли и воображения, которую поддерживали и которой вторили остальные собеседники.

На следующий день Павлов повез нас к Шевыреву на дом. Отец мой, который дорожил изяществом речи, очень желал, чтобы Павлов склонил его давать нам частные уроки. Шевырев проэкзаменовал нас, остался нами очень доволен и сказал даже Павлову, что он не ожидал, чтобы можно было так хорошо приготовиться в провинции, но уроки нам давать отказался, говоря, что он, вообще, частных уроков не дает, а в нынешнем году, по случаю публичных лекций, имеет

[1] Ибо раз начатая битва свободы, завещанная сыну истекающим кровью отцом, хотя часто встречает отпор, подконец всегда выиграна. (Перевод Б. Н. Чичерина).

менее времени, нежели когда-либо. Вместо себя он рекомендовал Авилова, как лучшего в Москве учителя русского языка, а нам советовал только записывать его публичные лекции, что мы и стали усердно исполнять, готовясь тем к записыванию университетских курсов.

Вслед за тем Павлов устроил для нас у себя другой обед, который произвел на нас еще большее впечатление, нежели первый,—обед с Грановским. Павлову очень хотелось сблизить нас с ним и склонить его давать нам частные уроки. Здесь в первый раз я увидел этого замечательного человека, который имел на меня большее влияние, нежели кто бы то ни было, которого я полюбил всей душою, и память которого доселе осталась одним из лучших воспоминаний моей жизни. Самая его наружность имела в себе что-то необыкновенно привлекательное. В то время ему было всего 32 года. Высокий, стройный, с приятными и выразительными чертами, осененными великолепным лбом, с выглядывающими из-под густых бровей большими, темными глазами, полными ума, мягкости и огня, с черными кудрями, падающими до плеч, он на всей своей особе носил печать изящества и благородства. Также изящна и благородна была его речь, тихая и мягкая, порою сдержанная, порою оживляющаяся, иногда приправленная тонкою шуткою, всегда полная мысли и интереса. И в мужском, и дамском обществе разговор его был равно увлекателен. Он одинаково хорошо выражался на русском и на французском языках. В дружеском кругу, когда он чувствовал себя на свободе, с ним никто не мог сравняться; тут разом проявлялись все разнообразные стороны его даровитой натуры: и глубокий ум, и блестящий талант, и мягкость характера, и сердечная теплота, и, наконец, живость воображения, которое во всякой мелочной подробности умело схватить или поучительную, или трогательную, или забавную картину. У Павловых он был близкий человек. Хозяева, муж и жена, с своей стороны, были вполне способны поддерживать умный и живой разговор. Павлов, когда хотел, сверкал остроумием, но умел сказать и веское или меткое слово. Мы, только что прибывшие из провинции юноши, с жадностью слушали увлекательные речи. Очарование опять было полное.

На следующий день, после обеда, Николай Филиппович повез нас к Грановскому, который жил тогда в доме своего тестя, на углу Садовой и Драчевского переулка.[1] Доселе я не могу без некоторого сердечного волнения проезжать мимо этого выходящего на улицу подъезда, к которому в первый раз меня подвезли еще совершенно неопытным юношей, едва начинающим жить, у которого я и впоследствии столько раз звонил, спрашивая, дома ли хозяин, всегда ласковый и приветливый, умевший с молодежью говорить, как с зрелыми людьми, возбуждая в них мысль, интересуя их всеми разнообразными проявлениями человеческого духа, в прошедшем и настоящем. Сколько раз входил я в этот скромный домик, как в некое святилище, с глубоким благоговением; сколько выносил я оттуда новых и светлых мыслей, теплых чувств, благородных стремлений! Здесь я с пламенной любовью к отечеству научился соединять столь же пламенную любовь к свободе, одушевлявшую мою молодость и сохранившуюся до старости с теми видоизменениями, которые приносят годы; здесь в мою душу запали те семена, развитие которых составило содержание всей моей последующей жизни.

Павлов ввел нас по узкой и крутой лестнице в кабинет Грановскаго, который находился в исчезнувшем ныне низеньком мезонине. Грановский принял нас самым ласковым образом, расспросил, что мы прошли из истории и что мы читали. Услышав, что мы хорошо знаем по-английски, он раскрыл книгу и заставил нас сделать устный перевод, что мы исполнили совершенно удовлетворительно. Затем зашла речь о том, на какой нам вступать факультет. Грановский советовал непременно на юридический, признавая его единственным, заслуживающим название факультета. Там были Редкин, Кавелин, Крылов; сам Грановский читал на юридическом факультете тот же курс, что и на словесном. Он прибавил, что на кафедру государственного права готовится вступить Александр Николаевич Попов, который, хотя славянофил, но человек

[1] Тесть Грановского—доктор медицины Богдан Карлович Мильгаузен. В „Адрес-календаре жителей Москвы“ на 1846 г., стр. 263: „Грановский, Тимофей Никол., к. секретарь, исправ. должн. экстра-ординарн. профессора, Срет. ч. в Драчевском пер. д. Мильгаузена“.

умный, а потому, верно, будет читать хороший курс. В то время словесный факультет был главным поприщем деятельности Шевырева и развития славянофильских идей; юридический же факультет был оплотом западников. Из отзыва Грановского о Попове видно однако, что западники отнюдь не были исключительны, а рады были принять славянофила в свою среду, когда считали его полезным, и если Попов не получил кафедры, то виною была собственная его несостоятельность. В ту же зиму он прочел перед факультетом пробную лекцию, и профессора, нисколько не причастные западному направлению, как Морошкин, нашли ее столь неудовлетворительною, что ему отказали. Таким образом, юридический факультет миновала и эта доля припущения славянофильского духа. Решившись сделаться юристами, мы тем самым подпадали под полное влияние западников. Но это совершилось уже позднее. В настоящее время для нас важно было то, что после свидания с нами, Грановский согласился давать нам частные уроки и приготовить нас к университетскому экзамену.

У Павловых мы познакомились и с молодым человеком, который приглашен был давать нам уроки латинского языка и немецкой литературы. Он был еврей, родом из Одессы, но воспитывавшийся в Германии, доктор Лейпцигского университета, именем Вольфзон. В Москву он приехал с целью читать публичные лекции о немецкой литературе, надеясь тем заработать некоторые деньги, и затем, вернувшись в Германию, жениться. Павлов воспользовался этим случаем, чтобы свести его с нами. Человек он был недалекого ума, но очень живой и образованный, страстный поклонник немецкой науки и немецкой литературы. Гервинус был его идеалом [1]. Он отлично знал и по-латыни, и сам прекрасно говорил на этом языке. Нам он с восторгом рассказывал о германских университетах, о тамошних профессорах, что внушало нам благоговение к этим святилищам просвещения. При первом же свидании, за обедом у Павловых, он заставил нас сделать изустный перевод с латинского языка. Я без труда перевел ему несколько фраз, не только из Тита Ливия, но и из Тацита. Он

[1] Георг-Готфрид Гервинус (1805—1871), немецкий историк, преподавал в Геттингене и в Гейдельберге.

остался вполне доволен и сказал, что мы в короткое время сделаем удивительные успехи. Больших успехов однако не оказалось, ибо в сущности он был вовсе неопытный педагог. Он засадил нас за перевод посланий Овидия; многоречиво толковал нам тонкости языка, хотел даже заставить нас говорить по-латыни, но последнее, по краткости времени, не удалось, да и вовсе было не нужно. Я по-латыни знал совершенно достаточно не только для университета, но и для дальнейших занятий, и уроки Вольфзона весьма немногое прибавили к моему знанию.

Также поверхностно было и знакомство с немецкою литературою. Серьезное изучение литературы требует чтения писателей, а на это не было времени. Для меня было бы весьма полезно, если бы он познакомил нас с Гете, котораго я стал изучать уже гораздо позднее, но именно этого не делалось. Мы учили наизусть Die Ideale Шиллера, писали иногда небольшие сочинения; Вольфзон читал нам вслух первую часть Валленштейна, которого я уже знал. Мы постоянно ходили и на его публичные лекции, которые, надобно сказать, были довольно скучны, ибо таланта, в сущности, не было. Туда стекались московские немцы и немки, которые подавали повод брату к забавным замечаниям, а я нарисовал карикатуру, изображающую лекцию о Фаусте, на которой немки пролили столько слез, что затопили всю аудиторию и даже самого лектора.

Вернувшись в Германию, Вольфзон написал книгу, в которой излагал впечатления, вынесенные им из своего пребывания в Москве. Он описывал, как они в беседах с Мельгуновым шествовали по общечеловеческому пути, где нет других верст, кроме общечеловеческих, и как Павлов, с своим скептическим и саркастическим умом, возмущал эту дивную гармонию. И это подало мне повод нарисовать карикатуру, где Вольфзон изображался карабкающимся вслед за Мельгуновым[1] по общечеловеческому пути, вдоль которого, в виде общече-

[1] О Николае Александровиче Мельгунове (ум. в 1867 г.) писателе, выступавшем в „Московском Наблюдателе“, „Москвитянине“, „СПБ. Ведомостях“ и „Отечественных Записках“ под псевдонимами Н. Ливенский и Н. Л-ский см. ниже, стр. 169.

ловеческих верст, стоят имена Фейербаха, Руге, Штирнера. Обтирая пот с лица, Вольфзон восклицает: „Однако, труден общечеловеческий путь!“ А Мельгунов, обнимая своими длинными и костлявыми руками толпу безобразных кафров и готтентотов, отвечает: „Зато отрадно сближение с человечеством“. Несколько лет спустя, общечеловеческие друзья перессорились не на живот, а на смерть. Я получил от Вольфзона яростное письмо, в котором он обвинял Мельгунова в злоумышленной клевете. В чем состояла эта клевета, осталось мне неизвестным.

Гораздо полезнее Вольфзона был для нас рекомендованный Шевыревым учитель русскаго языка Авилов. Это был хороший педагог, умный, знающий и живой. Правда, желание отца не исполнилось: для основательнаго упражнения в письме недоставало времени, и мы не много могли усовершенствоваться в слоге. Зато изучение языка открылось нам с совершенно новой стороны. Авилов начал с элементарнаго курса логики, которой мы еще не проходили, но который требовался для экзамена; затем перешел к русскому языку. Вместо рутинного долбления грамматики, он занялся филологическим разбором, объясняя происхождение языка, связь его с другими, элементарное строение слов, переходы букв, основные правила языковедения. В то время только что начиналось то филологическое преподавание, которое в известной мере несомненно имеет весьма существенное значение, но которое, будучи впоследствии доведено до крайности, совершенно вытеснило литературное образование, нисколько не содействуя совершенствованию речи. Не менее важен был и шаг от риторики Кошанскаго к новому пониманию литературы, как художественного изображения живой и типической действительности.

Но, без сомнения, важнейшее, что мы приобрели в это приготовительное к университету время, дано было уроками Грановского. Здесь мы возносились в самую широкую сферу мысли, знакомились с высшими взглядами современной науки. Грановский обыкновенно приезжал к нам после университетской лекции; мать просила у него позволения слушать его преподавание, сидя в соседней комнате. С первого же приступа он спросил меня: знаю ли я, какой смысл и содержание исто-

рии. Помня уроки Измаила Ивановича [1], я отвечал: „Стремление к совершенству“. „Так определяли историю в XVIII веке,— сказал Грановский,—но это определение недостаточно. Совершенство есть недостижимый идеал. Не осуждено же человечество на то, чтобы вечно гоняться за какою-то фантасмагорией, которую оно никогда не в состоянии поймать. Истинный смысл истории иной: углубление в себя, постепенное развитие различных сторон человеческого духа“. И с обычным своим мастерством он в кратких словах развил эту тему. Так мы прошли с ним полный курс всеобщей истории, до самой Французской революции. Мы готовились к уроку по учебнику Лоренца, затем, выслушав приготовленное, он сам читал краткую лекцию, дополняя выученное, очерчивая лица, выясняя смысл событий, их взаимную связь, развитие идей, указывая на высшие цели человечества. Когда мы дошли до разделения церквей, он сказал: „Вы сами впоследствии увидите, в чем состоит существенное различие в характере и призвании обеих церквей: Восточная церковь гораздо глубже разработала догму, но Западная показала гораздо более практического смысла“. Преподавание завершилось выяснением идей Французской революции: „Свобода, равенство и братство,—сказал Грановский,— таков лозунг, который французская революция написала на своем знамени. Достигнуть этого не легко. После долгой борьбы, французы получили наконец свободу; теперь они стремятся к равенству, а когда упрочатся свобода и равенство, явится и братство. Таков высший идеал человечества“.

Я жадно усваивал себе эти уроки. Чем более я слушал Грановского, тем более я привязывался к нему всем сердцем. К сожалению, нам не удалось попасть на знаменитый его магистерский диспут, который случился именно в это время. Как нарочно, он был назначен в то самое утро, когда должен был приехать из Тамбова отец с остальным семейством. Они тащились шесть дней по невероятным сугробам; передовые экипажи уже приехали, и их ожидали с часу на час. Действи-

---

[1] Измаил Иванович Сумароков, кандидат Харьковского университета, учитель истории, приезжавший на лето в Караул давать уроки молодым Чичериным. О нем Б. Н. Чичерин говорит во II гл. своих Воспоминаний: „Мое детство“.

тельно, они прибыли; после почти двухмесячного расставания, радость была неописанная. Большой дом Певцовой, на повороте Кривого переулка, близ Мясницкой, в котором мы стояли, наполнился шумом и беготней. Вырвавшиеся на свободу, после шестидневного томительного путешествия на возках, ребятишки резвились и кричали. Рассказам с обеих сторон не было конца. И вдруг, в эту самую минуту, является из университета Василий Григорьевич[1], в каком-то неистовом восторге. Он пришел прямо с диспута и рассказал о неслыханном торжестве Грановского, который был идолом не только своих слушателей, но и всего университета. Студенты, собравшиеся в массе, прерывали шиканьем его оппонентов; всякое же слово Грановского встречалось неумолкающими рукоплесканиями. Наконец, его вынесли на руках[2].

На следующий день Грановский счел, однако, нужным сказать своим слушателям несколько слов, чтобы предостеречь их от слишком восторженных оваций, на которые в Петербурге смотрели не совсем благоприятно. Он сделал это со свойственным ему тактом и благородством. Он умел тронуть слушателей, указав им на высшую цель их университетского поприща, на служение России, „России, преобразованной Петром, России, идущей вперед и с равным презрением внимающей и клеватам иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных подражателей западным формам, без всякого собственного содержания, и старческим жалобам людей, которые любят не живую Русь, а ветхий призрак, вызванный ими из могилы и нечестиво преклоняются перед кумиром, созданным их праздным воображением". Это было по адресу славянофилов, Шевырева с компанией, которые злобно на него ополчались и старались делать ему всякие неприятности. Нам принесли эту речь, записанную с его слов, и не только мы, но и отец был от нее в восхищении.

---

[1] Василий Григорьевич Вязовой, сын тамбовского извощика, благодаря содействию отца Б. Н. Чичерина, имел возможность поступить в гимназию, а затем, в Медицинскую Академию, откуда перешел на математический факультет Университета; студентом преподавал математику молодым Чичериным. См. о нем там же.

[2] О магистерском диспуте Грановского см. Воспоминания Ф. П. Еленева („Рус. Арх." 1889, II, 564).

С таким же восторгом рассказывал нам о диспуте юрист, 4-го курса Малышев, который, по рекомендации Грановского давал нам уроки географии. „Вы знаете,—говорил он,—ведь для нас Тимофей Николаевич—это почти что божество". Малышев был умный и дельный студент, хотя любил покутить, что было не редкостью между университетскою молодежью. Он преподавал нам географию, составляя извлечения из лекций Чивилева, который в статистику включал очерк географического положения европейских стран. Изложение Чивилева было превосходное и усваивалось необыкновенно легко. На экзамене мне как-раз попался один из почерпнутых из его курса вопросов, и он же был экзаменатором. Он удивился моему ответу и спросил: кто меня учил? Я объяснил, в чем дело.

Из математики и физики нас приготовлял Василий Григорьевич, который в это время совершенно переселился к нам в дом. Наконец, закону божьему учил нас, по рекомендации университетского священника Терновского, почтеннейший Иван Николаевич Рождественский, тогда еще преподаватель в Дворянском институте, впоследствии доживший до 80 лет и пользовавшийся всеобщим уважением в Москве.

Но мне всего этого было недостаточно. Я непременно хотел учиться по-гречески, хотя для экзамена этого вовсе не требовалось. Наконец, родители уступили моим настояниям, и Павлов пригласил лектора санскритского языка в Московском университете Каэтана Андреевича Коссовича. Это был человек замечательный в своем роде, пламенная душа, обращавшая все свои восторги на изучаемый предмет. Выше Илиады и санскритских поэм для него ничего не было в мире. Урок назначен был в воскресные дни, ибо все остальное время было занято, и мы сидели с ним по целым утрам, предаваясь поэтическому упоению. В первый раз он начал было с евангелия Иоанна, но как скоро я перевел несколько фраз, и он увидел, что я перевожу свободно, он воскликнул: „Э, да Вас можно прямо посадить за Илиаду". Тут я впервые познакомился с этою дивною поэмою и понял изумительную прелесть и красоту греческого языка. Я весь погрузился в этот очарованный мир богов и героев, над которым, как главный предмет моего пламенного сочувствия и увлечения, возвышался вели-

чавый, глубоко человеческий и вместе глубоко трагический образ Гектора, этого грозного и стойкого защитника отечества, несущего на своих плечах судьбы родного города, с тайным предчувствием неизбежного его падения,—самый поэтический тип, который когда либо создавало исскуство. Я не мог без волнения читать знаменитую сцену прощания его с Андромахой, где с неподражаемою простотою и изяществом выражаются самые высокие человеческие чувства. И я с грустью повторял стихи, которые Сципион Африканский читал при разрушении Карфагена:

„Будет некогда день, как погибнет священная Троя,
Древний погибнет Приам и народ копьеносца Приама“[1].

Эти уроки были для меня истинным наслаждением. Перед экзаменом я должен был от них отказаться. В университете мне уже некогда было заниматься греческим языком; но впоследствии, когда я стал серьезно изучать философию, я мог достигнуть того, что свободно читал Платона и Аристотеля.

Отец очень заботился о том, чтобы эти новые, усидчивые занятия нас не утомили и не подействовали вредно на наше здоровье. Поэтому он требовал, чтобы мы делали как можно более движения. С этою целью, и чтобы время не пропадало даром, свободные часы посвящались разным физическим упражнениям. Нас посылали в манеж ездить верхом. Приглашен был учитель фехтования, статный и ловкий Трёль. Выучились мы немногому, но гимнастика была хорошая, и мы между собою дрались с увлечением. Приглашен был также танцмейстер, первый артист императорских театров, француз Ришар. Он должен был обучать нас всем новейшим приемам светских танцев. Но как же вознегодовал он, когда, явившись в первый раз в сопровождении скрипача, он вдруг увидел, что мы, как взрослые юноши, без всякого внимания к важности и изяществу предстоящего учения, готовимся брать уроки в сапогах! Он тотчас протестовал против этого нарушения священных обычаев танцкласса и заявил, что его ученики должны быть, по принятой у всех уважающих себя танцмей-

---

[1] В подлиннике цитата приведена на греческом языке.



стеров форме, непременно в башмаках. Немедленно были приняты меры для исправления этой грубой погрешности, показывающей неуважение к искусству, и когда, после вторичного, настойчивого напоминания обязанностей учащихся танцовать, мы, наконец, предстали перед ним обутые по самой настоящей бальной форме, в черных шелковых чулках и в башмачках с бантиками, наших старых знакомых, он остался вполне удовлетворен этим признанием утонченных требований танцкласса. Я, разумеется, в это время был уже ко всему этому совершенно равнодушен и даже с удовольствием надел башмачки с бантиками, которые напоминали мне нашу милую тамбовскую жизнь и мои прежние волнения. Успеха от изящной обуви, впрочем, не последовало, да и уроков было мало; но требование некоторой выправки и нарядности было, вообще, не лишнее. Главное же, среди умственных занятий была отличная гимнастика.

При множестве уроков, о рисовании нечего было и думать; но я не отказался от своей страсти к птицам, тем более, что в Москве было чем ее удовлетворить [1]. Тут был Охотный ряд! Я долго стремился к этой сокровищнице, о которой слышал всякие рассказы; наконец, в одно воскресное утро, меня туда отпустили. У меня разбежались глаза, когда я увидел сотни клеток, с самыми разнообразными, многими, никогда еще не виданными мною птицами. Тут были красивые свиристели, малиновые щуры, клесты с перекрещивающимся клювом. Я немедленно накупил их несколько и с тех пор стал ходить в Охотный ряд, как только было у меня свободное время. Дома же, я в нашей общей спальной затянул одно окно сеткою, за которою всегда сидело несколько десятков моих крылатых

---

[1] Во II главе своих Воспоминаний: „Мое детство" Б. Н. Чичерин пишет: „Одно время у меня развилась страсть к птицам, и я несколько лет только ими и бредил... Любовь к птицам соединялась у меня с страстью к рисованью, которою я был одержим с самых малых лет... Мне непременно захотелось нарисовать всевозможных птиц с натуры акварелью. Сначала я составил себе альбом в маленьком виде, но потом это показалось мне слишком ничтожным, и я завел себе большой альбом, в который срисовал маленьких птиц в натуральную величину, а больших в уменьшенном виде. В течение нескольких лет я их нарисовал около сотни".

любимцев. А когда мы весною переехали на дачу, мне в саду устроили вольерку. Я не мог вытерпеть, чтобы некоторых из них не нарисовать.

Между тем, мы продолжали посещать и старательно записывали лекции Шевырева. Но чем долее я их слушал, тем более я относился к ним критически. Этому способствовало не только постепенно укореняющееся влияние Грановского, но и все то, что мне доводилось слышать и читать о мнениях славянофилов и о предметах их споров с западниками. В это время самым крупным явлением в этой литературной борьбе был переход „Москвитянина" под редакцию Ивана Васильевича Киреевского. Некогда Киреевский был ярым шеллингистом; в этом направлении он издавал журнал „Европеец", который был запрещен уже с первого номера, и от которого за редактором долгое время оставалось прозвание Европейца. Но затем, вслед за Шеллингом, он совершил эволюцию от философского пантеизма к нравственно религиозной, и притом догматической точке зрения. Разница состояла в том, что Шеллинг примкнул к католицизму, а Киреевский остановился на православии, вследствие чего он и сделался одним из основателей славянофильской школы. Пишущие историю славянофилов обыкновенно не обращают внимания на то громадное влияние, которое имело на их учение тогдашнее реакционное направление европейской мысли, философским центром которого в Германии был Мюнхен. Из него вышли не только московские славянофилы, но и люди, как Тютчев, которого выдают у нас за самостоятельного мыслителя, между тем как он повторял только на щегольском французском языке ту критику всего европейского движения нового времени, которая раздавалась около него в столице Баварии. Даже высшее значение Восточной церкви с точки зрения философской, начало, на котором славянофилы строили все свое умственное здание, проповедывалось в то время одним из корифеев шеллинговой школы Баадером. Взявши в свои руки „Москвитянина", Киреевский хотел проводить свое направление, но и на этот раз его журнальное поприще было непродолжительно. Через два-три месяца он опять сдал „Москвитянин" Погодину, который набирал всякого рода сотрудников, стараясь извлечь из них

как можно более денег, и скоро превратил свой журнал в совершеннейшую пошлость.

Кратковременная редакция Киреевского ознаменовалась, однако, оживлением литературных споров. Со свойственным ему умом и талантом, но вместе и со свойственной ему поверхностною софистикою, он громил всю западную философию, как исчадие превозносящегося в своей гордыне рассудка, и указывал спасение единственно в лоне православной церкви. Возгорелась полемика, насколько возможно было печатно касаться этих вопросов. Между прочим, Герцен написал в „Отечественных записках" живую, умную, проникнутую обычным его юмором статью, которую отец прочел нам вслух[1]. Мы много смеялись. Разумеется, я не мог еще тогда понять сущность философских вопросов, о которых шла речь. Но вся проповедь славянофилов представлялась мне чем-то странным и несообразным; она шла наперекор всем понятиям, которые могли развиться в моей юношеской душе. Я пламенно любил отечество и был искренним сыном православной церкви; с этой стороны, казалось бы, это учение могло бы меня подкупить. Но меня хотели уверить, что весь верхний слой русского общества, подчинившийся влиянию петровских преобразований, презирает все русское и слепо поклоняется всему иностранному, что, может быть, и встречалось в некоторых петербургских гостиных, но чего я, живя внутри России, от роду не видал. Меня уверяли, что высший идеал человечества—те крестьяне, среди которых я жил, и которых знал с детства, а это казалось мне совершенно нелепым. Мне внушали ненависть ко всему тому, чем я гордился в русской истории, к гению Петра, к славному царствованию Екатерины, к великим подвигам Александра. Просветитель России, победитель шведов, заандамский работник, выдавался за исказителя народных начал, а идеалом царя в „Библиотеке для воспитания" Хомяков выставлял слабоумного Федора Ивановича за то, что он не пропускал ни одной церковной службы и сам звонил в колокола.

[1] Очевидно, статья „Московитянин и вселенная", появившаяся в „Отечественных записках" 1845 г. № 3, отд. VIII (смесь), стр. 48—51 (том XXXIX), подписанная псевдонимом „Ярополк Водянский" (в изд. Павленкова, т. V, стр. 147 след.).

утверждали, что нам нечего учиться свободе у Западной Европы, и в доказательство ссылались на допетровскую Русь, которая сверху до низу установила всеобщее рабство. Вместо Пушкина, Жуковского, Лермонтова, меня обращали к Кириллу Туровскому и Даниилу Заточнику, которые ничем не могли меня одушевить. А с другой стороны, то образование, которое я привык уважать с детства, та наука, которую я жаждал изучить, ожидая найти в ней неисчерпаемые сокровища знания, выставлялись, как опасная ложь, которой надобно остерегаться, как яда. Взамен их обещалась какая-то никому неведомая русская наука, ныне еще не существующая, но долженствующая когда-нибудь развиться из начал, сохранившихся неприкосновенными в крестьянской среде.

Все это так мало соответствовало истинным потребностям и положению русского общества, до такой степени противоречило указаниям самого простого здравого смысла, что для людей посторонних, приезжих, как мы, из провинции, не отуманенных словопрениями московских салонов, славянофильская партия представлялась какою-то странною сектою, сборищем лиц, которые в часы досуга, от нечего делать, занимались измышлением разных софизмов, поддерживая их перед публикой для упражнения в умственной гимнастике и для доказательства своего фехтовального искусства. Так это представлялось не только нам, еще незрелым юношам, но и моим родителям. Отец мой, со своим здравым и образованным умом, не причастный ни к каким партиям, но интересующийся всеми умственными вопросами, смотрел на славянофильские затеи более или менее, как на забаву праздных людей, не имеющую никакого серьезного значения. И этот взгляд мог только укрепиться при виде тех внешних отличий, которыми славянофилы старались выказать свою самобытность. Когда они одели на себя мурмолки, как символ принадлежности к их партии, когда Константин Аксаков разъезжал по московским гостиным в терлике и высоких сапогах, когда Хомяков и некоторые его последователи облеклись в какую-то изобретенную им славянку, и во всем этом усматривали признаки начинающегося возрождения русского духа, то нельзя было над этим не смеяться и не считать всю их деятельность некоторого рода

самодурством потешающих себя русских бар, чем она в самом деле и была в значительной степени. Вне московских салонов русская жизнь и европейское образование преспокойно уживались рядом, и между ними не оказывалось никакого противоречия; напротив, успехи одного были чистым выигрышем для другой. Все стремление моих родителей состояло в том, чтобы дать нам европейское образование, которое они считали лучшим украшением всякого русского человека и самым надежным орудием для служения России.

Ко всем этим поводам к теоретическому отчуждению от славянофилов присоединилось и то, что трудно было не возмутиться их образом действий. В это время отношения обеих партий значительно обострились, так что Павловы принуждены были закрыть свои четверги. Причиною размолвки была учиненная славянофилами гадость. За год перед тем выбыл из Москвы губернатор Сенявин. Жена его, красивая светская женщина, во время его губернаторства держала у себя салон и охотно принимала литераторов. В благодарность за любезное обхождение, московское литературное общество пожелало подарить ей на память великолепный альбом с видами Москвы. Многие московские писатели наполнили его своими стихами и своею прозою. Между прочим, поэт Языков, тогда уже больной и не выходивший из комнаты, вписал в него стихотворение, которое нельзя иначе назвать, как пасквилем на главнейших представителей западного направления. Люди обозначались здесь прямо, без обиняков: Чаадаев назывался „плешивым идолом строптивых баб и модных жен". К Грановскому обращены были следующие стихи:

„И ты, красноречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Всех западных гнилых надежд".

Подобная проделка была совершенно непозволительна. Если бы это стихотворение было просто пущено в ход в рукописи, то и в таком случае оно не могло бы не оскорбить людей, пользовавшихся общим и заслуженным почетом. До того времени, несмотря на горячие споры, происходившие между обеими партиями, противники встречались с соблюдением всех при-

личий, с полным взаимным уважением; борьба велась в чисто умственной сфере, никогда не затрагивая личностей. А тут вдруг, из среды одной партии, поэт-гуляка, ничего не смысливший ни в научных, ни в общественных вопросах, вздумал клеймить людей, стоящих бесконечно выше его и по уму и по образованию. Когда же этот пасквиль рукою автора был внесен в альбом великосветской дамы, занимавшей видное общественное положение, в альбом поднесенный ей на память от всей литературной Москвы, то неприличие достигало уже высшего своего предела. Между тем, славянофилы, которые по духу секты всегда горой стояли за каждого из своих, не только не отреклись от Языкова, а, напротив, старались оправдать его всеми силами. Понятно, что это не могло не возмутить не только их противников, но и посторонних людей. Каролина Карловна Павлова написала по этому поводу одно из лучших своих стихотворений. Она некогда была в дружеских отношениях с Языковым. Поэт, уже больной, обращался к ней с стихотворными посланиями, и она отвечала ему тем же. И после совершенного им поступка, он послал ей какие-то стихи, но на этот раз она не отвечала. Он поручил одному из своих друзей спросить у нее, отчего он не получает ответа. Тогда она послала ему следующее стихотворение:

„Нет, не могла я дать ответа
На вызов лирный, как всегда;
Мне стала ныне лира эта
И непонятна и чужда.
Не признаю ее напева,
Не он в те дни пленял мой слух;
В ней крик языческого гнева,
В ней злобный пробудился дух.
Не нахожу в душе я дани
Для дел гордыни и греха;
Нет на проклятия и брани
Во мне отзывного стиха.
Во мне нет чувства, кроме горя,
Когда знакомый глас певца,
Слепым страстям безбожно вторя,
Вливает ненависть в сердца;
И я глубоко негодую,
Что тот, чья песнь была чиста,

На площадь музу шлет святую,
Вложив руганья ей в уста.
Мне тяжко знать и безотрадно,
Что дышет темной он враждой,
Чужую мысль карая жадно
И роясь в совести чужой.
Мне стыдно за него и больно,
И вместо песен, как сперва,
Лишь вырываются невольно
Из сердца горькие слова."

Таким образом, в это приготовительное к университету время, все клонилось к тому, чтобы отчудить меня от славянофилов и приблизить меня к западникам. И то, что я вынес из провинции, и то, что приобрел в Москве, приводило к одному результату. Вся моя последующая жизнь, все изведанное опытом и добытое знанием, могло только его закрепить.

В мае мы переехали на дачу. Отдаляться от Москвы при продолжении уроков не было возможности, а потому нанята была дача на Башиловке, близ Петровского парка. В то время она принадлежала князю Щербатову. Дом был красивой архитектуры, довольно поместительный; при нем был хорошенький садик, с выходом, через улицу, в парк. Большая часть учителей приезжала к нам туда: Грановский, Авилов, Вольфзон, Коссович; Василий Григорьевич жил с нами. Только для уроков закона божьего мы ездили в город.

Я несказанно рад был вырваться из душной и пыльной столицы. Хотя местность около парка далеко не походила на деревню, но тут была зелень, тишина, свежий воздух. Для прогулок я сначала выбирал самые ранние утренние часы, когда в парке никого не было, и я мог спокойно наслаждаться его свежею и густою зеленью, светлыми прудами, красивою группировкою деревьев. Скоро, однако, я к большому своему неудовольствию заметил, что московский климат далеко не то, что тамбовский: при восходе солнца нельзя было гулять в холстяном платье; вместо живительной и благоуханной утренней прохлады, к которой я привык в деревне, чувствовался холод, и я слишком ранние прогулки должен был прекратить. К лету нам привели из деревни наших верховых лошадей, и мы делали большие прогулки верхом, нередко

вместе с Каролиной Карловной, которая жила недалеко от нас, на даче в Бутырках, и для которой было отменным удовольствием разъезжать амазонкой с экскортой молодых людей.

Но чем далее подвигалось лето, тем менее мог я наслаждаться и природой и прогулками. Приближалось время экзаменов, которые происходили в августе. Голова была наполнена уроками и повторениями. Во время прогулок, я уже не смотрел по сторонам, а только мысленно обновлял в своей памяти все пройденное и все, что требовалось знать.

Наконец, настал великий день. На первый раз отец сам повез нас в университет; потом мы уже ездили одни. В то время экзаменовали профессора в стенах университета. Мы вдруг очутились в огромной толпе молодых людей, наших сверстников, стекшихся отовсюду искать знания в святилище науки. Первый экзамен состоял в письменном сочинении. Выше я уже сказал, что Шевырев задал темою описание события или впечатления, которое имело наиболее влияния в жизни, и что, уступив брату английскую литературу, я взял латинских классиков. Шевырев остался очень доволен, поставил нам по 5 и тотчас, через Павлова, сообщил родителям о результате испытания. Мы вернулись домой в восторге.

Следующий экзамен был также успешен. Экзаменовал Кавелин из русской истории, и я опять получил пятерку. Так продолжалось и далее; с каждым новым испытанием прибавлялась бодрость и уверенность. На экзамене из закона божьего присутствовал сам митрополит Филарет. Я вступил первым, получив одну только четверку из физики, и ту несправедливо, ибо я предмет знал отлично, с такими вычислениями, которые вовсе даже не требовались от студентов юридического факультета. Вопрос попался пустой; Спасский, который не обращал на юристов большого внимания, спросил два, три слова и поставил 4, а я не имел духу просить, чтобы он проэкзаменовал меня основательно. Я был очень огорчен, и Василий Григорьевич тоже; но делать было нечего, и беда была невелика. Это была единственная четверка, которую я получил во всю свою жизнь. Брат мой также отлично выдержал экзамен, хотя ему не было еще вполне 16 лет.

Когда, наконец, все кончилось, наша радость была неописанная. Все усилия и труды увенчались блистательным успехом. У нас как гора свалилась с плеч. Можно было на время бросить книги и тетради, и вздохнуть свободно, услаждаясь сознанием великого совершенного шага. Это был первый значительный успех в жизни, успех тем более важный, что им обозначалось вступление в новый возраст и на новое поприще.

Миновало детство с его волшебными впечатлениями, с его невозмутимым счастьем; мы выходили уже из-под крыла родителей и становились взрослыми людьми, которым предлежало уже самим располагать своими действиями.

Но еще больше, может быть, была радость моих родителей. Все многолетние попечения, заботы, хлопоты и издержки, все опасения, надежды и ожидания привели, наконец, к тому желанному результату, который был постоянной целью всей их деятельности и дум. Дети выдержали испытание и выдержали блистательно, отличившись в глазах всех, обратив на себя общее внимание. Они встали уже на собственные ноги, и бодро и весело вступали на новый путь, где их ожидали новые успехи. Родительская гордость и родительское сердце могли быть вполне удовлетворены.

Мы тотчас заказали себе мундиры. С какою гордостью надели мы синий воротник и шпагу, принадлежность взрослого человека! В ожидании начала лекций, мы с остальным семейством продолжали жить на даче; отец же со спокойным сердцем уехал в свой Карауль, куда должен был прибыть Магзиг[1] для насаждения нового парка.

[1] Садовник, служивший у отца автора в его имении Карауле.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

В то время, когда я вступил в Московский университет, он находился в самой цветущей поре своего существования. Все окружающие его условия, и наверху и внизу, сложились в таком счастливом сочетании, как никогда в России не бывало прежде и как, может быть, никогда уже не будет впоследствии.

Министерством народного просвещения управлял тогда граф Уваров, единственный, можно сказать, из всего длинного ряда следовавших друг за другом министров, с самого начала нынешнего века, который заслуживал это название и достоин был занимать это место. Уваров был человек истинно просвещенный, с широким умом, с разносторонним образованием, какими бывали только вельможи времен Александра I. Он любил и вполне понимал вверенное ему дело. Управляя народным просвещением в течение 15 лет, он старался возвести его на ту высоту, на какую возможно было поставить его при тогдашнем направлении правительства. Сам он глубоко интересовался преподаванием. Когда он осенью 1848 года, незадолго до отставки приехал в свое великолепное имение Поречье[1], где у него была и редкая библиотека и драгоценный музей, он пригласил туда несколько профессоров Московского университета, между прочим, Грановского, и самое приятное для него препровождение времени состояло в том, что он просил их читать лекции в его маленьком обществе. Перед тем он был в Московском университете и заставлял даже студентов читать пробные лекции в его присутствии. К со-

[1] Известное именье гр. С. С. Уварова Можайского уезда Московской губернии.

жалению, я этого не видел и не мог участвовать в этих чтениях, ибо в ту пору мы не возвратились еще из деревни. Высокому и просвещенному уму графа Уварова не соответствовал характер, который был далеко не стойкий, часто мелочной, податливый на личные отношения. Государя он боялся как огня; один из его приближенных рассказывал мне, что его трясла лихорадка всякий раз, как приходилось являться к царю с докладом. Но тем более делает ему чести, что он всячески старался отстоять русское просвещение от суровых требований монарха. Он сам говорил Грановскому, что, управляя министерством, он находился в положении человека, который, убегая от дикого зверя, бросает ему одну за другой все части своей одежды, чтобы чем-нибудь его занять, и рад, что сам, по крайней мере, остался цел. При реакции, наступившей в 49 году, бросать уже было нечего, и Уваров вышел в отставку.

Ниже по уму, но гораздо выше по характеру был тогдашний попечитель Московского университета, граф Сергей Григорьевич Строганов, незабвенное имя которого связано с лучшими воспоминаниями московской университетской жизни. Время его попечительства было как бы лучем света среди долгой ночи. С Уваровым он был не в ладах, потому что не уважал его характера; но сам он занимал такое высокое положение, и в обществе и при дворе, что мог считаться почти самостоятельным правителем вверенного ему округа. Впоследствии я близко знал этого человека и мог вполне оценить его редкие качества. При невысоком природном уме, при далеко недостаточном образовании, в нем ярко выступала отличительная черта людей Александровского времени,—горячая любовь к просвещению. Самые разнообразные умственные интересы составляли его насущную пищу. Страстно преданный своему отечеству, свято сохраняя уважение к верховной власти, он никогда не стремился к почестям и презирал все жизненные мелочи. Любя тихую семейную жизнь, он высшее наслаждение находил в постоянном чтении серьезных книг и в разговорах с просвещенными людьми. Уже восьмидесятилетним стариком, он вдруг с любовью занялся собранием мексиканских древностей. Показывая мне свое собрание, он

спросил меня, не знаю ли я какого-нибудь сочинения о Мексике. Я назвал Brasseur de Bourbourg, замечая, однако, что это книга весьма неудобоваримая[1]. И что же? Через несколько месяцев, приехавши опять в Петербург, я застаю его за чтением Брассера и весьма довольного моей рекомендацией. Но главная его страсть, к чему у него была прирожденная струнка, была педагогика. Я видел тому удивительные примеры. Однажды в Гааге, во время путешествия с наследником мы шли с ним по улице вдвоем. Вдруг он видит надпись: Народная школа. Старик весь воспламенился: „Народная школа!—воскликнул он,—войдемте и посмотримте, как там преподают". Мы вошли и сели на скамейку рядом с учениками. Долго мы тут сидели и слушали, и хотя преподавание происходило на неизвестном ему языке, ему понравились приемы, и он остался совершенно доволен своим посещением. Управляя Московским учебным округом, он постоянно посещал гимназии и университет, внимательно слушал самые разнородные уроки и лекции, и при том всегда без малейшего церемониала. Никто его не встречал и не провожал, и мы часто видели, как он среди толпы студентов, никем не сопровождаемый, направлялся в аудиторию, опираясь на свою палку и слегка прихрамывая на свою сломанную ногу. В аудитории он садился рядом со студентами на боковую скамейку и после лекции разговаривал о прочтенном с профессором. Вообще, он церемоний терпеть не мог и в частной жизни был чрезвычайно обходителен с людьми, которых жаловал. Зато, если кто ему не нравился или если что-нибудь было не по нем, он обрывал с резкостью старого вельможи, иногда даже совершенно незаслуженно и некстати, ибо он в чужие обстоятельства никогда не входил и, вообще, мало что делал для людей, имея всегда в виду только пользу дела. Вследствие этого многие, имевшие с ним сношения, его не любили. В особенности не жаловали его славянофилы, которых он с своей стороны весьма не долюбливал, видя в них только праздных болтунов. Погодин и Шевырев жаловались иногда на притеснения. Но, вообще, среди всех людей, причастных

[1] „Histoire des nations civilisées du Mexique et de l'Amérique centrale", Paris, 1857—1858 (в 4 томах).

к университету, и профессоров и студентов, он пользовался благоговейным уважением. Когда он вышел в отставку, ему поднесен был альбом по общей подписке между студентами; мы все вписали в него свои имена. И во все последующие годы, когда при новом царствовании началось ежегодное празднование 12 января, дня основания Московского университета, все собранные на обед старые студенты всегда считали своей первой обязанностью послать телеграмму графу Сергею Григорьевичу Строганову в знак сохранившейся в их сердцах признательности за вечно памятное его управление Московским университетом.

При нем университет весь обновился свежими силами. Все старое, запоздалое, рутинное устранялось. Главное внимание просвещенного попечителя было устремлено на то, чтобы кафедры были замещены людьми с знанием и талантом. Он отыскивал их всюду, и в Москве, и в Петербурге, куда он сам ездил с целью приобрести для университета подававших надежды молодых людей. Он послал Грановского за-границу, а Евгения Корша перевел библиотекарем в Москву. При нем вернулись из Германии посланные уже прежде Редкин, Крылов, Крюков, Чивилев, Иноземцев, а затем постепенно вступили на кафедры Кавелин, Соловьев, Кудрявцев, Леонтьев, Буслаев, Катков. Из-за границы молодые люди возвращались в Россию, воодушевленные любовью к науке, полные сил и надежд. В то время и европейская наука находилась в самой цветущей поре своего развития. В период политического затишья между Венским Конгрессом и переворотами 1848 года, умы в Европе были, главным образом, устремлены на решение теоретических вопросов, особенно в Германии, куда ездили учиться молодые русские. Германская наука царила тогда над умами и давала им пищу, которая могла удовлетворять все потребности. В то время не было еще одностороннего господства реализма, который принижает мысль, закрывая перед ней всякие отдаленные горизонты и заставляя ее превратно смотреть на высшие и лучшие стороны человеческого духа. Философское одушевление было еще в полном разгаре. В этой области господствовал гегелизм, увлекавший и старых и молодых. С другой стороны в борьбу с ним вступала исто-

рическая школа, в лице знаменитейших юристов: Эйхгорна, Пухта, Савиньи. На поприще филологии и древностей подвизались такие люди, как Вильгельм Гумбольдт, Бек, братья Гримм, основатели новой науки. Историческую кафедру в Берлине занимал уже тогда знаменитый, на-днях только умерший Ранке[1]. В то же время и во Франции историческая школа выступила с небывалым блеском в лице Гизо, Тьерри, Тьера, Минье, Мишле. Все соединялось к тому, чтобы предвещать человечеству новую и великолепную будущность. В каком-то поэтическом упоении знанием и мыслью возвращались молодые люди в отечество и сообщали слушателям одушевлявшие их идеалы, указывая им высшие цели для деятельности, зароняя в сердца их неутомимую жажду истины и пламенную любовь к свободе. Один Грановский мог быть славой и красой любого университета. Его поэтическая личность, его яркий талант, его высокий нравственный строй делали его самым видным представителем этой блестящей эпохи университетской жизни.

Отношения между профессорами и студентами были самые сердечные: с одной стороны, искренняя любовь и благоговейное уважение, с другой стороны, всегдашнее ласковое внимание и готовность притти на помощь. У Грановского, у Кавелина, у Редкина в назначенные дни собиралось всегда множество студентов; происходили оживленные разговоры не только о научных предметах, но и о текущих вопросах дня, об явлениях литературы. Библиотеки профессоров всегда были открыты для студентов, которых профессора сами побуждали к чтению, давая им книги и расспрашивая о прочитанном. Всякий молодой человек, подававший надежды, делался предметом особенного внимания и попечения. Без сомнения, масса студентов в то время, как и теперь, приходила в университет с целью достичь служебных выгод и ограничивалась рутинным посещением лекций и зубрением тетрадок для экзамена. Но всегда были студенты, которые под руководством профессоров занимались серьезно и основательно. В это время Московский университет выпустил из своей среды целый ряд

[1] Немецкий историк Леопольд фон-Ранке (род. в 1795 г.), умер 25 мая н. ст. 1886 г.

людей, приобретших громкое имя и на литературном, и на других поприщах. Один за другим, в течение немногих лет, вышли из него Кавелин, Соловьев, Кудрявцев, Леонтьев, Катков, Буслаев, Константин Аксаков, Юрий Самарин, Черкасский. Стремление к знанию, одушевление мыслью носились в воздухе, которым мы дышали. Самые порядки, господствовавшие в университете, были таковы, что нам жилось в нем хорошо и привольно. Это действительно была alma mater, о которой нельзя вспомнить без теплой сердечной признательности. Студенты носили тогда общую форму: сюртук с синим воротником, в обыкновенные дни с фуражкой, в праздники с треугольной шляпой и шпагой, для выездов фрачный мундир с галунами на воротнике. Но мы этой формою не только не тяготились, а, напротив, гордились ею, как знаком принадлежности к университету. Мелочных придирок относительно формы не было. В стенах университета мы ходили расстегнутыми; на мелкие отступления смотрели сквозь пальцы и только в случае большого неряшества делались замечания, да и то снисходительно и ласково. Инспектором в то время был человек, о котором у всех старых студентов сохранилась благоговейная память, Платон Степанович Нахимов, старый моряк, брат знаменитого адмирала. Это была чистейшая, добрейшая и благороднейшая душа, исполненная любви к вверенной его попечению молодежи. Тихий и ласковый, он был истинным другом студентов, всегда готовым притти к ним на помощь, позаботиться об их нуждах, защитить их в случае столкновений. Хлопот ему в этом отношении было не мало, ибо в то время студенты вовсе не подлежали полиции, а ведались исключительно университетским начальством; казенные же студенты жили в самых стенах университета, под непосредственным надзором инспекции. Поминутно студентов ловили в каких-нибудь шалостях, и все это надобно было разбирать; приходилось и журить и наказывать; но все это совершалось с таким добродушием, что никогда виновные не думали на это сетовать. Про Платона Степановича ходило множество анекдотов, как его студенты обманывали и как он поддавался обману. Но поддавался он нарочно, по своему добросердечию, потому что не хотел взыскивать строго с молодых людей, а предпочитал

смотреть сквозь пальцы на их юношеские проделки. Иногда он отворачивался, когда встречал студента в слишком неряшливом виде. Когда же случалась в университете история, он призывал к себе лучших и разумнейших студентов и ласково уговаривал их, чтобы они старались собственным влиянием на товарищей положить ей конец. Когда Платон Степанович несколько лет спустя вышел в отставку и сделался смотрителем Шереметевской больницы, весь университет его оплакивал, и во все последующие годы бывшие при нем студенты считали долгом в праздничные дни поехать к нему расписаться и тем показать ему, что у них сохранилась о нем благодарная память. Да и можно ли было о нем забыть? Я доселе не могу без умиления вспоминать стихи, написанные старым студентом после Синопского сражения, выигранного знаменитым его братом, в самый день именин Платона Степановича.

В ноябре, раскрывши святцы,
Вспомним мы Синопский бой,
Наш Платон Степаныч, братцы,
Брат Нахимову родной.
Здравствуй, адмирал почтенный,
Богатырь и молодец!
Дядя, брат твой незабвенный
Был студенческий отец.
Мы, по нем тебе родные,
Благодарны за него;
Ты напомнил всей России
Имя доброе его.
Всяк из нас и днем и на ночь
Вас в молитве помянет,
И тобой Платон Степаныч
В новой славе оживет.

Уваров, Строганов, Грановский, Нахимов! Какое сочетание имен! Какова была жизнь в университете, когда все эти люди действовали вместе, на общем поприще, приготовляя молодые поколения к служению России!

Ко всем этим счастливым условиям присоединялось, наконец, совершенно исключительное, никогда не бывшее ни прежде ни после, и не могущее даже возобновиться, отношение университета к окружающему обществу. В то время в России не

было никакой общественной жизни, никаких практических интересов, способных привлечь внимание мыслящих людей. Всякая внешняя деятельность была подавлена. Государственная служба представляла только рутинное восхождение по чиновной лестнице, где протекция оказывала всемогущее действие. Молодые люди, которые сначала с жаром за нее принимались, скоро остывали, потому что видели бесплодность своих усилий, и лишь нужда могла заставить их оставаться на этой дороге. Точно так же и общественная служба, лишенная всякого серьезного содержания, была поприщем личного честолюбия и мелких интриг. В нее стремились люди, которых тщеславие удовлетворялось тем, что они на маленьком поприще играли маленькую роль. При таких условиях, все, что в России имело более возвышенные стремления, все, что мыслило и чувствовало не заодно с толпою, все это обращалось к теоретическим интересам, которые за отсутствием всякой практической деятельности, открывали широкое поле для любознательности и труда. Однако и в этой области препятствия были громадные. При тогдашней цензуре, немилосердно отсекалось все, что могло бы показаться хотя отдаленным намеком на либеральный образ мыслей. Не допускалось ни малейшее, даже призрачное отступление от видов правительства или требований православной церкви. Конечно, мысль заковать нельзя, и публика привыкла читать между строками, но всякое серьезное обсуждение вопросов становилось невозможным. На кафедре было гораздо более простора; тут не было пошлого и трусливого цензора, опасающегося навлечь на себя правительственную кару и беспрестанно дрожащего за свою судьбу. Хотя, разумеется, и в университете не допускалась проповедь либеральных начал, однако, под защитою просвещенного попечителя, слово раздавалось свободнее можно было не касаясь животрепещущих вопросов, в широких чертах излагать историческое развитие человечества. И когда из стен аудитории это слово раздалось в поучение публики, то оно привлекло к себе все, что было мыслящего и образованного в столице. Московский университет сделался центром всего умственного движения в России. Это был яркий свет расспространявший лучи свои повсюду, на который

обращены были все взоры. В особенности кружок так называемых западников, людей веровавших в науку и свободу, в который слились все прежние московские кружки, и философские и политические, исключая славянофилов, собирался вокруг профессоров Московского университета. К нему принадлежали: Герцен, блестящий, полный огня, всегда увлекающийся в крайности, но одаренный большим художественным талантом и неистощимым остроумием; Боткин, который сидя в амбаре у отца, страстно изучал философию, человек с разносторонне образованным умом, тонкий знаток литературы и искусств, хотя подчас капризный и раздражительный, склонный к сибаритизму, над чем друзья его нередко потешались; Кетчер, который под резкими формами и суровой наружностью скрывал золотое сердце, неуклонное прямодушие и беспредельную преданность своим друзьям; Корш сам принадлежал к университету, в это время он издавал „Московские Ведомости“. Вскоре из-за границы вернулись Огарев и Сатин. Из того же кружка вышел и Белинский, который, переехав в Петербург, в „Отечественных Записках“ громил славянофилов и своим ярким талантом распространял по всей России европейские идеи, вынесенные им из Москвы, нередко впадая в крайность, по страстности своей натуры, но всегда смягчаемый прирожденным ему эстетическим чувством. В то время петербугские и московские литераторы составляли одно целое, и всякий приезжий из Петербурга: Белинский, Краевский, Тургенев, Анненков, Панаев, считал долгом явиться к московским профессорам, которые принимали его, как своего собрата. Это была дружная фаланга, которая задала себе целью приготовить России лучшую будущность распространением в ней мысли и просвещения. Работа была серьезная: литературная, ученая, педагогическая. И дело, казалось, шло с вожделенным успехом. Умственный интерес в обществе был возбужден; студенты слушали жадно и боготворили своих профессоров; из университета выходили даровитые молодые люди, которые обещали прибавление новых сил к тесному кругу русского образованного общества. Друзья собирались постоянно, обсуждали все вопросы дня, все явления науки и литературы, проводили иногда долгие ночи в оживленных

беседах. Самые их противники, славянофилы, существовали кажется, только для того, чтобы придать более яркости мысли, более живости прениям. Временно обострившиеся отношения смягчились; споры возобновились попрежнему; собирались в литературных салонах у Свербеевых, у Елагиной. Это была, можно сказать, пора поэтического упоения мыслью в университете и в окружающем его обществе. Немудрено, что однажды Грановский, возвращаясь домой с Павловым после ужина в нашем доме, и идя с ним пешком по бульвару, вдруг остановился и воскликнул: „Николай Филиппович! А ведь хороша жизнь!" Счастливо время, когда подобные слова могут вырываться у людей с такими высокими умственными и нравственными потребностями! Увы! прошло несколько лет, и все это было беспощадно подавлено, и тот же Грановский, чтобы заглушить гнетущую его тоску, искал убежища в опьянении азартной игры.

В эту-то пору умственного подъема, надежд и увлечений, когда счастливое созвездие, казалось, обещало светлое будущее, довелось мне вступить в Московский университет. Разумеется, он представлялся мне какою-то святынею, и я вступал в нее с благоговением, ожидая найти в ней те сокровища знания, которых жаждала моя душа.

Первый курс был составлен отлично. Редкин читал юридическую энциклопедию, Кавелин — историю русского права, Грановский — всеобщую историю, Шевырев — словесность. Университетский священник Терновский читал богословие, которое в то время требовалось строго. Наконец, ко всему этому прибавлялся латинский язык, который преподавал лектор Фабрициус, хороший латинист, но не умевший заинтересовать студентов. Поэтому никто почти его не слушал: студенты позволяли себе даже разные ребяческие выходки, и курс был совершенно бесполезен. От немецкого языка, который читался на том же курсе, мы были избавлены, потому что на экзамене получили по 5.

На первых шагах, однако, меня постигло некоторое разочарование. Одним из важнейших предметов на курсе была юридическая энциклопедия. Редкин пользовался большой репутацией; в ожидании первой лекции аудитория была битком

набита студентами. Наконец, явился профессор, уселся на кафедре и громовым голосом воскликнул: „Зачем вы собрались здесь в таком множестве?“ Это был приступ к лекции, в которой в напыщенной форме говорилось, что студенты пришли в университет искать правды, которая есть начало права. Масса была увлечена и неистово рукоплескала. Но я остался холоден; мне эта напыщенная форма не понравилась. Столь же мало я был удовлетворен и следующими лекциями. Я искал живого содержания, а мне давали формальное и пространное изложение общих требований науки. Но когда я, составив лекции, показал их отцу, он остался ими очень доволен и сказал, что для молодых умов подобная умственная дисциплина весьма полезна. Думаю, что он был прав. Я сам, чем более слушал профессора, тем более ценил достоинство его курса, несмотря на довольно существенные недостатки его преподавания.

Редкин был человек невысокого ума и небольшого таланта. Всецело преданный гегельянской философии, он не всегда умел ясно выразить отвлеченную мысль и нередко впадал в крайний формализм. Построение всякого начала по трем ступеням развития составляло для него непременную догму, и так как каждая из этих ступеней, в свою очередь развивалась в трех ступенях, то отсюда выходил сложный схематизм, который совершенно озадачивал молодые умы и нередко лишен был всякого существенного содержания. Так, коренной источник права, воля, развивалась у него в двадцати семи ступенях, и каждая из этих ступеней должна была иметь свое собственное значение и служить началом особой отрасли правоведения. Большинство студентов первого курса совершенно запутывались в этих определениях, а так как профессор на экзамене был строг, то юридическая энциклопедия была чистилищем, через которое проходила университетская молодежь, прежде нежели перейти на высшие курсы. Нельзя не сказать, однако, что это чистилище было весьма полезно. Мы приучались к логической последовательности мысли, к внутренней связи философских понятий. Перед нами возникал целый очерк юридической науки, не как мертвый перечень, а как живой организм, проникнутый высшими началами. Мы

затверживали определение римских юристов, что право происходит от правды; нам говорили, что начало гражданского права есть свобода, начало уголовного права — основанное на правде воздаяние; мы учились видеть в государстве не внешнюю только форму, не охранителя безопасности, а высшую цель юридического развития, осуществление начал свободы и правды в верховном союзе, который, не поглощая собою личности и давая ей надлежащий простор, направляет ее к общему благу. И так как профессор весь был проникнут излагаемым предметом, который составлял для него призвание жизни, то он умел свое одушевление передать и слушателям. Он давал толчок философскому движению мысли; мы стремились познать верховные начала бытия и воспламенялись любовью к вечным идеям правды и добра, которым мы готовились служить всем своим существом. Как неизмеримо высоко стоит это преподавание, проникнутое философскими и нравственными началами, над современными изложениями юридической науки, которые если не ограничиваются рутинными перечнем, то отражают на себя взгляд новейшего реализма, отвергающего всякие высшие начала и низводящего право к охранению интересов, а самые интересы низводящего к уровню физиологии! Какое одушевление может вселить в молодые сердца такое грубое непонимание самых первых основ человеческого общежития!

Когда впоследствии почтеннейший Петр Григорьевич, оставив кафдеру по причинам, которые расскажу ниже, переехал на службу в Петербург, я всегда с сердечным удовольствием ездил беседовать с своим старым профессором и скорбел, когда слышал, что многие над ним издеваются, пользуясь его простодушием и не понимая внутренних его достоинств. Он до старости сохранил весь свой юношеский жар и до такой степени был предан преподаванию, что занимая видное место в администрации, он принял вместе с тем кафедру юридической энциклопедии в Петербургском университете, которого он одно время был ректором. Когда я входил в его комнату, мне казалось, что я дышу иной атмосферой, проникнутой духом давно прошедшего времени; я видел перед собой человека, жившего среди великого движения умов, заставшего в Берлине еще свежие

предания Гегеля, слушавшего Ганса и Савиньи и сохранившего от того времени живой интерес к философским вопросам, а вместе и серьезное их понимание, понимание совершенно заглохшее и затерявшееся у современников. С ним можно было говорить, как встарь, и отдохнуть умом от пошлости новейших ученых. Я навек остался ему благодарным учеником. Ему я обязан первым своим философским развитием.

Если преподавание Редкина, при весьма существенных достоинствах, имело и свои слабые стороны, то курс Кавелина не оставлял ничего желать. Он был превосходен во всех отношениях, и по форме и по содержанию. Кавелин имел весьма скудное теоретическое образование, и по свойствам своего ума он всего менее был способен к пониманию вопросов с философской стороны. Когда он впоследствии стал заниматься философиею, то Редкин удивлялся, как он берется за предмет, столь противный его натуре, и если он в этом отношении достиг, по крайней мере, умения связать в одно целое чисто отвлеченные понятия, то это доказывает только необыкновенную даровитость этого замечательного человека. Но в изложении истории русского права никаких теоретических понятий не требовалось. В университетском курсе стушевывалось даже то начало, которое составляет слабую сторону его знаменитой статьи, появившейся в первой книжке „Современника“ 1847 года, начало развития личности в древней русской истории[1]. В основание своего курса Кавелин полагал изучение источников, не внося в них никакой предвзятой мысли. Он брал факты, как они представлялись его живому и впечатлительному уму, излагал их в непрерывной последовательности, с свойственною ему ясностью и мастерством, не ограничиваясь общими очерками, а постоянно следя за памятниками, указывая на них и уча студентов ими пользоваться. Перед нами развертывалась стройная картина всего развития русской общественной жизни: вначале родовой быт, на который прямо указывает летописец, и который проявлялся и в обычаях, и в

[1] Известная статья К. Д. Кавелина: „Взгляд на юридический быт древней России“, появившаяся в „Современнике“, т. I, кн. 1, отд. II, стр. 1—52 и перепечатанная в Собрании сочинений К. Д. Кавелина, издание Н. Глаголева, СПБ, т. I, стр. 5—66.

родовой мести, и в отношениях князей; затем разложение этого начала дружинным, выступление личности, постепенное развитие государства и, наконец, завершение всего этого исторического процесса деятельностью Петра Великого, который, воспользовавшись государственным материалом, подготовленным московскими царями, вдвинул Россию в среду европейских держав, тем самым исполняя великое ее историческое назначение. Как далек был этот здравый, трезвый и последовательный взгляд на русскую историю от всех бредней славянофилов, которые, страстно изучая русскую старину, ничего ни видели в ней, кроме собственных своих фантазий! Константин Аксаков объявлял родовой быт поклепом на русскую историю и вопреки очевидности утверждал, что у летописца род означает семью, и что все встречающиеся в истории черты родового быта вовсе не славянские, а пришлые, варяжские. Петр Васильевич Киреевский и даже более трезвый, ибо более знакомый с источниками, Погодин видели в языческих славянах какой-то образец невозмутимой добродетели и умилялись над тем смиреномудрием, с котором они безропотно покорялись варяжским завоевателям. Как неизмеримо высоко стояло умное, живое, ярко-даровитое преподавание Кавелина и от следовавшего за ним после короткого промежутка курса Беляева, который при полном невежестве и при полной бездарности, не умел даже понимать изучаемые им грамоты, а постоянно восполнял и извращал их собственными дикими измышлениями! Замечательно, что в одно и то же время два человека, не столковавшиеся между собою, без всяких взаимных сношений, Кавелин и Соловьев, пришли к одному и тому же правильному взгляду на русскую историю и сделались основателями новой русской историографии. Можно сказать, что все, что впоследствии явилось, как противодействие положенным ими началам, было только уклонением от истинно научного пути. Костомаров, который с таким блеском выступил во имя начал народных, в противоположность государственным, был лишен всякого исторического смысла. Он мог, с прирожденным ему художественным талантом, рисовать некоторые картины, но когда он, в своей вступительной лекции утверждал, что кометы метеоры, пугавшие народное воображение, имеют для

историка больше значения, нежели политические дела, то это обличало такое грубое непонимание самых основных задач истории, что вся его многообильная деятельность могла вести лишь к полному извращению понятий, как слушателей, так и публики. К сожалению, Кавелин не долго остался на этом поприще, где юридическое его значение служило драгоценным восполнением ученой деятельности Соловьева, который именно с этой стороны был всего слабее. Обстоятельства, о которых я расскажу далее, заставили его покинуть Московский университет и пересилиться в Петербург, где он заглох в несвойственной ему среде. Десять лет спустя, он получил снова кафедру гражданского права в Петербургском университете, но время было упущено, да и предмет был для него слишком теоретичный: он не мог с ним совладать. Истинное его призвание было историческое исследование русского права, и самая блестящая пора его жизни было кратковременное преподавание в Московском университете, которое в памяти его слушателей оставило неизгладимые следы. Говорю здесь о Кавелине, как профессоре: о Кавелине, как человеке, мне придется еще много говорить впоследствии.

Если Редкин мог дать толчок философскому мышлению, если у Кавелина можно было научиться основательному изучению истории русского права по памятникам старины, то широкое историческое понимание можно было получить только от Грановского. Сами Кавелин и Соловьев от него научились правильно смотреть на историю, ибо они были его слушателями. Можно без преувеличения сказать, что Грановский был идеалом профессора истории. Он не был архивным тружеником, копотливым исследователем фактов, да это вовсе и не требовалось в России в тогдашнее время. В русской истории необходимо было прежде всего тщательное изучение памятников, ибо тут было совершенно невозделанное поле, и все приходилось перерабатывать вновь. Но для всеобщей истории нужно было совершенно иное: надобно было познакомить слушателей со смыслом исторических событий, с общим ходом человечества в его поступательном движении, с теми идеями, которые развиваются в истории. Конечно, для этого необходимо было вполне овладеть материалом; иначе строилось здание на воз-

духе. Но исторический материал Грановский усвоил себе с самою тщательною добросовестностью. Когда представляют его человеком, хватающим верхушки и своим талантом восполняющим недостаток знания, и еще более когда изображают его каким-то лентяем, читающим лекции, спустя рукава, то можно только удивляться пошлости людей, высказывающих подобные суждения. Грановский был чтец первоклассный и неутомимый. Не только литература громадного предмета была коротко ему знакома, но всякий памятник, имеющий существенное значение для изучаемого периода, был им внимательно просмотрен, всякая даже мелкая брошюра была им основательно прочитана, и он тотчас мог указать, что в ней есть дельного. Он изучал даже памятники эпох, о которых ему никогда не приходилось читать лекции. Помню, как он однажды с грустью говорил моей матери: „Вот каково наше положение: я прочел 50 томов речей и документов, касающихся французской революции, а между тем знаю, что не только не придется написать об этом ни единой строки, но нельзя заикнуться об этом и на кафедре“.

К обширности знаний присоединялись серьезное философское образование и большой политический смысл, качества для историка необходимые. Грановский слушал лекции в Берлине во время самого сильного философского движения и проникся господствовавшим в нем духом. „В Логику Гегеля я до сих пор верю“,— говорил он мне несколько лет спустя. Но из гегельянской философии он заимствовал не теоретическое сцепление понятий, не отвлеченный схематизм, которого он, как историк, был совершенно чужд, а глубокое понимание существа и целей человеческого развития, при чем он весьма далек был от ошибки тех философствующих историков, которые частное жертвуют общему и в лице видят только слепое орудие господствующего над ним исторического рока. Грановский глубоко верил в свободу человека, сочувствовал всем человеческим радостям и скорбям и вполне понимал, что если в общем движении отдельное лицо служит орудием высших целей, то в осуществление этих целей оно вносит личный свой элемент, через что и дает историческому процессу своеобразное направление. Философское содержание истории было

для него общею стихией, проникающею вечно волнуемое море событий, проявляющейся в живой борьбе страстей и интересов. „Истинная философия истории есть сама история“,— говорил он. Но он умел это содержание представить во всей его возвышенной чистоте. Он с удивительною ясностью и шириною излагал движение идей. Очерк историографии, который составлял введение в его исторический курс, был превосходный. Он указывал в нем, как две школы, отправлявшиеся от совершенно противоположных точек зрения, немецкая философская и французская историческая, пришли к одному и тому же результату, к пониманию истории, как поступательного движения человечества, раскрывающего все внутренние силы духа и направляющего все человеческие общества к высшей нравственной цели: к осуществлению свободы и правды на земле.

В политике он, разумется, был либерал, но опять же как историк, а не как сектатор. Это не был рьяный либерализм Герцена, всегда кидавшегося в крайность, неистово преследовавшего всякое проявление деспотизма. Для Грановского свобода была целью человеческого развития, а не непреложною меркою, с которой все должно сообразоваться. Он радостно приветствовал всякий успех ее в истории и в современной жизни; он всею душою желал расширения ее в отечестве, но он вполне понимал и различие народностей и разнообразие исторических потребностей. Развитие абсолютизма, установляющего государственный порядок, было в его глазах таким же великим и плодотворным историческим явлением, как и водворение свободных учреждений. Не даром он предметом своей докторской диссертации избрал аббата Сугерея. Но сердечное его сочувствие было все-таки на стороне свободы и всего того, что способно было поднять и облагородить человеческую личность. С этой точки зрения он сочувствовал и первым проявлениям социализма, который в то время не представлялся еще тою злобною софистикой, какою он сделался впоследствии в руках немецких евреев. Вполне признавая несостоятельность тех планов, которые социалисты предлагали для обновления человечества, Грановский не мог не относиться сочувственно к основной их цели, к уменьшению

страданий человечества, к установлению братских отношений между людьми. Раскрывшаяся тогда ужасающая картина бедствий рабочего населения увлекала в эту сторону самые умеренные и образованные умы, как, например, Сисмонди. Но когда в 48-м году социализм выступил на сцену, как фанатическая пропаганда, или как дышащая злобою и ненавистью масса, Грановский не последовал за радикальными увлечениями Герцена, а, напротив, приходил в негодование от взглядов, выраженных в „Письмах с того берега“ или в „Полярной звезде“. „У меня чешутся руки, чтобы отвечать ему в его собственном издании“,—писал он. В это смутное время он с любовью останавливался на одной Англии, которая осталась непоколебима среди волнений, постигших европейский материк, и крушения всех либеральных надежд.

При таком философском понимании истории, при таком глубоком историческом и политическом смысле, преподавание Грановского представляло широкую и возвышающую душу картину исторического развития человечества. Но это была только одна сторона его таланта. Была и другая, которой часто недостает у историков, умеющих широкими мастерскими штрихами изображать общее движение идей и событий, которой не было, например, у Гизо. Грановский одарен был высоким художественным чувством; он умел с удивительным мастерством изображать лица, со всеми разнообразными сторонами их природы, со всеми их страстям и увлечениями. Особенно в любимом его отделе преподаваемой науки, в истории средних веков, художественный его талант раскрывался вполне. Перед слушателями, как бы живыми проходили образы могучих Гогенштауфенов и великих пап, возбуждалось сердечное участие к трагической судьбе Конрадина и к томящемуся в темнице королю Энцио; возникала чистая и кроткая фигура Людовика IX, скорбно озирающегося назад, и гордая, смело и беззастенчиво идущая вперед фигура Филиппа Красивого. И все эти художественные изображения проникнуты были теплым сердечным участием к человеческим сторонам очерченных лиц. Все преподавание Грановского насквозь было пропитано гуманностью, оценкою в человеке всего человеческого, к какой бы партии он ни принадлежал, в какую бы сторону ни

смотрел. Те высокие нравственные начала, которые в чистоте своей выражались в изложении общего хода человеческого развития, вносились и в изображение отдельных лиц и частных явлений. И все это получало, наконец, особенную поэтическую прелесть от удивительного изящества и благородства речи преподавателя. Никто не умел говорить таким благородным языком, как Грановский. Эта способность, ныне совершенно утратившаяся, являлась в нем, как естественный дар, как принадлежность возвышенной и поэтической его натуры. Это не было красноречие, бьющее ключом и своим пылом увлекающее слушателей. Речь была тихая и сдержанная, но свободная, а с тем вместе удивительно изящная, всегда проникнутая чувством, способная пленять своею формою и своим содержанием затрагивать самые глубокие струны человеческой души. Когда Грановский обращался к слушателям с сердечным словом, не было возможности оставаться равнодушным; вся аудитория увлекалась неудержимым восторгом. Этому значительно содействовала и самая поэтическая личность преподавателя, тот высокий нравственный строй, которым он был насквозь проникнут, то глубокое сочувствие и уважение, которое он к себе внушал. В нем было такое гармоническое сочетание всех высших сторон человеческой природы, и глубины мысли, и силы таланта, и сердечной теплоты, и внешней ласковой обходительности, что всякий, кто к нему приближался, не мог не привязаться к нему всей душой.

Когда преждевременная смерть похитила его в ту самую минуту, как он готовился, при изменившихся условиях, выступить с обновленными силами на литературное поприще, Николай Филиппович Павлов с грустью говорил мне: „И вот он ушел от нас, и все, что от него осталось, не дает об нем ни малейшего понятия. Чем он был, знаем только мы, близко его видевшие и слышавшие, а умрем и мы, о нем останется только смутное предание, как чего-то необыкновенного, как о Рубини, о Малибран!“ [1] Да, кто не знал его близко, тот не может иметь о нем понятия. В предыдущих строках я старался передать незабвенные черты этого человека, который на всей моей

---

1) Джиованни-Батиста Рубини (1795—1854), известный итальянский тенор Мария Малибран (1808—1836), не менее знаменитая итальянская певица.

жизни оставил неизгладимую печать, представляясь мне даже на старости лет идеалом высшей нравственной красоты. Но может ли слово выразить могучее обаятельное действие живого лица?

Жалким соперником Грановского был Шевырев. И этот человек когда-то был блестящим молодым профессором, новым явлением в Московском университете. Вернувшись из Италии, полный художественных впечатлений, страстным поклонником Данте, образованный, обладающий живым и щеголеватым словом, он произвел большой эффект при вступлении на кафедру после устаревшего и спившегося Мерзлякова. Его погубило напыщенное самолюбие, желание играть всегда первенствующую роль и, в особенности, зависть к успехам Грановского, которая заслужила ему следующую злую эпиграмму, ходившую в то время в университете:

Преподаватель христианский
Он в вере тверд, он духом чист;
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист,
И скромно он, по убежденью,
Себя считает выше всех,
И тягостен его смиренью
Один лишь ближнего успех.

Искренно православный и патриот, он, в противоположность представляемому соперником западному направлению, все более и более вдавался в славянофильство. Поэзию Запада он прямо называл поэзиею народов отживающих. Курс его был переполнен нападками на немецкую философию, а так как он никогда ее серьезно не изучал, то возражения выходили самые поверхностные. Так, например, он говорил, что немецкие философы признают грехопадение началом развития разума, воззрение действительно вытекавшее из системы Гегеля, по которой развитие разума от первоначального единства идет к раздвоению, с тем чтобы снова подняться к высшему единству. В опровержение этого взгляда Шевырев приводил, что в библии Адам прежде грехопадения дает имена животным из чего видно, что разум был уже у него развит. Меня поразила такого рода научная аргументация; когда я сообщил

это Грановскому, он рассмеялся и сказал: „В Германии об этом уж давно перестали толковать". Иногда Шевырев на кафедре потешался над современным слогом Герцена и других, и это было для нас не бесполезно, ибо обращало наше внимание на правильность речи. Второе полугодие было все посвящено преподаванию церковно-славянского языка, что также было не бесполезно, хотя вовсе не соответствовало университетскому курсу. Но главную пользу он приносил тем, что задавал студентам сочинения. По этому поводу у меня произошло с ним маленькое столкновение. Темою было задано изложение какого-нибудь события русской истории по летописям, причем профессор сам продиктовал список тем. Я выбрал борьбу Новгорода с Иваном III. В пылу юношеского либерализма, я выставил новгородцев рыцарями, отстаивающими свою вольность, и, помнится, выразил даже сожаление о падении их республиканских учреждений. Шевыреву это не понравилось, и он сделал довольно резкое замечание. Я, по примеру некоторых других, подал ему объяснение, которое еще больше его рассердило, и он отвечал замечанием еще более резким. Это был первый повод к охлаждению прежних хороших отношений.

В объяснение надобно сказать, что Шевырев, в отличие от собственно славянофильской партии, не искал свободы не только на Западе, но и в древней России, а строго держался тогдашней казенной программы: православие, самодержавие и народность. Иногда он для эффекта позволял себе маленькие либеральные выходки. Так, например, на одной из публичных лекций, читанных им в зиму 1846—47 года, он вдруг закончил чтение переложением псалма Ф. Н. Глинки:

Немей, орган наш голосистый,
Как онемел наш в рабстве дух,
Не опозорим песни чистой,
Чтобы ласкать тиранов слух;
Увы! Неволи дни суровы
Органам жизни не дают;
Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют.

В аудитории произошел взрыв неумолкающих рукоплесканий. Но подобные выходки были редкостью, и чем старее

делался профессор, тем он становился раболепнее. В Крымскую кампанию он стал по всякому случаю писать патриотические стихи, и, притом, в такой пошлой и неуклюжей форме, которая обличала полный упадок не только таланта, но и вкуса. Образцом может служить следующее, сохранившееся у меня в памяти четверостишие из стихотворения, написанного по случаю бомбардирования Одессы:

И адмирала два, Дундас и Гамелен,
Громили пушками ряды домов и стен,
И перещеголял их прапорщик отважный,
Наш чудо Щеголев, артиллерист присяжный.

Шевырев писал подобные же стихи и в честь невежественного и тупоумного генерала Назимова, который назначен был попечителем Московского учебного округа, с целью введения в нем военной дисциплины. Он читал эти стихи на обеде, данном профессорами этому удивительному представителю русского просвещения. Но вскоре после этого карьера его кончилась весьма печальным образом. На каком-то смешанном заседании, происходившем в стенах университета, граф Василий Алексеевич Бобринский разглагольствовал о тогдашнем положении дел, бранил Россию и все русское. Шевырев, тут присутствовавший, возражал очень резко и упрекнул Бобринского в недостатке патриотизма. Тот отвечал дерзостью. Тогда Шевырев, как рассказывали, воспламенившись, подскочил к Бобринскому и дал ему пощечину. Бобринский был человек атлетического сложения, он бросился на Шевырева, повалил его на пол и так его отколотил, что тот слег в постель. И что же? Не только не произошло дуэли, но публично исколоченный профессор писал и пускал по городу самые пошлые письма, в которых, рассказывая происшедшее с ним несчастье, объяснял, что чувствует себя вполне удовлетворенным тем вниманием, которое ему оказывали: граф Закревский присылал узнать о его здоровье, а попечитель сам приезжал его навестить. При этом, восторгаясь сочувствием общества, он восклицал: „О, какая музыка!“ После этого, однако, он подал в отставку и уехал за границу, где через немного лет и умер.

Наконец, я должен сказать о том весьма важном для моей внутренней жизни значении, которое имел для меня не в положи-

тельном, а в отрицательном смысле, слушанный в университете курс богословия. Очевидно, что если требуется читать в университете богословие, то надобно устремить главное внимание на ученую критику и стараться доказать, что она не в состоянии поколебать существенных основ христианства. Сделать это может только человек вполне просвещенный, знакомый с европейскою наукою и с философиею. Между тем, читавшийся тогда в университете курс был самый сухой и рутинный, какой только можно представить. Всякое догматическое положение подкреплялось множеством текстов, после чего преподаватель замечал, что то же самое подтверждается и разумом, в доказательство чего приводилось несколько совершенно младенческих соображений, которые только вызывали опровержения. Самая личность профессора, университетского священника Петра Матвеевича Терновского, не внушала никакого сочувствия. Он имел строгий вид, говорил в нос, своими маленькими, хитрыми глазками беспрестанно осматривал аудиторию, замечая, кто ходит на лекции, а иногда делал резкие выговоры студентам. Я очень усердно следил за курсом и знал его отлично. Когда на экзамен опять приехал митрополит, и меня, в числе некоторых других, вызвали вне очереди, я так хорошо отвечал на попавшийся мне весьма трудный билет, что Филарет сделал мне комплимент, а Терновский поставил мне пять с крестом, дело в университете неслыханное. Но результатом этого изучения было то, что я внутри себя к каждому вопросу относился критически, и скоро все мое религиозное здание разлетелось в прах; от моей младенческой веры не осталось ничего.

Знакомство с европейской литературой и, в особенности, с ученою критикой могло только подкрепить зародившийся во мне скептический взгляд. Одно уже чтение „Всемирной истории" Шлоссера показывало мне предмет совершенно в ином свете, нежели в каком я привык смотреть на него с детства. Еще более я утвердился в своих новых убеждениях, когда прочел разбор библейских памятников Эвальда, в его „Истории еврейского народа", и на все это наложило окончательную печать чтение Штрауса. К тому же вело, с другой стороны, и изучение философии, которому я вскоре предался. Передо мною

открылось совершенно новое мировоззрение, в котором верховное начало бытия представилось не в виде личного божества, извне управляющего созданным им миром, а в виде внутреннего бесконечного духа, присущего вселенной. И, хотя в своей философии истории Гегель признавал христианство высшею ступенью в развитии человечества, однако это меня не убеждало, и я отвергал подобное построение, как непоследовательность.

Молодой человек, вступающий в университет, обыкновенно находится в этом положении. Здесь он в первый раз знакомится с наукой, которая имеет свои самостоятельные начала, которая ничего не принимает на веру и все подвергает строгой критике разума. Вместо господствующей в младенческие годы первобытной гармонии разума и веры, перед ним открываются две противоположные области, между собою не примиренные. Он вполне понимает, что религия не может иметь притязания на то, чтобы наука слепо ей подчинялась. Пример славянофилов показывал мне, к какому извращению научной истины ведет насильственное подчинение ее религии. Но наука, с своей стороны, следуя собственным началам, развиваясь самостоятельно, не указывала мне путей примирения. Она раскрывала историческое, а не догматическое значение христианства. И это происходило не от какой-либо односторонности или недостатка преподавания. При данных условиях такая постановка вопроса совершенно неизбежна. Примирение всех высших областей человеческого духа составляет верховную цель развития, а не принадлежность каждой преходящей ступени. Пока не выработались в ясной для всех форме непреложные начала истины, к выяснению которых стремится все развитие человеческого разума, каждому лицу приходится примирять противоположности по своему, испытуя умом весь доступный ему материал и следуя указаниям своей совести. Весьма немногим, вкусившим плодов науки, удается сохранить неприкосновенными свои религиозные убеждения, и надобно сказать, что это сопровождается всегда некоторою узкостью взгляда. Надобно пройти через период безверия, чтобы вполне понять, что может дать одна наука, и чем нужно ее восполнить для удовлетворения высших потребностей человеческой природы. Только соб-

ственным внутренним опытом можно понять смысл отступления от установленных догматов и правил; только этим путем можно выработать в себе истинную терпимость и приучиться не смешивать безверия с безнравственностью; наконец, только прошедши через отрицание, можно вполне сознательно возвратиться к религиозным началам и усвоить их с тою шириною понимания, которая способна совместить в себе требования разума и стремления веры. Впоследствии я к этому и пришел, убедившись по собственному внутреннему опыту в глубоком смысле изречения великого мыслителя: „Немного философии отвращает от религии, более глубокая философия возвращает к религии". Каким путем это совершилось, расскажу ниже; но на первых порах я, конечно, был от этого весьма далек. Мне предстоял выбор между двумя видами убеждений, религиозными и научными, и я со свойственною юношам решимостью и уверенностью в собственных силах, сбросил с себя все свои вынесенные из младенческих лет верования, как устарелый балласт, и смело вступил на путь чисто научного познания, доводя отрицание до крайности, со всем пылом неофита. Я даже с Грановским вел спор о будущей жизни. Он говорил, что никогда так не чувствовал потребности загробного существования, как на могиле друга, когда невольно думаешь: „Неужели эти останки для тебя все равно, что эта бутылка?" Но я все это отвергал как фантазии и утверждал, что совершенно достаточно одних воспоминаний. До чего доходила моя юношеская самонадеянность, можно видеть из памятного мне разговора с Магзигом[1]. Однажды мы вместе с ним гуляли по караульскому парку, который он разбивал. Вдруг, среди разговора, он остановился и сказал мне: „А знаете ли, Борис Николаевич, какая это высокая мысль: у меня есть покровитель!" Я немедленно отвечал ему: „Такая же высокая мысль: у меня нет покровителя; я стою на своих ногах и опираюсь только на себя". Боже мой! как скоро жизнь научает человека, что он сам по себе не более, как прах, который может быть снесен всяким случайным дуновением ветра, и убеждает его, что одна только надежда на высшую помощь

---

[1] См. примеч. к стр. 26.

дает ему силы для совершения своего земного пути! Нельзя, однако, не сказать, что это сознание юной мощи имеет в себе что-то увлекательное. Борг говорил, что он невысокого мнения о человеке, который не был республиканцем в двадцать лет и который остался республиканцем в сорок. Почти то же можно приложить и к религиозным убеждениям. Человеку, по крайней мере, нашего времени естественно быть неверующим в молодости и снова сделаться верующим в зрелых летах.

Научный интерес поддерживался и возбуждался в нас постоянными сношениями с любимыми профессорами. С Грановским мы виделись часто; он бывал у нас в доме на дружской ноге, и мы нередко у него обедали. Он любил собирать у себя за обедом студентов, которые его интересовали. Он беседовал с ними, как с себе равными; разговор всегда был умный и оживленный, касающийся и науки, и университета, и всех вопросов дня. У него, между прочим, мы познакомились с Бабстом, который был тогда словесником 4-го курса, а также с весьма умным и образованным юристом 4-го курса Татариновым, впоследствии профессором Ярославского лицея, к сожалению, рано погибшим от излишнего кутежа. Грановский сам повез нас к Редкину и Кавелину. С Редкиным я особенно сблизился к концу курса, когда он пригласил меня приехать к нему для составления программы по юридической энциклопедии. В личных беседах он еще более, нежели своими лекциями, сообщал мне свое философское одушевление, и я тогда же решил, что непременно, при первой возможности, займусь философией. У Кавелина по воскресеньям всегда собиралось много студентов, которым он задавал разные работы по истории русского права. В этих разговорах с собиравшеюся около него молодежью всего более проявлялся собственный его юношеский пыл, нередко увлекавший его в крайности. Друзья называли его „вечным юношей", а противники „разъяренным барашком", вследствие курчавой его головы. Хотя он и подчинялся влиянию Грановского, но по своей натуре он скорее готов был следовать за более радикальными увлечениями Герцена и Белинского. „Какое дело французскому народу, будет ли Гизо или Тьер первым министром? — говорил он нам од-

нажды, — французская демократия имеет совсем другие требования и цели“. От Грановского мы никогда не слышали ничего подобного; сочувствуя демократическим стремлениям, в которых он видел будущее, он понимал однако серьезное значение политических вопросов дня. Но именно эти увлечения Кавелина возбудительно действовали на молодежь, тем более, что они подкреплялись большим сердечным жаром и безукоризненною нравственною чистотою.

Профессора руководили и нашим чтением, ибо слушание лекций считалось только пособием к настоящим серьезным занятиям. Времени для чтения было достаточно, ибо я скоро приучился записывать лекции, так что не нужно было даже их перечитывать дома, а писец свободно мог списывать их для товарищей. Таким образом все вечера были свободны. По части истории я прочел „Всемирную историю“ Шлоссера. На вакацию Грановский дал мне Нибура, которого я изучал, читая в то же время по-латыни Тита Ливия. Прочел я также „Юридическую энциклопедию“ Неволина, а по истории русского права почти все, что тогда было написано: Эверса, Рейца, „Речь об Уложении“ Морошкина, диссертацию Кавелина [1], появившуюся именно в этот год первую диссертацию Соловьева [2]. Вместе с тем я знакомился с самими памятниками, начиная от Русской Правды и до Уложения. Последнее было в сущности не по силам студенту первого курса, но я приучился рыться в источниках и видеть в них первое основание серьезного изучения науки.

С первого курса завязались и те товарищеские отношения, которые составляют одну из главных прелестей университетской жизни и которые сохраняются навсегда, как одна из самых крепких связей между людьми. Из наших однокурсников самым близким мне приятелем остался сын тогдашнего московского генерал-губернатора, князь Александр Алексеевич Щербатов, человек, которого высокое благородство и практический смысл впоследствии оценила Москва, выбрав его первым своим городским головою при введении всесословного городского управле-

[1] „Основные начала русского судопроизводства в период времени от Уложения до Учреждения о губерниях“. М., 1844.

[2] „Об отношениях Новгорода к великим князьям“. М., 1845.

ния. Недаром она на нем остановилась; она нашла в нем именно такого человека, который способен был соединять вокруг себя все сословия, русского барина в самом лучшем смысле, без аристократических предрассудков, с либеральным взглядом, с высокими понятиями о чести, неуклонного прямодушия, способного понять и направить практическое дело, обходительного и ласкового со всеми, но тонко понимающего людей и умеющего с ними обращаться. Знающие его близко могут оценить и удивительную горячность его сердца, в особенности редкую участливость ко всему, что касается его близких и друзей. Его дружба — твердыня, на которую можно опереться. Когда мне в жизни приходилось решать какой-нибудь практический вопрос, особенно требующий нравственной оценки, я ни к кому не обращался за советом с таким доверием, как к Щербатову. Неизменно дружеские отношения сохранились и с добрейшим, невозмутимо спокойным Петром Талызиным, неразлучным моим товарищем в следовавший за университетом период светской жизни, а также и с умершим уже, тихим и кротким Михаилом Полуденским, сделавшимся впоследствии известным некоторыми библиографическими трудами. Но всего более я сошелся в то время с Алябьевым, братом известной красавицы Киреевой. У него умственные интересы были живее, нежели у других; он меня очень полюбил, и мы скоро с ним сблизились. Он умер в первый же год по выходе из университета. На одном курсе с нами был и Капустин, с которым я впоследствии был товарищем по кафедре. Сблизился с нами и матушкин сынок Благово, над которым, несмотря на дружеские отношения, мы нередко потешались. Товарищеские отношения завязывались и с студентами других курсов и даже факультетов. В особенности брат мой сошелся с вступившим одновременно с нами на математической факультет Корсаковым. Он был малый пустой, но не глупый, очень живой, веселый, отличный товарищ, любивший покутить, потанцовать, петь цыганские песни.

На нашем курсе по совершенно ничтожному случаю образовался как бы отдельный кружок. Лекции длились иногда часов пять сряду, и мы голодали. Для утоления аппетита мы бегали есть пирожки в находившуюся против университета кондитерскую

Маттерна; но, наконец, это нам надоело, и мы согласились, человек шесть или семь, в промежуточное между лекциями время, поочереди приносить для всей братии пирожки от Маттерна в самое здание университета, в так вазываемый гербариум. Тотчас пошла молва, что у нас образовался аристократический кружок, держащий себя особняком. Грановский счел даже нужным нас об этом предупредить, говоря, впрочем, что это больше относится к моему брату, нежели ко мне, хотя правду сказать, я никогда не замечал, чтобы мой брат держал себя иначе, нежели другие. Люди с одинаковым воспитанием естественно сходились друг с другом скорее, нежели с другими, но мы скоро перезнакомились со всем курсом и до конца были со всеми в добрых, товарищеских отношениях.

Через товарищей мы несколько познакомились и с московским большим светом. Корсаков ввел нас в дом своих родителей, которые в то время часто давали балы и вечера. Это была семья совершенно на старый московский лад, никогда не прикасавшаяся к умственной сфере, но радушная, гостеприимная, безалаберная, любившая прежде всего веселье. Дом их у Тверских ворот, ныне принадлежащий Строгановскому училищу, был всегда полон родными, гостями, приживалками. Постоянно были танцы, а на святки хозяева задали огромный маскард, на котором ими устроена была большая кадриль: человек с тридцать, мужчины и дамы, одетые в старое русское боярское платье, с песнями вели хоровод. Мы с братом участвовали в этой кадрили. На следующую зиму опять был такой же маскарад, в котором мы также участвовали. На этот раз устроена была ярмарка, где всевозможные лица продавали всевозможные вещи. Все эти непрестанные веселья, эти происходившие в доме затейливые празднества привели, наконец, к тому, что, при полной беспечности стариков, довольно значительное их состояние ушло сквозь пальцы, и они кончили жизнь в совершенной бедности.

Нас в это время приласкала и другая московская семья гораздо высшего разбора. На Малой Дмитровке, в прелестном доме, с большим садом, жили Соймоновы, которые с старым московским радушием соединяли утонченное изящество форм. Балов они не давали, но каждый вечер в их гостиную съез-

жались и светские люди, а иногда ученые и литераторы. Ласковость и приветливость хозяев делали то, что все у них чувствовали себя свободными; разговор всегда был оживленный; все в этой гостиной дышало какою-то сердечною теплотою. Старик Александр Николаевич, отец известного С. А. Соболевского, был совершенный маркиз XVIII века, с утонченными манерами, всегда веселый и живой. Он до 70 лет каждый день ездил верхом по московским улицам. Жена его Марья Александровна, рожденная Левашева, высокая, стройная, до старости носившая печать прежней красоты, была олицетворением сердечной чистоты и невинности. Умною и приятною собеседницею была замужняя дочь Сусанна Александровна Мертваго. Но красой семьи была другая, незамужняя дочь, уже довольно пожилых лет, Екатерина Александровна, женщина умная и образованная, с отличным сердцем, с приятным светским разговором, прекрасная певица. Зато в семье был и урод, именно сын, который в одно время с нами вступил в университет, на словесный факультет. Он был от природы слабоумный, что выражалось в его завостренной голове и только неусыпным попечением родителей мог кое-как протащиться через университет. Родителям хотелось сблизить его с нами, почему они нас особенно ласкали; но нам он ужаснейшим образом надоедал. Дело доходило до того, что иногда, когда он приезжал к нам вечером, мы тушили свечи и от него прятались; но он не унимался и шел в гостиную разговаривать с матерью. Волею или неволею приходилось итти на помощь и по целым вечерам выслушивать его глупую болтовню.

Алябьев ввел меня и в дом своей сестры, известной своею красотой и ухаживанием за нею государя. В это время она уже была не первой молодости и довольно полная; ее красотою я никогда не пленялся. Но она любила в своей гостиной соединять ученых и литераторов и сама желала блистать своим образованием. Однако, это ей мало удавалось, ибо ум далеко не соответствовал претензиям. Были, конечно, литераторы и светские люди, которые охотно падали к ногам великосветской красавицы, пользовавшейся милостями царя. При мне на одном из ее вечеров Загоскин читал какое-то свое произведение. Но, вообще, она больше была предметом забавных анекдотов. Про-

нее говорили, что сотворивши ее, бог сказал: „tu seras belle, mais tu parleras géologie“ [1]. Рассказывали, как она описывала свое путешествие в Германию „avec Shelling à ma droite, Schlegel à ma gauche et Humboldt devant moi“ [2]. Появление „Космоса“ [3] привело ее в неописаный восторг, и она тотчас полетела рассказывать о своей радости невинным своим деревенским соседкам, которые были совершенно ошеломлены этою неведомою им новостью и захотели узнать, что такое „Космос“, но разумеется ничего в нем не поняли. Деревенского уединения она, впрочем, не выносила, и в доказательство невозможности жить в деревне для образованной женщины она приводила то, что однажды, проснувшись утром, она вдруг, к ужасу заметила, что накануне в течение всего дня, у нее было только три мысли; тогда она тотчас велела запрягать лошадей и поскакала в столицу запасаться новым материалом. Дочь ее, известная писательница О. К. [4] наследовала все ученые и литературные стремления своей матери, но, по крайней мере, относительно иностранцев, с большею удачею. Многим она внушила высокое понятие о своем уме и образовании и находилась или находится в постоянной переписке с первоклассными европейскими знаменитостями: с Гладстоном, Тиндалем и другими. Только русские люди почему то никогда не могли ее переварить.

Наше знакомство с московским светом было, впрочем, весьма поверхностно. Хотя в то время уже студенты охотно принимались в московских гостиных и некоторые из них проводили свою жизнь на балах и вечерах, но мы этой сферы касались только слегка. Время, проведенное в университете, посвящалось, главным образом, учению, которое при благоприятных условиях шло весьма успешно. Экзамен первого курса сдан был отлично. Я получил везде по пяти, а брат имел кандидатские баллы. Счастливые и довольные мы поехали отдыхать в Караул.

Второй курс был составлен не хуже первого. Редкин читал государственное право, Чивилев — политическую экономию

---

[1] „Ты будешь красавицей, но ты будешь толковать о геологии“.

[2] „С Шеллингом с правой стороны, с Шлегелем с левой, и Гумбольдтом впереди меня“.

[3] Первый том сочинения Гумбольдта „Космос“ вышел в 1845 г.

[4] Ольга Алексеевна Киреева, по мужу Новикова.

и статистику, Грановский—историю Средних Веков, Соловьев—русскую историю, Катков—логику, наконец, Крылов—историю римского права.

Нельзя однако не сказать, что курс Редкина был гораздо ниже его курса энциклопедии. Государственное право было не его предмет; он читал его только временно, за отсутствием другого профессора. Притом же ему так надоело читать каждый год одно и то же, что он для разнообразия значительную часть первого полугодия посвятил подробному изложению древне-германского права, думая тем приохотить студентов к изучению истории иностранных законодательств. От этого курс общего государственного права вышел скомканный. Второе же полугодие посвящено было русскому государственному праву, которое Редкин излагал по Своду законов также весьма поверхностно, в чем сам признался. Он говорил, что он может возбудить философскую мысль, но юридический такт способен дать только Крылов. Вследствие этого, хорошего курса государственного права я не слышал, и это было весьма существенным пробелом в моем университетском образовании, тем более, что впоследствии я именно эту науку избрал своею специальностью.

Зато весьма полезен был курс политической экономии Чивилева. Он читал по раз навсегда составленным запискам, которые переходили от одного курса к другому, так что нам не было даже нужды записывать: мы просто следили за чтением по старым тетрадям. На новейшие явления в области политической экономии, именно, на социалистические теории, вовсе не было обращено внимания. Чивилев строго держался классической системы, установленной Адамом Смитом и его преемниками; но в этих пределах изложение было ясно, умно и последовательно. Оно давало полное понятие о предмете и возбуждало к нему интерес. Я на этом курсе специально занимался чтением политико-экономических писателей, прочел Адама Смита, Сея, Росси. С другой стороны, чтобы познакомиться с критикою, я прочел недавно вышедшие „Экономические. Противоречия“ Прудона, которые однако оттолкнули меня своим ни с чем не сообразным, мнимо-философским построением. В нем, повидимому, запутался и сам автор, увлеченный в совершенно незнакомую ему философскую область.

О Грановском я уже говорил выше. Но совершенною новостью для всех был курс Соловьева. Он только что вступил на кафедру после блестящей защиты своей магистерской диссертации и читал первый свой университетский курс. Здесь он впервые вполне изложил свой взгляд на русскую историю. В этот курс вошло существенное содержание явившейся вскоре после того диссертации о родовых отношениях русских князей[1]. Все, что мы в предшествующий год слышали от Кавелина, получало здесь новое развитие и подтверждение. Изложение было ясное, умное и живое. Нас беспрестанно поражали новые взгляды, мастерские очерки. Царствование Грозного было в особенности изложено удивительно выпукло. Хуже был конец, изложение эпохи междуцарствия; читая лекции, преподаватель очевидно сам изучал летописи, а потому не успел сжать свое изложение, и вдавался в совершенно лишние для университетского курса подробности. Мне памятен и экзамен Соловьева. Я предмет знал отлично, и приготовился блеснуть своим ответом. Вопрос мне попался из эпохи междуцарствия: битва, в которой был ранен князь Пожарский. Подошедши к столу, я начал так: „В пятницу на страстной неделе"... Тут Соловьев меня прервал, сказав: „Довольно!" и поставил пять. Я тогда еще вовсе не был с ним знаком, но впоследствии рассказал ему, как он меня удивил своим экзаменом. „Я знал вас за хорошего студента,— отвечал он,— вижу, что вы знаете такую подробность, чего же более?"

Совершенно иного свойства был курс Каткова. Я ничего подобного в университете не слыхал. Мне доводилось слушать курсы пошлые, глупые, пустые; но курса, в котором никто ничего не понимал, я другого не слыхал. И это было не случайное, а обычное явление. Катков читал уже второй год. Предшествовавший нам курс слушал его в течение двух полугодий, и никто из слушателей не понял ни единого слова из всего того, что читал профессор, так что, когда наступил экзамен, он всем должен был поставить по 5, ибо студенты вовсе не были виноваты в том, что отвечали совершеннейшую чепуху. То же самое повторилось и с нами. Я усердно ходил

[1] „История отношений между русскими князьями Рюрикова дома", М., 1847.

на каждую лекцию, записывал самым старательным образом, но решительно ничего не понимал, и все мои товарищи находились совершенно в том же положении. К нашему счастью Катков в половине года занемог, и экзамена вовсе не было. Говорят, что на словесном факультете он историю философии читал понятнее. Не знаю, но очевидно, что кафедра вовсе не была настоящим его поприщем. Вскоре потом он вышел и сделался редактором издававшихся от университета „Московских Ведомостей“ [1]. Кто бы мог подумать, что этот непонятный профессор, этот туманный философ со временем сделается живым и талантливым журналистом?

Все профессора давно уже начали читать, а Крылова все еще не было. Прошел месяц, другой, а он не являлся. Носились даже слухи, что он вовсе на кафедру не вернется. В это самое время случилась известная его история, наделавшая столько зла Московскому университету. Крылов был человек необыкновенно умный и даровитый, но полнейший невежда и лишенный всякого нравственного смысла. Много прегрешений прощалось ему за его ум и талант. Помню, как однажды, еще перед нашим вступлением в университет, мои родители с любопытством расспрашивали Грановского о Крылове, который на юридическом факультете имел огромное значение. „Он ровно ничего не читал и не знает,—говорил Грановский, — но когда что-нибудь ему сообщишь, он так сумеет этим воспользоваться, как никто. Раз он мне говорит: „Дай-ка мне, братец, что-нибудь прочесть о французской революции; все об ней слышу; хочется, наконец, знать, что там было“. Я дал ему Тьера. Вы не можете себе представить, — говорил Грановский, — сколько блестящих мыслей родилось у него вследствие этого чтения. Я был удивлен“. В Москве рассказывали, как после одной из публичных лекций Грановского о падении Римской империи, при разъезде у Павловых, Крылов вмешался в разговор и тут же, в передней, начертал такую блестящую картину разрушающейся Римской империи, что все гости в шубах столпились около него и слушали с восторгом. Но, несмотря на все эти блистательные дарования, уважением он не пользовался и имел даже репу-

[1] См. об этом „Воспоминания Б. Н. Чичерина. Московский Университет“ (в „Записях прошлого“), стр. 78 — 81.

тацию взяточника. Об этом мои родители также расспрашивали Грановского. „Постоянно этого не делается, — отвечал Грановский,— но что он не хватил раза два-три, за это никак нельзя ручаться“. К другим его некрасивым свойствам присоединялось еще то, что он пил запоем. Как-раз в то время, когда мы вступали на второй курс, с ним случилась скандальная история, огласившаяся на всю Москву. Он в пьяном виде подрался с женою и таскал ее по улице за косу. Жена его была сестра Корша; она искала убежища у братьев, которые за нее вступились. Кто был прав и кто виноват в этой семейной распре, об этом посторонним всегда трудно судить. Через несколько лет супруги опять съехались. Но Крылов вел себя в этой истории так, что внушил к себе всеобщее омерзение. Помню, как за обедом у Грановского студент Малышев, который восторгался Крыловым, изъявлял сожаление по поводу слухов о предстоящем его выходе из университета. На это Грановский отвечал: „Как вам не стыдно, Малышев, вступаться за такого грязного подлеца?“ К этому присоединилась еще другая, гораздо худшая история. Разъяренная супруга обнаружила взятки своего мужа, которые были ей хорошо известны. Между прочим, на 2-м курсе юридического факультета был студент Устинов, хороший наш приятель. Он учился плохо, но был человек богатый. На экзамене Крылов поставил ему единицу и соглашался перевести его за деньги. Когда это дошло до профессоров, Устинова призвали в факультет и спрашивали, правда ли это. Он подтвердил обвинение. Его переэкзаменовали в факультете, поставили двойку и перевели на высший курс. При таких обстоятельствах между профессорами, дорожившими честью своей корпорации, естественно, возник вопрос: возможно ли служить с человеком, до такой степени себя замаравшим? Мнения раздвоились; одни утверждали, и не без основания, что ссора Крылова с женою дело совершенно частное, до университета вовсе не касающееся, и что поднимать тревогу из-за семейной распри не следует. Что же касается до взяточничества, то доказательств, в сущности, не представлено. Другие, напротив, думали, что университетская корпорация, только оставаясь нравственно чистою и не терпя внутри себя прокаженных членов, может сохранить вполне свое значение

и свое влияние на молодежь. Последнее мнение победило; всех более кипятился Кавелин. Решено было заявить начальству, что если Крылов не выйдет из университета, то Грановский, Редкин, Кавелин и Корш принуждены будут подать в отставку. Мне достоверно не известно, каков был последующий ход дела. Кажется, попечитель склонялся на сторону протестующих профессоров; по крайней мере, он сам вслед за ними оставил университет. Но министр поддержал Крылова, и те подали в отставку. Грановского не выпустили, потому что он не выслужил еще обязательного срока после посылки за границу на казенный счет; отставка же остальных была принята. Они все трое переехали на службу в Петербург; юридический факультет лишился достойнейших своих членов. Когда через несколько лет Грановскому вышел срок, он сам увидел, что безумно было бы, когда дело было уже совершенно проиграно, задним числом довершать торжество пошлости и грязи оставлением университета, по поводу давно похороненного вопроса о нравственной чистоте университетской корпорации. Он понял, что он и его приятели слишком высоко хотели держать университетское знамя, и что в России предъявление таких высоких требований всегда кончается поражением. Он остался в университете.

Разумеется, все это до крайности волновало студентов. Окончание истории последовало уже гораздо позднее; но на первых порах все были заняты одним вопросом: будет ли Крылов читать или нет? Наконец, возвещено было, что в такой-то день назначается первая лекция. Мы собрались в великом множестве и, когда наступил час, мы увидели маленькую, худенькую, сгорбленную фигуру с пошлыми чертами лица, но с умными и проницательными глазами, тихо поднимающуюся по лестнице, с шляпою в руках. Первая лекция была рассчитана на эффект, и, точно, она многих поразила; но, в сущности, это была странная шумиха. В виде вступления в курс истории римского права, Крылов излагал общие свои исторические воззрения. Приверженец германской исторической школы времен Савиньи, он хотел разгромить философское направление; но так как он философии вовсе не знал и ничего в ней не смыслил, то выходило одно лишь пустословие с разными шутов-

скими выходками, в роде того, что он сам некогда по целым дням лежал на диване и судил народы. Весь курс истории римского права был крайне поверхностен, чтобы не сказать более. Когда впоследствии Крылова подбили выступить в печати, как я расскажу ниже, то обнаружилось такое изумительное невежество, такое грубое извращение самых элементарных фактов в преподаваемом им предмете, что произошел скандал, и он никогда уже более не дерзал соваться в печать, довольствуясь тем, что своим талантом очаровывал невинных студентов. Нет сомнения, что он когда-то предмет свой слушал за границей и слегка изучал; но со временем многое забылось и перепуталось в его голове. По неряшеству и лени он не думал наводить справок и обновлять свои сведения. Знание заменялось виртуозностью; не заботясь о том, что действительно было, он рисовал эффектные картины, которыми и удовлетворялись неподготовленные слушатели. Сила Крылова заключалась, впрочем, не в историческом изложении, а в развитии догмы. Здесь, не смотря на все его недостатки, проявлялись ум, талант и юридическое чутье. Если в сравнении с основательными и даровитыми профессорами второго курса преподавание его представлялось серьезно занимающимся студентам не более, как блестящею мишурою, то на высших курсах он являлся во всем своем блеске, как гигант среди пигмеев.

Со вторым курсом кончилось собственно университетское преподавание, которое вполне заслуживало это название и способно было руководить студентов в научных занятиях, развивая их ум, доставляя им богатый запас сведений, научая их основательному изучению предмета. Высшие курсы посвящены были специально юридическим наукам, но именно последние большею частью были представлены крайне слабо. Здесь господствовали Баршев, Лешков, Морошкин, к которым примыкал и совершенно ничтожный курс церковного права, читанный тем же священником Терновским. Из всех их своею яркою даровитостью отличался Крылов, а своею основательностью только что вернувшийся из-за границы молодой адъюнкт Мильгаузен, шурин Грановского, который на 4-м курсе читал финансовое право.

Деканом юридического факультета после случившегося с Крыловым скандала был Баршев, который на 3-м курсе читал уголовное право, а на 4-м—уголовное судопроизводство. Это была олицетворенная пошлость, пошлость, выражавшаяся во всей его фигуре, в его речи, пошлость мысли и чувств. Уголовное право он читал по дрянному, им самим сочиненному учебнику, который студенты обязаны были покупать и который он приправлял разными анекдотами. В курсе уголовного судопроизводства он являлся рьяным противником всяких либеральных начал. Когда впоследствии, с новым царствованием, либерализм вошел в моду, он внезапно переменил фронт и стал усердно защищать то, что он прежде опровергал, объясняя самым откровенным и наивным образом, что в предыдущее царствование можно было выставлять только одну сторону вопроса, а теперь можно и другую. Разумеется, его преподавание неспособно было не только возбудить любовь и интерес к предмету, но и дать о нем надлежащее понятие. От Редкина можно было более узнать о различных воззрениях криминалистов, нежели из всего курса Баршева.

Если Баршев был пошлейшим из профессоров, то Лешков считался в университете глупейшим из всех. Позднее, узнавши его ближе, я увидел, что он был человек добрый и обходительный; но в голове у него была такая же каша, как и в его речи, в которой слова как-то не договаривались и перепутывались вследствие недостатка произношения. Самая фигура его имела в себе что-то комическое. Худенький, черненький, с каким-то утиным, но заостряющимся носом, он выступал с неловкими, угловатыми телодвижениями, при чем узкие флады его виц-мундира разлетались в обе стороны; в особенности же он раскланивался с какою-то пошлою развязностью, которая чрезвычайно забавляла студентов. Иногда нарочно собирались с посторонних факультетов, даже медики приходили из другого здания, чтобы посмотреть, как Лешков кланяется. Студенты двумя рядами становились по всей лестнице, сверху донизу и отвешивали ему почтительные поклоны, а он, польщенный таким вниманием, с улыбкой расшаркивался на обе стороны, не подозревая, что над ним потешаются. Лешков был воспитанником Педагогического института; он

вместе с другими был отправлен за границу, слушал лекции в Берлине, пытался даже изучать философию, но, боже мой, что из этого выходило! Грановский говорил, что он, как сокровище, сохраняет случайно оставшийся у него в руках экземпляр философии права Гегеля, испещренный замечаниями Василия Николаевича Лешкова. Непривыкшие к нему посторонние люди приходили иногда в совершенное изумление от того сумбура, который господствовал у него в голове. Между прочим московский прокурор Ровинский рассказывал мне, что однажды, при генерал-губернаторе Тучкове, у них был какой-то комитет по полицейским делам, на котором предстояло обсудить некоторые теоретические вопросы. Ровинский советовал пригласить профессора из университета, а так как Лешков был именно профессором полицейского права, то он и был приглашен в заседание. Но, когда он начал излагать свои взгляды, все разинули рты; никто ничего не понимал. Разумеется, ему не возражали; только после заседания Тучков сказал Ровинскому: „Ну, уж ваш профессор!“ Больше его уже никогда не приглашали.

И при всем том, в то время, когда я его слушал, преподавание его имело громадное преимущество перед тем, чем оно сделалось впоследствии: он не изобретал еще новой науки! Полицейское право он читал на третьем курсе, придерживаясь главным образом учебников Берга и Моля, и хотя подчас галиматья была полнейшая, однако все-таки сообщались коекакие сведения, и можно было себе составить понятие о предмете. На 4-м курсе он читал международное право, так как он до своего превращения в либерала, так же, как Баршев, был строгим консерватором, то венцом всего политического строя Европы представлялся Венский Конгресс, который своими мудрыми началами навсегда положил конец всяким революционным движениям. На беду в это самое время вспыхнула французская революция 48-го года, которая совершенно расстроила все рассчеты Василия Николаевича. Он совсем смешался, объявил слушателям, что случилось неожиданное происшествие: Людовик-Филипп бежал, Гизо также, вся Европа возмутилась; но, впрочем, он твердо надеется, что мудрые начала Венского Конгресса окончательно восторжествуют над

всеми кознями революционеров. У нас был студент Чечурин, который рисовал иногда довольно забавные карикатуры. На одной из лекций международного права он изобразил Людовика-Филиппа, сидящего за ширмами на троне, только не на французском; читая газеты, развенчанный король восклицает: „Ah, M-r Leschkoff, c'est par vos funestes théories, que je suis réduit à ce trône, au lieu de celui de France!“ А королева отвечает из-за ширм: „Taisez vous Philippe! Wassili Nicolaevitch n'est pour rien dans tout celà!“ [1].

С наступлением нового царствования Лешков не только совершил такой же поворот фронта, как и Баршев, но выдумал еще собственную свою никому неведомую науку, общественное право, которое он построил на славянофильских и либеральных началах и которою он в своем преподавании заменил полицейское право. И что же? Этот человек, который в университете известен был, как источник всякой галиматьи, над которым все студенты смеялись, вдруг сделался одним из корифеев славянофильского либерализма. Его возвеличивали, прославляли; он на всю Европу прослыл ученым, и поныне еще у него есть жаркие приверженцы даже между людьми, занимающими кафедры. Но на свежих и образованных людей он продолжал производить то же впечатление, что и прежде. Николай Иванович Тургенев, который из Парижа внимательно и с любовью следил за всеми явлениями русской литературы, говорил мне, каким удивлением он был поражен, когда прочел статьи Лешкова в журнале Аксакова „День“. Он не верил своим глазам и не мог понять, каким образом в серьезном органе может быть допущена такая бессмыслица. А Аксаков видел в этом что-то новое и замечательное.

Гораздо выше Лешкова и Баршева стоял по таланту Морошкин. Его „Речь об Уложении“ свидетельствует о несомненном даровании и живом взгляде на предмет. Но у него воображение преобладало над умом, а образование было самое скудное. Поэтому, рядом с светлыми мыслями являлись у него самые дикие фантазии. Он во всем любил картинность, часто

[1] „Ах, г. Лешков, благодаря Вашим пагубным теориям мне приходится сидеть на этом троне вместо трона Франции!“. — „Замолчите, Филипп! Василий Николаевич тут ни при чем!“.

вовсе не соображаясь с действительностью. Про него рассказывали смешные анекдоты, обличающие его незнание жизненных условий и невнимание к окружающему. Так, например, познакомившись с А. Н. Поповым и узнавши, что он из Рязани, он тотчас воскликнул: „А, рязанцы! Это люди рослые, мачтовые!“ Но вдруг заметив, что его собеседник необыкновенно маленького роста, он поспешил прибавить: „Впрочем, вы еще не развились!“. Грановский, который любил анекдоты, рассказывал с большим юмором, как однажды Морошкин, купаясь в Москве-реке, вдруг услышал крик и увидел утопающую воспитанницу Меропы Александровны Новосильцевой, жены тогдашнего московского вице-губернатора. Будучи отличным пловцом, он вытащил девицу, но ужасно сконфузился, увидев на берегу вице-губернаторшу, окутанную в простыню. Одержимый чинопочитанием, он стал рассыпаться в извинениях, что он перед столь высокопоставленной особой против воли принужден предстать в такой первобытной форме. Курс его был пересыпан всякими картинными выходками; но основательности и последовательности было очень мало, а так как он в это время значительно обленился, то недоставало и той живости, которая способна иногда заменить другие качества, и возбудить интерес в слушателях. Курс был скучный и бесполезный. Читая гражданское судопроизводство, он приносил нам разные дела, распределял между студентами всякие канцелярские должности, заставлял нас делать выписки и доклады; но и это все служило больше для забавы. Дельного знакомства с судопроизводством мы не могли из этого вынести.

Над всем этим рутинным преподаванием весьма выгодно выделялся Крылов. Тут был вечно живой ум, блестящее дарование, увлекательный дар слова. В развитии догмы проявлялись все лучшие стороны его таланта: тонкость юридических понятий, резкое их разграничение, выпуклая характеристика институтов. Все это врезывалось в умы слушателей. И тут, однако, были существенные недостатки. Все это было здание, воздвигнутое самим профессором; с источниками он нас вовсе не знакомил. О духе пандектов мы не имели ни малейшего понятия. Когда же, не довольствуясь виртуозною передачею слышанного и читанного им в прежнее время, он хотел сочинить

собственное свое воззрение, то результат оказывался крайне сбивчивый. В курсе был один вопрос под заглавием: „Наше воззрение на владение“, который составлял камень преткновения для слушателей. Никто не мог понять, чем это воззрение отличалось от других. Хотя я к римскому праву не чувствовал никакого влечения и всего менее питал сочувствия к профессору, которого нравственная несостоятельность была мне известна, однако, слушая его курс, я счел нужным прочесть какое-нибудь капитальное сочинение по римскому праву. Я взял Савиньи и тут увидел, что многое, что у Крылова представлялось необыкновенно выпуклым и наглядным, в действительности вовсе не было таковым. Профессор точностью жертвовал картинности, и вместо того, чтобы передавать мнения и приемы римских юристов, нередко увлекался собственым своим воображением. Я сообщил свои замечания Мильгаузену, которого встречал иногда у Грановского; он отвечал: „Я очень рад, что студенты, наконец, его раскусили“.

Мильгуазен был человек не очень даровитый, но чрезвычайно образованный и добросовестный. Впоследствии ему приходилось временно читать различные предметы, и он всегда исполнял это совершенно удовлетворительно. Курс финансового права, который я слышал, был первый, читанный им в университете, и хотя по первому курсу трудно еще судить о профессоре, однако и тут уже проявлялись все его хорошие качества. Курс был полный, ясный, последовательный; изучение предмета было самое добросовестное. Можно сказать, что это был самый полезный курс, который мне довелось слышать в два последние года моего прибывания в университете.

Он не мог, однако, вознаградить за все остальное. В итоге, несмотря на талант Крылова и на добросовестность Мильгаузена, общий уровень преподавания был весьма невысокий. Умственная атмосфера была совсем другая, нежели на первых двух курсах. В преподавании не было уже ничего возбуждающего ум и возвышающего душу. Образованный элемент в нем исчез, а с тем вместе исчез в нем и нравственный дух. Наука превратилась в какую-то пошлую рутину, которая могла пригодиться для практической жизни, но которая не открывала слушателям новых умственных горизонтов. Немудрено, что

студенты стали, наконец, тяготиться подобным преподаванием. Кафедра потеряла свой прежний авторитет; слушание лекций не имело уже для нас своей прежней поэтической прелести. Все стремления свелись к тому, чтобы успешно сдать экзамен.

Зато в других отношениях это было самое веселое время, которое мы провели в университете. Я поныне вспоминаю о нем с особенным удовольствием. Мои родители эти два года не жили в Москве, а зиму и лето проводили в деревне. Мы остались одни: двое старших и третий брат Владимир, который в 47-м году вступил на математический факультет. Первую зиму с нами провел и Василий Григорьевич, который в это время держал экзамен на кандидата. Квартира у нас была на Тверском бульваре в нижнем этаже дома Майковой, возле бывшего тогда дома Базилевского, ныне Малютиной, недалеко от обер-полицеймейстера. Место было центральное, и скоро наша квартира сделалась сборным пунктом для студенческого кружка. Сюда почти ежедневно являлись не только наши упомянутые товарищи: Щербатов, Талызин, Алябьев, Корсаков, но и студенты других курсов и факультетов, даже вышедшие уже из университета: Самарин, Устинов, Ухтомский, Петр Васильчиков, одно время Лев Голицын, а также товарищи младшего брата, Петр Базилевский и Капнист. Мы называли это Майковым клубом.

В особенности я в это время сошелся с Самариными, братьями Юрия Федоровича, из которых, однако, ни один не был на него похож. Большим моим приятелем был Владимир, который был одним курсом старше меня. Это был самый добрый и веселый малый. Маленький, толстенький, весь в прыщах, с довольно забавною фигурой, он беспрестанно выкидывал какие-нибудь фарсы, пел, плясал, иногда влезал на стул и, закрывши глаза, фальшивым голосом и с выразительными жестами распевал итальянские арии, постоянно за кем-нибудь волочился, а потом вдруг, следуя семейным преданиям, садился за изучение русских летописей или читал какую-нибудь глубокомысленную книгу, например, Бентама. Но книга скоро бросалась; кипучая молодость просилась наружу и веселье брало верх над занятиями. Однако, и оно его не удовлетворяло. За порывами разгульного веселья следовали минуты грусти;

он скучал и почти каждый день приезжал ко мне и спрашивал со вздохом: какая цель жизни? Бедный Самарин так этой цели и не нашел. Он кидался во все стороны, привязывался к женщинам, но ненадолго, увлекался карточною игрою и проигрывался, наконец, в Крымскую кампанию вступил в военную службу, был во время Севастопольской осады адъютантом Хрулева и разделял с ним все опасности. После войны он опять шатался всюду, не зная, что с собою делать. Наши дружеские отношения сохранились постоянно, он был у меня шафером на свадьбе, но вскоре потом скончался, оставив по себе добрую память во всех, кто знал его близко.

Я подружился и с следующим за ним братом Николаем, который был курсом моложе меня. Он был какой-то чудак, несколько нелюдим и никогда почти не присоединялся к нашей веселой кампании, а больше сидел дома и занимался, в особенности русскою историею. Из этих занятий ничего не вышло, но мы часто проводили с ним вечера в разговорах и прениях. Что касается младших братьев, Петра и Димитрия, то они были еще на первом курсе, когда мы были на четвертом, а потому и они не принимали участия в увеселениях Майкова клуба. Я сошелся с ними ближе уже по выходе из университета.

Собирались у нас почти ежедневно после лекции и по вечерам. После лекций бывало угощение пирожками, которые отлично делал наш повар Мокей. Появлялось большое блюдо, которое немедленно пожиралось с свойственным молодости аппетитом. Вечером мы в компании распивали чай, пели, хохотали, слагали разные университетские песенки, иногда сочиняли домашний ужин. Выезжавшие в свет привозили оттуда всякие рассказы. В праздничные дни мы нередко всей гурьбой отправлялись ужинать в Троицкий трактир, где все половые нас коротко знали. Однажды на маслянице мы у себя задали блины и пировали до ночи. В весеннее время мы точно так же гурьбою совершали большие прогулки и загородные поездки, а зимою иногда устраивали охоты, в подмосковные к товарищам. Добычи было не много, но езда вереницею в большой компании, движение на воздухе, веселые обеды и ужины после проведенного на охоте утра, все это было полно прелести.

Памятна мне в особенности охота в имении Благово, в Дмитровском уезде. Он сам предложил нам принять нас у себя, и мы сделали все нужные приготовления, как вдруг его мать, которая сначала дала свое согласие, испугалась, как бы не развратили ее сынка и наложила запрет на нашу поездку. Мы пришли в отчаяние; Устинов и мой брат отправились к ней и стали перед нею на колени, объявив, что не встанут, пока она не даст разрешения. Их упорство, наконец, увенчалось успехом; разрешение было дано, и мы с торжеством отправились в путь. Благово встретил нас в своей деревне и после охоты приготовил нам даже большой обед. Но что же оказалось? Не было ни одной бутылки вина; это было строго запрещено маменькою. Однако, мы уже об этом догадались и привезли с собою целую провизию. Бутылки явились на стол, и Благово, сконфуженный, немедленно после обеда удалился в свои покои, чтобы, согласно данному маменьке обещанию, не принимать участия в таком бесчинии. Но мы и там не оставили его в покое; когда заварена была жженка, мы решили итти его отыскивать. Вся ватага двинулась с бокалами и стаканами в руках; внезапно с шумом отворилась дверь его спальни, и что же мы увидели? Наш благонравный товарищ совершал свою вечернюю молитву на коленях перед киотом в каком-то ночном чепце с розовыми лентами. Контраст был поразительный! На этот раз, однако, мы его пощадили, но затем всячески старались его развратить. Я рисовал его жизнеописание в карикатурах; мы подучали его, как ему действовать с родительницею, и он сам, поддаваясь нашим внушениям, прибегал к разным каверзным злоухищрениям, чтобы вырваться из когтей, но все это было безуспешно: кроме строгой матери, была еще добродетельная бабушка, и против этих двух соединенных сил Благово чувствовал себя совершенно немощным. Даже несколько лет после выхода из университета, когда брат мой, отправляясь секретарем посольства в Бразилию, приехал в Москву и пожелал на прощание поужинать со своими старыми товарищами, Благово объявил, что он никак не может ручаться, что его отпустят, и только уложивши свою маменьку, он выпрыгнул в окно и с торжествующим видом явился среди нас.

Вскоре потом несчастный женился на красавице, которая, пожив с ним года два или три, от него убежала. Он совершенно потерял голову и пошел в монахи. Теперь он состоит архимандритом в Риме.

Отец мой был, однако, не совсем доволен сложившимся у нас товарищеским кружком. В своих письмах он предостерегал в особенности брата, который был моложе, и имел менее наклонности к научным занятиям, от заразы светскою пошлостью, прикрывающею внешним лоском внутреннюю пустоту. Его мечта была сделать из нас людей, основательно образованных, возвышающихся над обыкновенным уровнем, а потому он желал, чтобы мы себе составили кружок из молодых людей с живыми умственными интересами и с серьозным направлением. Он опасался также, чтобы постоянные развлечения, которые он считал полезными для меня, не отвлекали моих братьев от занятий. Впоследствии, опасения его рассеялись, ибо он увидел, что из нашей товарищеской жизни не произошло и не могло произойти для нас никакого зла. Товарищество не сочиняется, а слагается само собою. В то время в университете не было кружка студентов, соединенных общими умственными интересами; по крайней мере я такого не знал. Серьозно занимавшиеся студенты работали каждый сами по себе. Замечательно, что я в университете вовсе даже не был знаком с человеком, сделавшимся потом одним из самых близких моих друзей, с Дмитриевым, который был всего одним курсом моложе меня, и с которым у меня вдобавок был общий приятель, Николай Самарин, его однокурсник. Едва ли также был в университете хоть один студент, который занимался бы тем, что меня поглощало в то время, именно философиею. Потребность умственного общения удовлетворялась посещениями Грановского, у которого мы продолжали довольно часто обедать, а также постоянными сношениями с Павловыми и их литературным кругом. Но кроме этой потребности были и другие, свойственные молодости, потребности доброго товарищества и беззаботного веселья, а этому вполне удовлетворяла собиравшаяся у нас компания. Все они были люди благовоспитанные, не только относительно внешних форм, но и относительно нравственных приличий. Они принадлежали к хоро-

шим семьям, и от них нельзя было ожидать никакого низкого чувства или грубого поступка. При юношеском разгуле, благовоспитанность составляет весьма существенную сдержку, а при этом требовалось еще, чтобы сердечные свойства и правила жизни подходили к общей среде. У нас не допускались не только низость или грубость, но и малейшая неделикатность. Когда Голицын, повертевшись в университете, вышел с первого курса, связался с французскою актрисою и, замотавшись, стал вытягивать у товарищей их скудные деньги, без всякой мысли об уплате, мы сочли такой способ действия несогласным с товарищескими отношениями и исключили его из своего кружка. Конечно, умственные требования в нашей компании были невысоки, но высокие требования от людей предъявляются уже в позднейшие лета. В молодости полезны и такие отношения, в которых устраняется всякий педантизм, всякая гордость ума, всякое сознание умственного превосходства. Мы приучались обходиться дружелюбно с людьми самых разнообразных свойств и ценить в них не столько качества ума, сколько качества сердца. И только в молодости возможны подобные отношения, совершенно непринужденные, в которых нет ничего скрытого и эгоистического, никаких задних мыслей или мелких чувств. Беззаботное юношеское веселье проникнуто было юношеским чистосердечием и душевною теплотою, вследствие чего эта пора моей жизни оставила во мне самые лучшие воспоминания. Здесь я научился высоко ценить дружбу, составляющую одно из лучших украшений человеческой жизни. Доселе я с некоторым сердечным услаждением вспоминаю, что и меня товарищи любили так же, как я любил своих товарищей.

Наша веселая компания не мешала мне заниматься. При полной господствовавшей у нас бесцеремонности я всегда мог засесть за книгу. В это время я весь погрузился в изучение гегельянской философии, вследствие чего я между товарищами носил прозвище Гегеля. Сначала я принялся за философию истории, потом за историю философии, но скоро увидел, что без прилежного изучения логики настоящим образом ничего не поймешь. Я и просидел над нею несколько месяцев, не только тщательно ее изучая, но составляя из нее подробный

конспект с целью выяснить себе весь последовательный ход мысли и внутреннюю связь отдельных понятий. Потом я точно так же засел за феноменологию и энциклопедию. С философиею Гегеля я познакомился основательно, после чего уже приступил к последовательному изучению других философов. Может быть, правильнее было бы поступить наоборот, начавши с древних мыслителей, с Платона и Аристотеля, которые гораздо доступнее неприготовленному уму. Но прямо начавши с последнего и труднейшего, я сразу понял, к чему клонится все историческое развитие человеческого мышления, и мог усвоить себе вопросы во всей их современной ширине. Я убежден, что этот труд был мне в высшей степени полезен; убежден также, что кто не прошел через этот искус, кто не усвоил себе вполне логики Гегеля, тот никогда не будет философом и даже не в состоянии вполне обнять и постигнуть философские вопросы. Разумеется, я совершенно увлекся новым миросозерцанием, раскрывавшим мне в удивительной гармонии верховные начала бытия. Только в более зрелые лета, при самостоятельной работе мысли, я увидел, в чем состоит его односторонность, и каких оно требует поправок и дополнений.

В это же время развилась у меня и другая умственная страсть—увлечение политикой. Однажды ночью, когда мы спали глубоким сном, вдруг раздался у нашей двери сильный звонок; затем началась стукотня в низких окнах нашей квартиры, выходившей прямо на улицу. Мы к этой стукотне уже привыкли, нередко Голицын совершал такие ночные нападения, которые была нам вовсе не по вкусу. Поэтому мы сначала и не обратили на нее внимания. Но стук упорно продолжался, и мы, наконец; отворили дверь. Голицын вошел и объявил, что во Франции произошла революция; король бежал и провозглашена республика. Я пришел в неистовый восторг, влез на стол, драпировался в простыню и начал кричать: „Vive la République!“ На следующий день весь университет знал уже об этой новости, студенты с волнением и любопытством сообщали ее друг другу. После обеда я полетел к Грановскому, который с своей стороны приветствовал это событие, как новый шаг на пути свободы и равенства. Политика пронырливого Людовика-Филиппа, лишенная всякого нравственного смысла и вся-

кого величия, до такой степении встречала мало сочувствия, что даже живший в Москве старый англичанин Эванс, тори по убеждениям, говорил мне: „Ie ne suis pas pour les principes républicains, mais je suis très content que ce fourbe de Louis-Philippe soit parti et de même Monsieur Guizot, qui s'est laissé complétement démoraliser par Louis-Philippe“ [1].

Увлечение было общее; все тогдашние либералы исполнены были веры в человечество и ожидали чего-то нового от внезапно призванных к политической жизни масс. Последовавшие затем события послужили для всех назидательным уроком; они воспитали политическую мысль, низведя ее из области идеалов к уровню действительности. И тут обнаружилось глубокое различие между теми, которые, внимательно следя за ходом истории, умели извлечь из него для себя новые поучения, и теми, которые были неспособны научиться чему бы то ни было. Между тем как Герцен, разочарованный во всех своих ожиданиях, увидев несостоятельность той демократии, которой он отдал всю свою душу, кидался в еще большую крайность, громил умеренно республиканское правление, водворившееся после июньских дней, и проповедовал самые анархические начала, Грановский, как истинный историк, воспользовался развертывающейся перед его глазами картиною, чтобы окончательно выработать в себе трезвый и правильный взгляд на политическое развитие народов, взгляд равно далекий и от радикальной нетерпимости и от реакционных стремлений, проникнутый глубоким сочувствием к свободе, но понимающий необходимые условия для осуществления ее в человеческих обществах.

Я с жадностью предался чтению журналов. В „Débats“, который мы получали и затем отсылали в деревню, печатались целиком все речи французских собраний. Я не пропускал из них ни единой строки, знал каждого депутата, следил за всеми подробностями событий и обо всяком новом явлении тотчас ездил толковать с Грановским. От него я брал и немецкие газеты, в которых печатались прения Франкфуртского

---

[1] „Я не сторонник республиканских принципов, но я очень доволен, что этот коварный Луи-Филипп прогнан, точно так же, как и г. Гизо, который допустил себя совершенно деморализовать Луи-Филиппом“.

сейма и Берлинского депутатского собрания [1]. Даже во время экзаменов я разрывался между повторением курса и чтением газет. В самый день экзамена, отправляясь в университет, я иногда не мог оторваться от какой-нибудь приковывающей мое внимание речи. Как двадцатилетний юноша, я разумеется, сочувствовал крайнему направлению, а потому для меня громовым ударом были июньские дни, когда демократическая масса, в которую я верил, вдруг выступила без всякого повода и без всякого смысла, как разнузданная толпа, готовая ниспровергнуть те самые учреждения, которые были для нее созданы. Когда мятеж был укрощен, и водворился Кавеньяк, я сделался умеренным республиканцем и думал, что республика может утвердиться при этих условиях. Но выбор президента окончательно подорвал мою непосредственную веру в демократию. Я попрежнему остался пылким приверженцем идей свободы и равенства; я продолжал видеть в демократии цель, к которой стремятся европейские общества: на эту цель указывало и все предыдущее развитие истории и самые беспристрастные европейские публицисты. Но достижение этой цели представлялось мне уже в более или менее отдаленном будущем. Я перестал думать, что исторические начала могут осуществляться внезапными скачками, и пришел к убеждению, что европейская демократия должна пройти через многие испытания прежде, нежели достигнуть прочных учреждений. Впоследствии более зрелое размышление убедило меня, что будущее, представляемое демократиею, может быть только переходною ступенью в развитии человечества.

Разочаровавшись в жизненной силе демократии, я разочаровался и в теоретическом значении социализма. Несмотря на то, что Прудон, как сказано выше, весьма мало меня удовлетворял, я все еще верил в великое значение социалистических идей для поднятия благосостояния низших классов и для осуществления братства на земле. Явление социализма в 1848

---

[1] В революционные 1848—1849 гг. в Франкфурте заседало обще-германское национальное собрание (так наз. Франкфуртский парламент), имевшее целью выработать конституцию для Германии, но окончившееся полным неуспехом. Точно так же никакого реального результата не достигло и национальное собрание Пруссии, созванное 22 мая 1848 г. в Берлине.

году значительно поколебало эту веру. В особенности сильное впечатление произвело на меня чтение полемики между Прудоном и Бастиа [1]. Я не мог не признать, что знаменитый социалист был совершенно разбит в этом споре. Несмотря на всю свою изворотливость, он не мог отвертеться от ясных и твердых вопросов, которые ставил ему его противник. Он кидался во все стороны, отвечал вовсе не на то, о чем его спрашивали, но прямого ответа дать не мог. Я получил большое уважение к Бастиа, и это уважение еще возросло при чтении его „Экономических гармоний", которые возвратили меня к началу свободы, как истинному основанию экономических отношений в образованных обществах. Социализм в моем уме оставался еще каким то смутным идеалом в отдаленном будущем, но и эти мечты рассеялись, наконец, в более зрелую пору, при внимательном изучении социалистических писателей. Я понял, что социализм ни что иное, как доведенный до нелепой крайности идеализм. В этом смысле он имеет историческое значение; практически же он всегда остается бредом горячих умов, не способных совладать с действительностью, а еще чаще шарлатанством демагогов, которым не трудно увлечь за собою невежественную массу, лаская ее инстинкты, представляя ей всякие небылицы и возбуждая в ней ненависть к высшим классам.

Политические увлечения, даже в чисто теоретической области, были однако в то время небезопасны. События 1848 года вызвали сильнейшую реакцию в ничем неповинной России, которая должна была расплачиваться за европейские смуты. Если и прежде образованному меньшинству трудно было дышать под правительственным гнетом, то теперь дышать стало уже совершенно невозможно. Строгости усилились; цензура сделалась неприступной; частные лица, подозреваемые в либерализме, подвергались бдительному надзору. И в Москве и в уни-

---

[1] Известный французский политико-эконом Фр. Бастиа (1801—1850), яркий выразитель буржуазных взглядов, во время февральской революции издал ряд памфлетов, направленных против социализма и коммунизма: „Protection et communisme", „Capital et rente", „Maudit argent", „Propriété et spoliation" и др.; в особенно страстную полемику он вступил с знаменитым П.-Ж. Прудоном (1809—1865).

верситете произошли знаменательные перемены. Честный и добрый генерал-губернатор, князь Щербатов, вышел в отставку; вместо него был прислан граф Закревский, который должен был укротить вовсе не думавшую бунтовать столицу.

Граф Закревский вошел в чины еще в царствование Александра I и в то время пользовался репутациею разумного, дельного и обходительного человека. Читая его переписку с графом Киселевым [1], напечатанную в жизнеописании последнего, невольно спрашиваешь себя: неужели это тот самый граф Закревский, который впоследствии был генерал-губернатором Москвы? С новым царствованием он преобразился согласно с новыми требованиями и в 1848 году явился в Москву настоящим типом николаевского генерала, олицетворением всей наглости грубой, невежественной, и ничем не сдержанной власти. Он хотел, чтобы все перед ним трепетало, и если дворянству он оказывал некоторое уважение, то с купцами он обращался совершенно как с лакеями. Когда нужны были пожертвования, он призывал, приказывал, и все должно было беспрекословно исполняться. После Крымской кампании купцы вздумали ознаменовать первый приезд в Москву нового государя огромным угощением войск в экзерциргаузе. Закревский приехал и, увидев стоявших тут жертвователей и распорядителей празднества, закричал на них: „А вы что тут делаете? вон!" Хозяева должны были немедленно удалиться. Одним из первых его действий по прибытии в Москву было то, что он какого-то ростовщика без всякого суда сослал в Колу. Он немедленно сменил полицеймейстера Беринга, который, однако, скоро сумел подладится к весьма доступному лести начальнику, сделался у него домашним человеком, исполняя почти что должность дворецкого и, наконец, из смененного полицеймейстера превратился в пользовавшегося полным фавором обер-полицеймейстера и, наконец, губернатора. Закревский всюду видел злоумышленников; в особенности либералы были предметом зоркого наблюдения; шпионство было организовано в обширных размерах. Из недавно опубликованных официальных его донесений

[1] А. И. Заблоцкий-Десятовский, Граф Павел Дмитриевич Киселев и его время. Спб. 1882.

видно, что он против самых невинных лиц ставил отметку: „Готовый на все“ [1].

Мирная Москва, привыкшая к патриархальным порядкам, видевшая долгое время во главе своей просвещенного вельможу александровских времен, князя Дмитрия Владимировича Голицина и затем добродушного и благороднейшего князя Щербатова, была смущена этим неожиданным проявлением дикого произвола. Н. Ф. Павлов написал к Закревскому остроумные стихи, которые ходили по рукам.

Ты не молод, не глуп и ты не без души;
К чему же возбуждать и толки и волненья?
Зачем же роль играть турецкого паши
И объявлять Москву в осадном положеньи?
Ты нами править мог легко на старый лад,
Не тратя времени в бессмысленной работе;
Мы люди мирные, не строим баррикад
И верноподданно гнием в своем болоте.
Что ж в нас нехорошо? к чему весь этот шум,
Все это страшное употребленье силы?
Без гвалта мог бы здесь твой деятельный ум
Бумагу истреблять и проливать чернила.

Павлов с тонкой иронией спрашивал его:

Какой же учредить ты думаешь закон?
Какие новые установить порядки?
Уж не мечтаешь ли, гордыней ослеплен,
Воров перевести и посягнуть на взятки?
За это не берись; остынет грозный пыл,
И сокрушится власть, подобно хрупкой стали;
Ведь это мозг костей, кровь наших русских жил.
Ведь это на груди мы матери сосали.
Но лишь за то скажу спасибо я теперь,
Что кучер Беринга не мчится своевольный
И не ревет уже, как разъяренный зверь
По тихим улицам Москвы первопрестольной;
Что Беринг сам познал величия предел;
Закутанный в шинель, уж он с отвагой дикой
На дрожках не сидит, как некогда сидел,
Несомый бурею, на лодке Петр Великий.

---

[1] „Показания гр. А. А. Закревского о некоторых представителях москов. образованного общества“. („Рус. Арх.“, 1885, II).

Всего менее Закревский думал истреблять взятки. Как истинно русский практичный человек и чиновник, он сам был от этого не прочь. Тут все брали: и он, и жена, и дочь, и подчиненные. Нравственные примеры, явно подаваемые его домашними, были и того хуже; цинизм доходил до высочайшей степени. В Москве водворились необузданный произвол, взяточничество и грязь. Что могли породить подобные порядки, как не возбуждение во всех мыслящих и образованных людях вящей ненависти к правительству?

Этот крутой поворот не мог не отразиться и на университете, который, как центр просвещения, сделался главным предметом подозрений. И здесь произошли коренные перемены. Граф Строганов вышел; недолго после него оставался и Уваров. Вышел и любимый наш инспектор Платон Степанович. На место Строганова поступил бывший при нем помощник попечителя, Дмитрий Павлович Голохвастов, а на место Нахимова толстый, пошлый и ограниченный Шпеер. Голохвастов был человек неглупый и честный, с основательным, хотя односторонним образованием, но формалист и педант. При других условиях он мог быть не дурным попечителем и со временем, при ближайшем знакомстве, приобрести любовь и уважение подчиненных. На его беду он явился в университет представителем новых заведенных в нем порядков. Самая наружность его не внушала сочувствия. Он был чопорный, важный и нарядный, и любил, чтобы все вокруг него было чинно, важно и нарядно. Мы с насмешливым любопытством глядели на торжественный его приезд в университет в карете цугом, с лакеем в ливрее на запятках по старому обычаю. Вся инспекция почтительно выбегала встречать начальника на крыльце; затем учинялось такое же торжественное шествие из профессорской в аудиторию: впереди шел солдат с предназначенным для попечителя креслом, сзади толпилась опять вся инспекция, студенты чинно становились по сторонам, и между ними шествовал сам Дмитрий Павлович во всем своем накрахмаленном величии, с лентою и орденами, важно раскланиваясь во все стороны. Мы невольно сравнивали эту внушительную обстановку с скромным появлением графа Строганова, который, однако, пользовался неменьшим уважением. Иногда Голохвастов и на

лекции, важно восседая в креслах, начинал заводить разные речи, желая блеснуть своими знаниями, но и это выходило у него невпопад, и мы только над ним смеялись.

В университете установился совершенно новый строй. Прежняя свобода исчезла. Студентам запрещено было ходить в кондитерские читать газеты. В стенах университета не позволено уже было ходить расстегнутым; на улице нельзя было показаться в фуражке: требовалось, чтобы студенты непременно были в треугольной шляпе и при шпаге. И все это соблюдалось с величайшей точностью; на всякую пуговицу обращалось внимание; придиркам не было конца. Однажды в весеннее время, уставши от приготовления к экзамену, я в сумерках взял фуражку и вышел пройтись по Тверскому бульвару, где в ту пору народу почти совсем не было. Завидев суб-инспектора издали, я повернул в боковую дорожку и вернулся домой; но суб-инспектор, заметив меня, тотчас последовал за мною на квартиру и сделал мне внушение, зачем я хожу по бульвару одетый не по форме. Так как наша квартира служила сборищем студентов, то за ней устроен был специальный надзор. Однажды в мае месяце Ухтомский, вышедший уже из университета, приехал к нам с бала в 5 часов утра; погода была чудесная, и он убедил меня поехать прогуляться с ним в Петровский парк. В тот же день университетскому начальству было известно, что я рано утром был в парке. Один из наших людей был даже подкуплен полициею и должен был доносить обо всем, что мы говорили, и что у нас происходило. Об этом по секрету сообщил брату часто бывавший у Корсаковых полицеймейстер Сечинский. Особенно весною 49 года во время довольно продолжительного пребывания в Москве царской фамилии, по случаю открытия нового дворца, строгости и формальности усилились до чрезмерности. Без сомнения без некоторой дисциплины нельзя было обойтись, ибо сверху на это обращалось особенное внимание, но люди трусливые, боящиеся за свое положение, обыкновенно в этих случаях пересаливают. Наш толстяк-инспектор с уморительными ужимками показывал нам в лицах, какой мы должны принимать почтительный вид при встрече с государем, как мы должны кланяться и становиться во фронт, что нам было вовсе необычно. От студентов выезжавших в свет, тре-

бовалось, чтобы они на балах в высочайшем присутствии были в чулках и башмаках, хотя в то время эта форма сохранялась только при дворе, и не было ни малейшей нужды облекать в нее университетскую молодежь; но Голохвастов строго держался старых правил. Мне не пришлось так наряжаться; но я видел Корсакова, отправляющегося на бал к князю Сергею Михайловичу Голицыну в студенческом фрачном мундире и полном придворном облачении, затянутого в короткие белые штаны, в шелковых чулках и башмаках с пряжками. Отец его ехал вместе с ним, одетый во фрак, как обыкновенные смертные. Старик любовался нарядным одеянием сына. „Посмотрите,—говорил он, вспоминая свою молодость,—все мы прежде иначе на бал не ездили; а теперь что?“ Но студенты, которые решались облечься в этот костюм, ставились в очень неловкое положение, ибо, кроме придворных чинов, они одни щеголяли в этой форме. Их даже спрашивали с усмешкой, зачем их так наряжают?

Какое впечатление производил на нас Голохвастов, можно видеть из сложившейся у нас тогда песенки, которая может служить образчиком тогдашних студенческих воззрений. Однажды после одного из торжественных явлений Голохвастова, Алябьев сказал мне: „Недурно бы про него сложить песню в русском духе с следующим началом:

Ой ты гой, еси Дмитрий Павлович,
И ума у тебя нет синь-пороха
И душенька в тебе распреподлая!“

Я немедленно за это принялся и описал его приезд в университет; Алябьев сделал некоторые поправки. Помню следующие стихи:

А как едешь ты, Дмитрий Павлович,
Во карете своей с четверней лихой,
На запятках с слугой в галуне златом,
Уж навстречу к тебе на крыльцо бежит
Сам инспектор-толстяк, весь запыхавшись,
Весь запыхавшись, в поту взмокнувши,
И за ним во след стая подлая
Всех помощников и наушников,
Словно серая утка с утятами;
Принимают тебя все почтительно,
Нагибаются все пред начальником,
Пред начальником чина важного,

Пред действительным статским советником.
А идешь ли ты в аудиторию,
Пред тобой выступает солдат лихой,
Кресла тащит он деревянные,
Деревянные все дубовые,
И идешь ты за ним словно птица-жар
Разнаряженный, накрахмаленный,
В парике своем, с бакенбардами,
С бакенбардами, золотистыми
И со вздутым хохлом и примазанным;
Шея стянута в пышном галстуке;
И звезда на груди светит ясная
И кресты блестят, как жемчуг драгой,
И красуется лента алая,
Лента алая, что царь-батюшка,
Что царь светлый дал, очи ясные,
За поклон тебе, за солдатчину.
Нагибаешься ты на все стороны,
На все стороны свысока глядишь.
А как вступишь ты в аудиторию,
Сам профессор скорей лезет с кафедры,
И студенты все пред тобой встают;
И рассядешься ты в кресла мягкие,
Величаво глядишь из брыжжей своих,
Сосчитаешь сам ты студентов всех,
И осмотришь их, все по форме ли,
И застегнуты ли на все пуговицы,
На все пуговицы с золотым орлом.
И ведешь ты речь с ними важную,
И высказываешь думы крепкие
На смех им говоришь пошлы глупости
И срамишь себя ты торжественно.
Ой ты гой еси, Дмитрий Павлович,
Убирайся-ка ты поскорей от нас,
Поскорей бы тебя во сенат сослать
И советника дать тебе тайного;
Помолились бы мы все у Иверской
И поставили бы ей свечу толстую,
Свечу толстую раззолочену;
Что избавила нас от тебя, скота,
От тебя скота, от безмозглого.

В таких-то, довольно неприличных выражениях изливалось неудовольствие студентов на происшедшие в университете перемены, которых козлом отпущения был в наших глазах менее

всего повинный в них попечитель. Наше желание исполнилось: Дмитрий Павлович недолго побыл в университете: он вышел, кажется, уже в 1849 году. Но от этого не только не сделалось лучше, а, напротив, сделалось гораздо хуже. Вместо него был назначен Назимов, которого единственная задача состояла в том, чтобы ввести в университете военную дисциплину. Комплект студентов, кроме медицинского факультета, был ограничен тремя стами человек; философия, как опасная наука, была совершенно изгнана из преподавания, и попу Терновскому поручено было читать логику и психологию. Наконец, в Крымскую войну введено было военное обучение: студентов ставили во фронт на университетском дворе и заставляли маршировать. Московскому университету, да и всему просвещению в России нанесен был удар, от которого они никогда не оправились. Высокое значение Московского университета в жизни русского общества утратилось навсегда.

К счастью, я всего этого не видал. Все это совершилось уже после моего выхода из университета. Но и заведенные при нас порядки были нам в тягость. Мы сравнивали их с прежнею вольною жизнью и не могли не возмущаться. Мы тяготились и рутинным преподаванием последних лет. Нам надоело слушать Лешкова, Баршева и компанию. Ни одного живого слова не раздавалось с кафедры. Не мудрено, что при таких условиях большинство студентов 4-го курса с нетерпением ожидало выхода. Брат мой как-то писал об этом в деревню; отец отвечал: „В какое грустное раздумье привели меня эти слова! Молодые эти люди, так нетерпеливо желающие оставить место, где должны сделать запас на всю жизнь, спросили ли они у себя, что вынесут из университета? Приобрели ли они хоть одно основательное знание, получилось-ли какое-нибудь стремление достойное образованного человека, развили-ль в себе любовь к мысли, к просвещению? Очень немногие могут отвечать утвердительно на эти вопросы“.

Эти слова, конечно, не могли относиться ко мне. Университет дал мне все, что он мог дать: он расширил мои умственные горизонты, ввел меня в новые, дотоле неведомые области знания, внушил мне пламенную любовь к науке, научил меня серьезному к ней отношению, раскрыл мне даже нравст-

венное ее значение для души человека. Я в университете впервые услышал живое слово, возбуждающее ум и глубоко западающее в сердце; я видел в нем людей, которые остались для меня образцами возвышенности ума и нравственной чистоты. Отныне я мог уже работать самостоятельно, занимаясь на свободе тем, к чему влекло меня внутреннее призвание. Я не воображал себе, что мое образование кончено, а, напротив, только и думал о том, чтобы его пополнить. Но весь запас сил, с которым я готовился вступить на этот новый путь, я вынес из университета, а потому никогда не обращался и не обращаюсь к нему иначе, как с самым теплым и благодарным воспоминанием.

Наконец, наступили последние экзамены. Они сошли так же благополучно, как и все прежние. Я и тут везде получил по 5. Но так как нас было трое, которые из всех кандидатских предметов получили полные баллы: Гладков, Лакиер, и я, то нас в выпускном списке поставили в алфавитном порядке, так что я стоял третьим. К этому я был совершенно равнодушен, ибо всякие отличия всегда ставил ни во что. Брат мой также получил кандидатские баллы. Статское платье было уже давно заказано, и мы сняли мундиры с синим воротником с такою же почти радостью, с какою надели их четыре года назад. Мы не воображали, что с тем вместе мы прощаемся с лучшими годами своей жизни, с годами юношеской беззаботности и юношеских увлечений, упоения мыслью, отважных мечтаний, веселого товарищества, с теми годами, когда в человеке уже развернулись все вложенные в него силы, когда перед ним раскрылась вся полнота бытия, а житейский опыт еще не коснулся его своим холодным дыханием, и все мелкое, пошлое и черствое, с чем ему впоследствии приходится встречаться, не рассеяло еще тех радужных надежд, с которыми он вступает на жизненный путь.

Мы отпраздновали свой выход общим пиром; с Алябьевым мы вдвоем совершили большую прогулку и расстались навеки. Он высказывал предчувствие, что недолго проживет. Наконец, покончив все дела, мы с легким сердцем сели в тарантас и покатили в свой милый Караул. Выехали за заставу, и скоро обаяние теплого летнего утра, мирный вид простирающихся

вдаль полей, зеленых дубрав, колыхающихся по ветру нив, все эти знакомые и близкие сердцу впечатления заставили нас забыть и суету университетской жизни, и волнения экзаменов и сердечное прощание с товарищами. Сельская тишина охватила нас своим благоуханием.

Я не могу без некоторого поэтического чувства вспомнить об этих прежних, долгих путешествиях по России, которые производили такое впечатление, как будто переносишься в совершенно новый мир. С железными дорогами все изменилось. Едешь несравненно скорей, с гораздо большими удобствами, но вся поэзия путешествия исчезла. А поэзия была, несмотря на грязь, на толчки, на ухабы, на зажоры, несмотря на пошлые станционные дома, на недостаток лошадей несмотря на то, что приходилось иногда по шести дней тащиться чуть не шагом из деревни в Москву и по целым ночам ежеминутно пробуждаться от неудержимой дремоты, вследствие невыносимого толкания то в один бок, то в другой. И природа, и воздух, все теряет свою прелесть, когда сидишь в запертом вагоне и видишь перед глазами ряд быстро сменяющихся картин. Живое, захватывающее действие окружающей природы ощущается, только когда едешь на лошадях в открытом экипаже. Тут только можно полною грудью вдохнуть в себя и благоухание свежего утра и неизъяснимое обаяние теплого летнего вечера, когда длинные тени ложатся кругом, и мало, по, малу земля погружается во мрак. Какое, бывало, испытываешь живительное и радостное чувство, когда, проснувшись на заре, после проведенной в езде ночи, вдруг услышишь пенье жаворонка высоко под небом и видишь облик солнца, выходящего из-за горизонта и озаряющего своими бледными еще лучами зеленеющую даль полей, густые рощи, покрытые соломой хижины! Освеженный недолгим сном, выпрыгнешь из экипажа, с неизъяснимым удовольствием напьешься на станции чаю и с новой бодростью едешь дальше. Какое удивительное впечатление производил серебристый звук колокольчика на вечерней заре, в безбрежной степи, позлащенной последними лучами заходящего солнца, когда синеющие дали начинают сливаться с небом, представляя вид бесконечности, и в природе водворяется какая-то торжественная тишина. Что-то ласкающее

призывное слышится в этом звуке, и целый рой самых разнообразных чувств возникает в душе. Даже осеннее путешествие имело свою прелесть: едешь, бывало в сумерки; ночь тихо спускается на землю; мрак становится все гуще, и душа погружается в какую-то смутную дремоту, перебирая в себе всякие неясные образы; а вдали мелькают огоньки, заманивая к себе, вызывая в воображении картины мирного сельского домашнего быта. Или зимою, когда случалось, останешься переночевать на станции, чтобы переждать разгулявшуюся погоду: сидишь один в комнате, едва освещенной тусклым светом сальной свечи с нагоревшим на ней фитилем; на столе шумит самовар; среди ночного безмолвия слышны только мурлыканье кота и мерный стук стенных часов, да за перегородкой зычное храпенье станционного смотрителя. А на дворе вьюга так и злится; кажется, она хочет ворваться в окна. И в ожидании утра ляжешь спать на жесткий диван и заснешь таким крепким сном, каким никогда не сыпал на мягкой постели.

Все эти давно прошедшие впечатления невольно возникают во мне и сливаются в один поэтический образ с воспоминанием молодости, университетской жизни, о тех изменяющихся, но всегда живых и радостных чувствах, с которыми я переезжал из Москвы в деревню и из деревни в Москву. Всего этого давно уже нет; Россия вся преобразилась: явились иные условия, иная жизнь, иные люди. Сохранят ли нынешние юноши такую сердечную память о прошлом, какую сохранили в душе своей люди того времени?

МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЦАРСТВОВАНИЯ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

Вернувшись домой после выпускных экзаменов, я весь остальной 1849 год провел в деревне. Семья была вся в сборе; только брат Владимир, который вступил на 3-ий курс, в начале сентября уехал в Москву. С нами был Василий Григорьевич, постоянный товарищ во всех наших удовольствиях. Лето было шумное и веселое. Мы часто ездили в Мару[1], и Баратынские приезжали к нам. Меня очень занимала также постройка дома, который подвигался с удивительною быстротою. В октябре, как уже сказано выше, мы в него перешли и отпраздновали новоселье. Осенью мы зажили уже на широких квартирах. Я в первый раз получил свою отдельную комнату и весь погрузился в занятия, которым, впрочем, не мешали и летние удовольствия.

Следуя внутреннему влечению, я продолжал изучать философию. С этою целью я принялся опять за греческий язык и стал в подлиннике читать Платона и Аристотеля, сначала с помощью перевода, а потом прямо уже по греческому тексту. Рядом с этим я изучал историю права; по немецкому праву читал Эйхгорна, по французскому Варнкенига и Штейна, и из всего прочитанного делал конспекты. В это время начало уже слагаться у меня то философско-историческое здание, которое образовало, можно сказать, остов всех моих последующих трудов, и которого построение составляло главную задачу моей жизни. Оно возникло из сравнения философского и политического развития человечества. Чтение Гегеля убедило меня в истине основного исторического закона, состоящего

[1] Имение Боратынских.

в движении духа от единства к раздвоению и от раздвоения обратно к единству. Но я не мог примириться с построением Гегеля, который эпохою раздвоения считал Римскую империю и в христианстве видел начало высшего единства. Чтение Эйхгорна окончательно убедило меня в неправильности этого взгляда. Я увидел, что эпохою раздвоения следует признать не Римскую империю, а Средние Века, где действительно являются два противоположных друг другу мира: с одной стороны церковь, хранительница нравственного закона, с другой стороны светская область, в которой господствовало частное право. Сравнивая средневековый быт, как он изображен немецкими историками-юристами, с началами, установленными в гегелевой философии права, я пришел к заключению, что основанный на частном праве порядок следует именовать не государством, а гражданским обществом; государственные же начала, развивающиеся в новое время и подчиняющие себе обе противоположные области, церковную и гражданскую, являются восстановлением утраченного единства. Вынесенное из университета знакомство с историею русского права подтверждало эти вгзяды и служило вместе с тем основанием к сближению западно-европейского развития с нашим. Я увидел, что при некоторых второстепенных различиях основной закон развития и здесь и там один и тот же.

Таким образом, все историческое развитие человечества получило для меня смысл. История представилась мне действительным изображением духа, излагающего свои определения по присущим ему вечным законам разума. Это была уже не общая мысль, которую я принимал на веру, а раскрывающийся в явлениях факт. Все разнообразие событий и народностей слагалось в общую живую картину, в которой каждая особенность становилась органическим членом совокупного целого. Все мои последующие труды служили только к подтверждению этого взгляда. Разумеется, с бóльшим и бóльшим изучением источников, частности представлялись в ином свете; но всякая основательно изученная подробность не только не опровергала основных начал моего воззрения, а являлась как бы новым их подкреплением. Скудный очерк наполнялся все большим и большим содержанием.

Существенное изменение произошло в одном: пока я держался чисто идеалистического воззрения Гегеля, я все прошедшее считал преходящими моментами в истории человечества. Вследствие этого, я и христианство признавал религиею средневековою, покончившею свой век, отслужившей, так сказать, свою службу; а так как будущая религия, религия духа, еще не явилась, то я думал, что современное человечество, по самому своему положению, лишено религиозных верований. Впоследствии я убедился, что идеализм, составляя последний момент развития, не есть однако единственный, и что он сам становится односторонним, когда он утверждает только себя, отвергая самобытность остальных начал. Я понял, что те ступени, которые Гегель называет моментами развития, составляют вечные элементы человеческого духа, имеющие право на самостоятельное существование и сохраняющиеся при дальнейшем движении, а потому я перестал видеть в христианстве только религию прошлого и пришел к убеждению, что религия духа может не заменить его, а только восполнить. Точно так же и гражданский порядок, основанный на частном праве, никогда не может поглотиться государством. Среднековой быт представлял одностороннее поглощение государственных начал частными; движение нового времени состоит в выделении государственных начал и в самостоятельном развитии последних. Но обратное поглощение частных начал государственными было бы еще большею и худшею односторонностью, нежели первое. Отсюда коренная несостоятельность всех стремлений социализма. В юношескую пору, когда я еще состоял под исключительным влиянием идеализма, я видел в нем будущее; в зрелые лета, когда я понял всю односторонность исключительного идеализма, я признал в нем величайшего врага свободы, а потому главную язву современного человечества.

Книжные занятия не мешали развивавшейся у меня в последние годы страсти к энтомологии. Живя в деревенской свободе, я предавался ей с увлечением. Летние мои прогулки посвящались, главным образом, собиранию жуков. Детская страсть моя к рыбной ловле в это время уже совершенно исчезла[1].

[1] Во II главе своих „Воспоминаний“ Б. Н. Чичерин пишет о своем детстве: „Главным нашим удовольствием была рыбная ловля, к которой все мы

Я пробовал ходить с ружьем; осенью устраивались большие охоты у нас и у соседей. Мне удалось даже убить лисицу; но не имея никакой наклонности к ружейной охоте, я после этого подвига положил ружье и успокоился на лаврах. С наступлением холодов пришлось вести преимущественно комнатную жизнь и углубляться в книги. Но, наконец, это мне надоело, я почувствовал умственное утомление и потребность отдыха. В 21 год, когда молодые силы кипят и просятся наружу, такая жизнь зимою в деревне представляет мало привлекательного. С завистью читал я письма брата и товарищей из Москвы. Они там веселились, ездили в свет и звали меня к себе. Меня так и потянуло в Москву. Родители также собирались туда в эту зиму, но я, не дождавшись их, в начале января уехал с соседом вперед, чтобы приискать и приготовить им квартиру.

В Майковом доме меня ожидала вся наша товарищеская компания, которая предавалась веселью со всем увлечением юности, окончательно порвавшей с учебными годами и наслаждающейся полной свободой. Я, разумеется, тотчас к ним примкнул и сделался непременным участником всех увеселений. Но в Майковом доме мы не остались; пришлось навсегда покинуть этот уголок, где мы провели столько веселых и приятных дней. Я отыскал для родителей большой дом на Поварской, ныне принадлежащий Дмитрию Федоровичу Самарину[1]

в то время питали необыкновенную страсть. Для нас не было бо́льшего праздника, как когда нам позволяли встать в 3 часа утра и отправиться с Федором Ивановичем [гувернером Бориса Николаевича и его братьев] ловить рыбу на Панде... Приехав на Панду, каждый из нас в одиночку забивался в уединенные кусты и выбрасывал свою удочку возле густого камыша или плавающих на поверхности воды широких лопухов. С жадностью вперяли мы взоры на неподвижно стоящий на воде поплавок, досадуя, когда начнет клевать по мелочам какая-нибудь глупая плотичка или вертлявая селявка, но исполняясь трепетным ожиданием и радостью, когда подойдет крупный окунь и разом потянет поплавок в воду. Удовольствие было полное, даже когда рыба плохо ловилась; если же лов был изрядный, то восторг превосходил всякую меру. Впечатление было так сильно, что вечером, когда я ложился спать, у меня все еще мелькал перед глазами поплавок, погружающийся в воду".

[1] Дом этот до революции числился под № 38 и оставался во владении семьи Самариных.

нанял мебель, драпировки, приготовил все нужное к приезду и переселился туда с братом, в ожидании остального семейства, которое незамедлило прибыть.

Эта зима была исключительно посвящена удовольствиям. Кроме товарищеского круга, я разом окунулся и в московский большой свет. Вступить в него было не трудно. Он всегда страдал недостатком мужчин, которые отвлекались обыкновенно службою в Петербурге; а потому всякий благовоспитанный молодой человек принимался с распростертыми объятиями. Я скоро сделался в нем, как свой человек, и эта светская жизнь поглотила меня в течение нескольких лет.

Московское общество было в то время многочисленное и разнообразное. Тогдашняя Москва была преимущественно дворянским городом. Тут жили зажиточные, независимые семьи, которые не искали служебной карьеры и не примыкали ко двору. Это налагало своеобразную печать на всю московскую жизнь. В ней не было того, что составляло и поныне составляет язву петербургского большого света, стремления всех и каждого ко двору, близость к которому определяет положение человека в свете. Слова и действия царственных особ и чиновные производства не занимали все умы и не были предметом постоянных толков. Даже правительственный центр в Москве в то время вовсе не был общественным центром. К графу Закревскому ездили на большие балы, но от семейства его устранялись. Толстая, известная своими похождениями графиня Закревская, с своим наперсником Маркевичем, впоследствии сделавшимся литератором, и графиня Нессельроде [1] с толпою поклонников, на которых она была весьма неразборчива, представляли мало привлекательного для людей с несколько тонким вкусом. Москвичи все жили семейными кружками, радушно и беспечно, наслаждаясь жизнью и мало заботясь о будущем. Богатые дома давали большие празднества, балы, вечера, маскарады. Большинство предавалось свет-

[1] Дочь Закревского [Лидия Арсеньевна]. Прим. Б. Н. Чичерина.—[Болеслав Мих. Маркевич (1822—1884), автор в свое время известной трилогии романов: „Четверть века назад“ (1878), „Перелом“ (1880) и „Бездна“ (1883—1884); о нем и о гр. Агр. Фед. Закревской см. у Л. Ростопчиной: „Семейная хроника“ („Наука, искусство, литература“, № 4)].

ским удовольствиям; у иных были и литературные интересы. Вообще, светская жизнь была блестящею, ибо принимающих домов было много, и дворянство не успело еще поразориться. Какова была разница между тогдашним обществом и настоящим, можно судить по тому, что в то время в английский клуб записывали детей с самого дня рождения и были счастливы, когда до них в зрелые лета доходила очередь; а кто раз не переменил билета, тот не имел уже ни малейшего шанса вновь попасть в члены, хотя бы уплативши те значительные деньги, которые полагались за вторичное вступление. Ныне же не могут набрать достаточного количества членов, даже уничтожив все препятствия к обратному вступлению. Только молодых людей, как сказано, и в то время было мало, ибо они большею частью уезжали на службу в Петербург. Зато дамское общество было чрезвычайно приятное. Тут были и светские львицы, которые в то время царили в гостиных, и дамы с литературными интересами, усердные посетительницы публичных лекций. Множество красавиц служили украшением блестящих собраний. Для молодого человека приманка была громадная; можно было навеселиться вдоволь. Опишу те дома, где я чаще всего бывал.

Один из самых чопорных салонов Москвы был салон Долгоруких. Они жили у Варгина на Тверской, больших праздников не давали, но почти каждый вечер можно было к ним явиться запросто и найти приятное общество. Сам князь Александр Сергеевич, сохранивший до старости тип светского щеголя, был человек недалекий. Он не пускался в разговоры держал себя чинно и всего более любил играть в карты. Каждый вечер, приежая к ним, можно было в проходной столовой видеть несколько ломберных столов, за которыми молча и важно сидели игроки. В гостиной восседала жена его, рожденная Булгакова, женщина очень умная, не совсем приятного характера, суетная и тщеславная, но с великосветскими формами, с блестящим разговором, с некоторым поверхностным образованием. Московского добродушия и непренужденности в ней вовсе не было; это скорее была представительница в Москве петербургского великосветского тона. Ее занимали все петербургские интересы, она преклонялась перед

двором, и петербургские светские люди, когда приезжали в Москву, обыкновенно являлись в ее салоне. Для нас, еще молодых людей, конечно, не княгиня Ольга Александровна служила главною приманкой, а общество девиц, ее дочери и неразлучной с нею приятельницы Ребиндер, которая жила в том же доме Варгина. С княжной я вскоре вступил в самую тесную дружбу, которая сохранилась и доселе. Она была некрасива собой, похожа на отца; но в ней было именно то, чего недоставало у матери,—полная непринужденность, отсутствие всяких претензий, постоянно льющийся живой и веселый разговор, приправленный самым откровенным и незатейливым кокетством относительно тех, кто ей нравился. Я в этих случаях бывал ее поверенным. Ее приятельница Марья Алексеевна Ребиндер была умная, образованная, серьезная и также очень приятная. Я и с нею вступил в тесную дружбу, которая продолжалась и тогда, когда, несколько лет спустя, она вышла замуж за Олсуфьева. Она умерла, оставив многочисленную семью. Муж ее после этого два раза женился и окончательно разорился.

Что касается до княжны, то она перешла через многие мытарства, прежде нежели нашла себе оседлость. Мать непременно хотела выдать ее замуж, и это не удавалось. Они переселились в Петербург, потом уехали за границу. Особенно тяжелы были последние годы жизни княгини, которая немного помешалась и сделалась совершенно невыносимою для близких. После ее смерти княжна странствовала по Европе с отцом, который тоже совершенно разорился. Похоронив его, она вернулась в Москву, едва имея чем жить. Но здесь, наконец, она обрела теплый приют. Она вышла замуж за Львова, заику, но отличного человека, с которым зажила душа в душу. На меня всегда производило отрадное впечатление, когда я вечером являлся в их скромное жилище, всегда отделанное с большим вкусом, несмотря на ничтожные средства, и заставал эти два существа, искренно любившие друг друга и преданные делам благотворительности. Впоследствии он получил место смотрителя Вдовьего дома; они зажили пошире. Недавно он скончался.

В семье Долгоруких был и сын, известный под названием Коко. Он в 1850 году вступил в университет на медицинский

факультет, так как число студентов на других факультетах было ограничено, и вакансий не было. Это был малый пустой и хлыщеватый, но неглупый и с разными общественными талантиками: он недурно играл на сцене, приятно пел романсы, хорошо читал вслух. В Крымскую кампанию он был военным медиком, затем вышел в отставку, женился на Базилевской и умер от разрыва сердца полтавским губернским предводителем дворянства.

Такая же судьба, как и Долгоруких, постигла другое близкое к ним семейство, в котором я также был на приятельской ноге. Сестра князя Александра Сергеевича, Надежда Сергеевна, была замужем за Сергеем Ивановичем Пашковым. Она была уже женщина немолодая. Вскоре подростающие дочери начали выезжать в свет, и Пашковы стали давать балы и вечера; но в начале пятидесятых годов все ограничивалось, как у Долгоруких, почти ежедневными вечерними приемами, на которые можно было приезжать, когда угодно. Тон здесь был совсем другой, нежели в салоне Долгоруких, тон чисто московский, радушный и бесцеремонный, тут не только мужчины, но и дамы обыкновенно составляли партию. Надежда Сергеевна любила поиграть в карты, поболтать, немного посплетничать, но всегда без злости. Ласковая и обходительная, она старалась сделать свою гостиную сборным местом для старых и для молодых. С этой целью она постоянно приглашала к себе молодых и красивых дам, которых брала под свое покровительство. Всегдашним гостем на ее вечеринках была блиставшая красотою, но никак не умом и приятностью характера Софья Петровна Нарышкина, рожденная Ушакова; она только что вышла замуж за бывшего близкого приятеля ее матери и старалась приобрести положение в свете, задавая блестящие балы, на которые Надежда Сергеевна сзывала всех и каждого. Постоянно ездила и другая, уже несколько увядающая красавица, княгиня В. А. Черкасская, а также графиня Растопчина, которая была роднею Пашковых и воспитывалась в их семье. После многих странствований и приключений, эта бывшая красавица и поэт возвратилась в свой родной город и поселилась в нем. Свежесть молодости исчезла; небольшой поэтический талант испарился; а так как ума никогда не было,

то осталась непрерывающаяся болтовня с довольно разнообразным содержанием, но не одушевленная блеском, остроумием или грацией, а потому скучная. Осталась и наклонность окружать себя молодыми людьми. В это время она оставляла уже в покое светскую молодежь, а составила себе кружок второстепенных литераторов, среди которых царила. К Пашковым она езжала часто запросто, и раз я был свидетелем забавной сцены: она стала рассказывать о своей молодости и при мне хотела позировать невинною жертвою, а Надежда Сергеевна, к великому ее конфузу, обличала ее прежние проделки. Скоро она растолстела, а так как притензии на молодость не исчезли, то она представляла из себя нечто довольно комическое. Грановский однажды с хохотом показывал мне ее фотографию, которую он где-то достал, как курьез: графиня Растопчина изображена была с поднятыми к небу глазами в виде какой-то расплывшейся туши с сантиментальною физиономиею. Без смеха нельзя было на нее смотреть. До старости у нее осталась и страсть к танцам. Когда она стала вывозить дочерей в свет, она наивно признавалась, что для нее всего больнее было то, что она уже не может более танцовать.

Непременным гостем на вечерних собраниях у Пашковых был Петр Павлович Свиньин, оригинальная московская личность. Он был старый холостяк, весьма невзрачный, циник, гастроном, сластолюбец, но весьма неглупый, довольно острый и забавный, притом всегда готовый притти на помощь к друзьям. Он был богат и имел на Покровке свой дом, отделанный с большим вкусом, в котором он некогда давал обеды и даже балы. Но это ему надоело, и он предпочитал разъезжать по друзьям и знакомым. В карты он не играл, но сидел всегда до поздней ночи, уверяя, что он на этом основал всю свою репутацию, ибо заметил, что кто уезжает раньше других, тот непременно становится предметом злословия, а он этого избегает, уезжая последним. Когда построена была железная дорога в Петербург, москвичи радовались, но Свиньин говорил: „Чему вы радуетесь? Теперь все сидят здесь, а будет железная дорога, все уедут". Его пророчество в значительной степени сбылось. Свиньин дружески поддерживал Пашковых,

когда они в конце пятидесятых годов совершенно разорились. Вернувшись из-за границы, я нашел Надежду Сергеевну одинокою, на тесной квартире, а Сергея Ивановича ослепшим. От прежней барской жизни не осталось ничего. Оба они умерли в весьма стесненном положении.

В дружеских отношениях с Пашковыми и Долгорукими была Надежда Петровна Базилевская, в доме которой мы были приняты, как свои, уже со студенческих лет. Она была вдова, уже немолодая, весьма неглупая и приятная светская женщина. Старший сын ее был товарищем брата Владимира, и он всех нас ввел в дом своей матери, которая обласкала нас и приголубила. По выходе из университета вся наша компания к ней приютилась. Будучи плохого здоровья, она перестала ездить в свет и у себя больших приемов не делала, а жила в тесном семейном кругу, только изредка давая небольшие обеды. Кружок состоял, главным образом, из трех дам: самой Надежды Петровны, ее двоюродной сестры, молодой вдовы Софьи Ивановны Рахмановой, рожденной Миллер, и приятельницы последней, княжны Екатерины Андреевны Гагариной. Они собирались почти ежедневно и нам говорили: „наша тройка любит вашу шайку“. Главною приманкою для молодежи была Софья Ивановна. Еще девицею она была предметом страсти тогдашнего наследника Александра Николаевича. Вышедши замуж за богатого Рахманова, она была с ним несчастлива, сходила с ума, потом выздоровела, овдовела и поселилась в Москве, с малолетнею дочерью. Будучи ума весьма недалекого, она имела какую-то грациозную и привлекательную наружность, которая невольно к ней притягивала. Владимир Самарин был в нее страстно влюблен, а также и примкнувший к нашему кружку молодой преображенский офицер Николай Трубецкой, сын князя Петра Ивановича. Остальные, в том числе и я, ухаживали за Софьей Ивановной за компанию, как за хорошенькой женщиной. Самарин вздумал после всякого вечера, проведенного с предметом его страсти, провожать ее всей гурьбой до ее подъезда, и это исполнялось в течение нескольких лет и подавало повод к забавным приключениям. Она тешилась этим ухаживанием молодых людей, на которое она серьезно не смотрела, ибо все мы только что

вышли из университета, а она искала подходящего брака. Через несколько лет она вышла замуж за князя Владимира Андреевича Оболенского и жила с ним счастливо до своей смерти.

Третий член дамского кружка, княжна Гагарина, сестра упомянутой выше Натальи Андреевны Соловой, была в своем роде весьма оригинальною московскою личностью. Рано потерявши родителей, оставшись без всякого состояния, она воспитывалась сначала у дяди, князя Меньшикова, потом в институте. Сестры вышли замуж и жили в Петербурге, а она поселилась в Москве, где жила одна на маленькой квартирке принимая друзей и знакомых. Некрасивая собою, с толстым носом, но необыкновенно живая, весьма неглупая от природы, с добрым сердцем, участливая ко всем, искренно привязанная к друзьям, она в то же время была безалаберною до невероятности. Голова ее представляла какой-то невообразимый ералаш самых разнородных и изменчивых впечатлений, а язык летал во все стороны, на всех парах, без всякого удержу. Она была болтунья и хохотунья, ссорилась, мирилась, воспламенялась, остывала, кокетничала, обрывала, и все это без всякой последовательности и мысли. Такою она осталась и до старости; с летами она приобрела даже громадную популярность. До сих пор в ее маленькой квартире толпятся с утра и до вечера и богатые, и нищие, купцы, доктора, железнодорожные деятели, статские и военные, светские люди и первые сановники столицы. Со всеми она в дружбе, и все обращаются к ней за помощью. При своих обширных связях она всегда готова хлопотать за всякого с толком или без толку, это все равно. Прежней веселости, разумеется, уже нет; она утратилась в жизненном горе. Но язык не перестает по прежнему молоть все, что дает ему сохранившая всю свою впечатлительность голова.

Кроме нашей компании, постоянным мужским элементом в доме Н. П. Базилевской был брат ее Константин Озеров и двоюродный брат Сергей Иванович Миллер, брат Софьи Ивановны Рахмановой. Это были два несколько пожилых молодых человека московского большого света. Озеров жил холостяком на своей квартире, куда непременно зазывал вся-

кого, и приезжих гостеприимно помещал у себя. Он братался со всею светскою молодежью и сам, вполне безупречным и совершенно рутинным образом, исполнял все обязанности светского молодого человека: скакал по московским улицам на паре с пристяжкою, держал бульдога, ездил по аристократическим гостиным, где был принят на дружеской ноге, танцовал, сколько следует кавалеру уже не первых лет, разговором не отличался, но обо всем имел мнение и считал себя знатоком светских приличий; за светскими дамами, впрочем, не ухаживал, а довольствовался полусветом, с которым был знаком коротко, но без увлечения, именно настолько, сколько подобает светскому человеку; участвовал во всех увеселениях, кутежах, катаньях на тройках, хриплым голосом пел романсы, и все это исполнял не только без всякой веселости, но с какою-то печатью уныния, которая лежала на его некрасивом лице. Это не было, впрочем, выражением сердечной грусти, а отражением той светской рутины, которая охватила всю его жизнь и составляла все ее содержание. В этой рутине он и умер.

Совсем другой был Сергей Иванович Миллер. Он не разыгрывал роли молодого человека, никогда не танцовал и не хотел говорить ни на каком другом языке, кроме русского. Но он был ходок по женщинам; не довольствуясь полусветом, он ухаживал за светскими дамами, в которых встречал податливость. Холодный, сдержанный, самолюбивый, любивший в разговоре постоянно отпускать шуточки, лишенные веселости и остроты, он в обхождении не был приятен; но у него были серьезные артистические наклонности: он был первый основатель Московского общества любителей художеств, где доселе висит его портрет.

В близких сношениях с описанными домами находилась и Луиза Трофимовна Голицына, которая до самой своей смерти сохраняла в Москве выдающееся положение. Муж ее, князь Михаил Федорович, был человек добрый и недалекий, она же, рожденная гр. Баранова, была большая барыня в лучшем значении этого слова, без всякого блеска, но и без всяких претензий, всегда ровная, спокойная, ласковая и обходительная со всеми, дружески расположенная ко многим. Никто никогда

не слыхал от нее резкого или едкого слова. В понедельник утром, ее приемный день, вся светская Москва двигалась на дальний конец Покровки, где был их старинный барский дом; а в великий пост она ежегодно по четвергам вечером открывала свой салон для всех знакомых. Она умерла недавно окруженная всеобщим уважением.

К этому же кругу примыкали состоявшие в родственных отношениях с Долгорукими и Пашковыми Орловы-Денисовы. У них был большой дом на Лубянке, бывший графа Растопчина, и они давали большие балы. Граф Николай Васильевич был человек пустой, любивший покутить; жена же его, рожденная Шидловская, считалась первою красавицею в Москве. Действительно, когда она появлялась на вечерних собраниях, она имела совершенно вид царицы. Высокая, несколько полная, с правильными и красивыми чертами, с невозмутимым выражением лица, с плавными манерами, всегда роскошно одетая, она на всей своей особе носила печать чего-то спокойного и величавого. Умом она не отличалась, говорила тихо и мало, но всегда приветливо; доброты была необыкновенной и благочестия глубокого и скромного. Нередко случалось, что эта блистательная дама, возращаясь домой с бала, когда колокола звонили уже к ранней обедне, переодевалась и шла к службе или даже прямо входила в церковь в бальном платье под шубою и платком прикрывавшим украшенную цветами голову. После смерти мужа она вышла замуж за бывшего в Москве обер-полицеймейстера Лужина, который давно был в нее влюблен. Овдовев вторично, она кончила жизнь в бедности и уединении. Московский дом перешел в руки откупщика Шипова, который в свою очередь его перепродал, а великолепное имение „Мерчик" досталось железнодорожному строителю фон-Мекку.

Из домов, дававших большие балы для выезжающих в свет дочерей, выдавались Столыпины и Львовы. Афанасий Алексеевич Столыпин, человек очень умный, хотя с несколько грубоватыми формами, составил себе большое состояние в откупах. Он был когда-то губернским предводителем в Саратове, но за независимость характера не был утвержден и поселился в Москве, где у него был совершенно барский дом,

с огромным двором и с обширным садом. Тут были частые балы, обеды и вечера. Жена его, рожденная Устинова, была известна своей наивностью и в обществе служила предметом шуток и анекдотов. Главная ее забота состояла в том, чтобы выдать своих дочерей за знатных лиц, и она не могла скрывать своей досады, когда устраивалась знатная свадьба в чужой семье. Впрочем, цель вполне была достигнута, что и было не мудрено. Старшая дочь была прелестна и скоро вышла замуж за князя Владимира Алексеевича Щербатова, бывшего потом губернатором в Саратове. Младшая же, некрасивая собой, но умная и отличных сердечных свойств, впоследствии вышла за Шереметева и поныне живет в Москве, занимаясь благотворительными делами и пользуясь общим уважением. С обеими я был и остался в дружеских отношениях. Был и сын, тогда еще малолетний, который кончил весьма печально: он сошел с ума и зарезал жида.

Львовы отличались тем, что у них было множество дочерей; одна красивее другой, некоторые, особенно старшая и младшая, даже выдающейся красоты. В мое время выезжали в свет две старшие, с которыми я скоро сблизился. Вторая вышла замуж за графа Бобринского и скончалась вскоре после свадьбы. Старшая из них, Марья Александровна, еще прежде сестры вышла замуж за одного из бесчисленных князей Оболенских, которыми кишела Москва. Они все были на один тип, добродушные, обходительные, рохлеватые, недалекие и с некоторыми литературными интересами. О них Константин Аксаков, в стихотворном послании к Каролине Карловне Павловой, возвещая ей, что весь клан Оболенских жаждет слышать ее тогда еще ненапечатанную поэму „Двойную жизнь“, отозвался:

О, сколь от злого времени
Их изменился нрав:
Кто скажет, что их племени
Олег и Святослав?

Княгиня Марья Александровна сперва блистала красотою в Москве, но потом они поехали за границу и долго там жили. Я нашел их в Париже в 1860 году и к удивлению своему увидел, что эта женщина, которая в Москве отличалась

красотою, но не умом и не образованием, не только занимала видное положение в парижском большом свете, на что имела право по своей красоте и изяществу, но умела составить себе кружок из умных и образованных людей, преимущественно орлеанистов. Старик Дюшатель, бывший министр внутренних дел при Людовике-Филиппе, был усердным ее поклонником, и когда она впоследствии переселилась в Петербург, он постоянно посылал ей телеграммы обо всех политических новостях, которые она иногда знала даже прежде министерства иностранных дел. Это положение она приобрела тем необыкновенным тактом, с которым она умела привлечь к себе всех и каждого, сияя ровною и спокойною красотою, окруженная поклонниками, но всегда на некотором отдалении, никогда не позволяя себе злословия, умея слушать умных людей и поддерживать разговор, не выступая резко с своими собственными суждениями. Со старыми же друзьями она всегда сохраняла дружеские отношения. Когда я приехал в Париж, не видев ее несколько лет, я был обласкан, как старый московский приятель, и таким остался доселе. В Петербурге всегда являюсь к ней и вижу ее с большим удовольствием.

Большое положение в Москве имели и Трубецкие. Их было три брата. Старший, князь Николай Иванович, вдовец, управлявший дворцовою конторою и впоследствии председатель Опекунского совета, считался и еще более считал себя первым вельможею в Москве, после князя Сергия Михайловича Голицына. Маленького роста, с резким тоном, с важными манерами, ненавидевший либералов, он носил прозвище желтого карла. Я то время был с ним мало знаком и являлся к нему в дом только на большие балы, которые он давал для жившей с ним незамужней дочери, вышедшей потом замуж за Всеволжского. С нею я очень подружился. Похожая лицом на отца, некрасивая собою, она была чрезвычайно приятна, ровного характера, всегда обходительная, разговорчивая, искренний друг своих друзей, которых у нее было много. Впоследствии, когда я в начале шестидесятых годов выступил в литературе с консервативными идеями, князь Николай Иванович тоже возлюбил меня и стал приглашать меня к себе на отличные обеды, которые он давал по воскресеньям для родных и дру-

зей. Непременным гостем тут был Свиньин. Под важностью форм я в князе Николае Ивановиче узнал хотя недалекого, но доброго человека, с чувством своего достоинства, а потому независимого. Он был придворный, но без раболепства и резко осуждал в высокопоставленных лицах все, что по его мнению было не так, как следовало. Познакомившись с графом Толстым, он отозвался об нем: „Ce n'est pas un ministre, c'est un roquet"[1]. Он принял живое и даже сердечное участие в нашей университетской истории и в последующем моем выходе из университета. После смерти он оставил дела свои в полном порядке, чего никто не ожидал.

Не так кончил зять его, Алексей Сергеевич Мусин-Пушкин, который женат был на старшей дочери Наталье Николаевне, умершей от чахотки в начале шестидесятых годов. С ними я тоже был очень близок. Она была милая и хорошая женщина; он же был человек живой, любивший наслаждаться жизнью в разнообразных формах. С одной стороны, он был тончайший гастроном и давал отличные обеды для небольшого кружка приятелей, к которым я принадлежал, а иногда большие балы и ужины, приводившие всех в восторг; с другой стороны, у него была страстная, можно сказать, даже наивная любовь к политической свободе. Она проявлялась в особенности в шестидесятых годах, когда московское дворянство, после освобождения крестьян, выказало конституционные стремления. Пушкин с Голохвастовым и Уваровым составляли либеральное трио. У него в доме собирались и сочиняли конституционные адресы. Он сам оратором никогда не выступал, но за кулисами кипятился больше всех. Это было время и самых оживленных гастрономических обедов. Но кончилось это весьма печально. Вследствие беспечности и неудачных хозяйственных предприятий, за которыми не было никакого надзора все его довольно большое состояние рухнуло. Когда он умер, семейство его осталось почти ни с чем.

Другой князь Трубецкой, Петр Иванович, важный и толстый сенатор, бывший прежде орловским губернатором, под типом генерала Николаевского времени скрывал большое

[1] „Это не министр, а шавка!"

добродушие. Он был женат на дочери фельдмаршала князя Витгенштейна, славившейся своим сильным характером. Она всю семью держала в руках; но в свет не ездила и у себя не принимала. Третий брат Алексей Иванович, женатый на Четвертинской, имел свой дом в Леонтьевском переулке, и жена его держала салон. Это была женщина умная, бойкая, живая, с характером, с умственными интересами, всегдашняя посетительница университетских лекций, вместе с тем преданная благотворительности, стоявшая во главе многих заведений, которые она вела с тактом и умением. Оставшись вдовою, она после смерти князя Николая Ивановича купила его большой дом в Знаменском переулке, желая, чтобы это старинное барское жилище сохранилось в роде Трубецких. Но цель, увы, не была достигнута. Сын, женатый на двоюродной своей племяннице, дочери Екатерины Николаевны Всеволжской, так умел расстроить состояние, что пришлось продать и имение и дом. Кости князя Николая Ивановича должны были содрогнуться в могиле, когда его старые барские хоромы перешли в купеческие руки. Княгиня Надежда Борисовна, лишенная всяких средств, получая пенсию от Человеколюбивого общества за оказанные последнему услуги, ныне нанимает в этом доме скромную квартиру.

Из многочисленных сестер ее красотою отличалась княгиня Наталья Борисовна Шаховская, как все Четвертинские, бойкая, резкая, лихая наездница, хваставшаяся тем, что ей все ни по чем, но при этом весьма неглупая и талантливая; она отлично играла на театре. Замужем она была за известным силачем и лгуном, предводителем Серпуховского уезда. На старости лет, овдовев, она основала общину сестер милосердия, в которой продолжает проявлять свою предприимчивость и свое уменье обделывать дела без большой разборчивости в средствах.

Одною из первых красавиц в Москве была невестка этих дам, жена их брата, рожденная графиня Гурьева. Он был адъютантом генерал-губернатора, очень красивый собой, но совершенно пустой и ходок по женщинам. Она была прелестное существо. Высокая, стройная брюнетка, с тонкими чертами, с живым выражением лица, она полна была грации и изящества.

Еще очень молодая, незатронутая жизнью, подвергаясь пренебрежению мужа, она хотела жить, веселиться, предавалась поэтическим мечтам, которые менялись по воле ее игривого воображения, у нее было какое-то непринужденное и пленительное кокетство, которое тем более к себе приковывало, что в нем не было никакой задней мысли или расчета. Это было естественное излияние бьющей ключем жизни, женского стремления нравиться и пленять. Она любила окружать себя поклонниками, которые становились ее друзьями и никогда не смели перейти границ самого строгого приличия. Иногда это делалось без разбора, ибо она людей не знала и украшала их созданиями собственной своей фантазии. Но сердце было золотое, мягкое, доброе, участливое. Обыкновенно она принимала между обедом и вечером; я любил ходить к ней в эти часы и встречать всегда ласковый взор, всегда дружеский прием; любил слушать живые речи, не блестящие умом, но исполненные грации и какой-то капризной игривости, поэтического чувства, а нередко и сердечности. И ум, и сердце, и воображение,—все непринужденно и пленительно выливалось наружу. Иногда собиралось два-три человека; но часто мы сидели вдвоем, и часы летели в оживленных беседах. Можно сказать, что это были самые идеально-поэтические минуты моей молодости. Не долго ей суждено было жить. В 1855 году она умерла в злейшей чахотке.

Другая моя большая приятельница из молодых дам была баронесса Шоппинг, рожденная Языкова. Это была женщина совершенно другого рода, нежели княгиня Четвертинская. Одно время она была светской львицею; но постоянное болезненное состояние заставило ее прекратить свои выезды. Она большею частью сидела дома и принимала небольшой кружок друзей. Наружность ее была прелестная: темные волосы, синие глаза, удивительно тонкие и правильные черты лица. Ум был бойкий, живой, несколько насмешливый; разговор блестящий, полный игривости и бойкой иронии. У нее было какое-то задирающее кокетство, которое то притягивало, то отталкивало, но никогда не оставляло равнодушным. Это была заманчивая игра ума, через которую только в редкие минуты прорывались сердечные звуки. Я скоро с нею сошелся и сделался прияте-

лем дома. Меня пленяло это соединение очаровательной красоты, изящества форм, игривости ума и затаенных порывов сердца. Муж ее был человек добрый, обходительный, весьма некрасивый собой, кривой, небольшого ума, но образованный, с несколько славянофильским оттенком. Он был автор исследований по славянской мифологии. С летами болезненное состояние жены усилилось; она умерла, проведши последние годы жизни в постели.

Роль великосветской львицы в Москве в то время играла Надежда Львовна Нарышкина, рожденная Кнорринг. Лицо у нее было некрасивое, и даже формы не отличались изяществом; она была вертлява и несколько претенциозна; но умна и жива, с блестящим светским разговором. По обычаю львиц, она принимала у себя дома, лежа на кушетке и выставляя изящно обутую ножку; на вечера всегда являлась последнею, в 12 часов ночи. Скоро, однако, ее поприще кончилось трагедиею. За нею ухаживал Сухово-Кобылин, у которого в то же время на содержании была француженка, M-me Симон. Однажды труп этой женщины был найден за Петровскою заставою. В Москве рассказывали, что убийство было следствием сцены ревности. Кобылин, подозреваемый в преступлении, был посажен в острог, где пробыл довольно долго. Он успел даже написать там „Свадьбу Кречинского". Но кончилось дело тем, что его выпустили, а повинившихся людей сослали в Сибирь. Многие не верили в виновность осужденных, говорили, что они были подкуплены и что все дело было замято вследствие сильных ходатайств. При тогдашних судах добраться до истины было невозможно. Нарышкина же тотчас покинула Москву и уехала за границу. Овдовев, она вышла замуж за Александра Дюма-сына [1].

Все описанное доселе общество было чисто светское. Оно думало больше о весельях. Но были в Москве гостиные, в которых преобладали умственные интересы. Таков был дом Самариных. Я говорил уже, что я был дружен с четырьмя младшими братьями. Старший Юрий Федорович, в это время не жил в Москве, и я видел его только мельком. Но, готовясь

[1] О деле Сухово-Кобылина см. книгу Л. П. Гросмана, „Преступление Сухово-Кобылина" Л. 1928.

к экзамену на магистра, я почти каждый день по утрам ходил к Владимиру, который жил в его апартаментах, и делал выписки из стоящего там Полного Собрания Законов. Иногда заходил туда старик Федор Васильевич. Видя молодого человека, постоянно роющегося в фолиантах, он мною заинтересовался и ввел меня в семью. С тех пор я сделался в ней близким человеком.

Федор Васильевич был человек умный и образованный, с сильным и даже несколько крутым характером. Он был богат и держал свои дела всегда в полным порядке, чего нельзя было сказать о многих барах того времени. Дом его на Тверской, на углу Газетного переулка, впоследствии перешедший, к сожалению, в другие руки, был отделан отлично. Пока дочь выезжала в свет, тут бывали большие приемы, на которые собирались и светские люди и литераторы. После замужества дочери большие приемы прекратились, и старики жили тихо. Главное внимание Федора Васильевича было устремлено на воспитание детей, которым он руководил даже с излишнею заботливостью, ибо вмешивался во все мелочи и все хотел направить сам, не давая ни малейшего простора молодым силам и стремлениям. Это отразилось в особенности на старших; младшие пользовались уже большею свободою. Строгость отца смягчалась, впрочем, мягкостью матери. Софья Юрьевна была женщина отличная во всех отношениях, умная, добродетельная, благочестивая, хотя с несколько скептическим взглядом на жизнь и людей. Она держала себя всегда спокойно и сдержанно, говорила мало, иногда отпускала иронические замечания. После смерти мужа она осталась центром семьи и умерла в глубокой старости, окруженная любовью детей и уважением всей столицы.

Сблизившись с семьей Самариных, я скоро подружился и с дочерью Марьей Федоровной, которая была замужем за графом Львом Александровичем Соллогубом и жила вместе с родителями. Это была одна из самых достойных женщин, каких я встречал в жизни. И ум, и сердце, и характер, все в ней было превосходно. Она имела самаринский тип, волосы рыжеватые, лицо умное и приятное. Образование она получила отличное и, когда хотела, умела вести блестящий светский

разговор, приправленный свойственным семье юмором и иронию, однако без всякой едкости и язвительности. Но обыкновенный ее разговор был серезный; ум был твердый, ясный и основательный. Она не возносилась в высшие сферы, но с большим здравым смыслом судила о людях и о вещах. К этому присоединялся самый высокий нравственный строй. Одаренная мягким и любящим сердцем, всецело преданная своим обязанностям, она никогда не думала о себе и всю жизнь свою жила для других. Никакое мелочное женское чувство не западало в эту чистую и благородную душу. Твердость и постоянство характера смягчались прирожденною ей ласковостью и обходительностью. В ней не было ничего жесткого, резкого или повелительного. Казалось, у ней было все, что нужно человеку для полного счастья: и ум, и сердце, и образование, и богатство. А, между тем, немного счастливых минут довелось ей испытать в жизни. В молодости первые порывы сердца были резко остановлены; она ушла в себя и решилась подчиниться воле родителей. Устроена была, повидимому хорошая партия: она вышла замуж за графа Соллогуба, брата известного писателя. Но, еще будучи невестою, она заметила в нем что то странное; однако, давши слово, ничего о том не сказала. Вскоре после брака обнаружились признаки таившейся в нем болезни; он мало-по-малу впал в идиотизм. Несколько лет она прожила таким образом, няньчась с мужем; а после его смерти все ее заботы обратились на единственного сына, над которым она ежеминутно дрожала, боясь проявления в нем отцовской болезни. Благодаря неусыпным ее попечениям, он вырос, добрый, мягкий, как воск, с артистическими наклонностями. Скоро он женился по страсти. Помня свою молодость, Марья Федоровна не хотела препятствовать браку; но для нее он сделался источником нового горя. Умная и красивая, но сухая и своенравная невестка делала все, что от нее зависело, чтобы огорчать свекровь. Марья Федоровна недолго с ними осталась жить. Она поселилась в Серпухове, недалеко от которого лежало ее имение. Там она основала приют и школу и всецело предалась этому взлелеянному ею учреждению, которое шло отлично под непосредственным ее управлением. Нередко она приезжала к братьям в Москву

и там скончалась, окруженная всеобщею любовью и уважением. Я до конца остался с нею в самых дружеских отношениях.

В тесной дружбе с Самариными состояла семья Васильчиковых. Старик Александр Васильевич держал себя смирно; всем заправляла его жена, Александра Ивановна, рожденная Архарова, женщина бойкая и дородная, настоящая старая московская барыня хорошего тона. Ее звали Tante Vertu[1] и рассказывали анекдоты о чрезмерной заботливости, с которою она старалась отдалить от детей все, что носило на себе хотя отдаленую тень неблагонамеренности или неблагопристойности. Это был пуризм, доведенный до крайности. Не обладая умом, она имела свойственное людям того времени уважение к образованию и старалась внушить его детям. Она путешествовала с дочерьми за границею, знакомилась с замечательными людьми, в Москве постоянно ездила на все публичные лекции и старалась заманить литераторов в свой салон. Старшая дочь ее, славившаяся красотою, в то время была уже замужем за графом Барановым и не жила в Москве. Младшая же вскоре вышла замуж за князя Владимира Александровича Черкасского, игравшего впоследствии такую видную роль. Ниже, когда я буду говорить о литературном движении пятидесятых годов, я постараюсь охарактеризовать этого замечательного человека, который вписал свое имя в русской истории. Здесь, при описании московского большого света это было бы неуместно; замечу только, что общество, которое выставило из среди себя таких людей, как Юрий Самарин и Черкасский, заслуживает уважения. Когда он женился, Черкасский имел репутацию человека очень умного, но холодного, и даже друзья его жены, которая страстно его любила, в первые годы думали, что она, не находя в нем отзыва, лишена семейного счастья. Но случилось ей заболеть, и он обнаружил такую сердечную о ней заботливость, такую горячую привязанность, что все сомнения исчезли. Не имея детей, они до самой его смерти жили душа в душу. В Москве их небольшая квартира была одна из самых приятных центров в столице.

---

[1] „Тетушка Добродетель“.

Больших приемов никогда не было; собирались в самом тесном кругу, за обедом или вечером; но разговор всегда был умный и оживленный. Мне памятен один обед с Грановским. Кроме него, из мужчин были Лев Иванович Арнольди, брат А. О. Смирновой[1], и я, а из дам Екатерина Петровна Ермолова, тогда еще в полном блеске своей несколько восточной, но тонкой красоты, и приятельница этих дам Александра Николаевна Бахметева, которая поныне еще старается в своем салоне поддерживать давно угасший в Москве светоч умственных интересов. При таких блестящих собеседниках, как Грановский и сам хозяин дома, с дамами, которые умели и слушать, и понимать, и поддерживать разговор, обед был один из самых приятных, каких я запомню. В то время я, впрочем, с княгинею Екатериною Алексеевною мало сходился; меня отталкивало ее довольно резкое славянофильское направление, и мне казалось даже, что за этим скрывается некоторая сухость. В последнем я совершенно разубедился, когда узнал ее ближе: с необыкновенною чистотою и скромностью у нее соединялась удивительная сердечность. Овдовев, она сохранила самую благоговейную память о муже и самое горячее расположение ко всем его друзьям. До конца она сохранила и живое участие ко всем умственным интересам. Больная, едва двигаясь, она жила в Ялте с сестрою и племянницею, и всякая новость, политическая или литературная, пробуждала в ней умственную жизнь, потребность обмена мыслей. В особенности же она любила уноситься в прошлое. Мы проводили у нее целые вечера в чтении переписки князя и других писем, относящихся к периоду великих преобразований, в которых он играл такую выдающуюся роль. Там она и скончалась, окруженная любовью семьи и участием всех близких.

В описываемое время продолжал существовать и прежде столь блестящий литературный салон Свербеевых. Но с упадком умственных интересов он несколько преобразился. Литературные собрания сделались менее часты и менее оживленны. Взамен того, они открыли свой дом большому свету, стали давать балы и вечера для взрослых дочерей. Дмитрий Нико-

[1] Аркадий Осипович Россети.

лаевич Свербеев, при несколько тяжеловатых формах, которые приобрели ему название Голландца, был человек весьма недюжинного, тонкого ума, образованный, с живыми интересами, с положительным и несколько скептическим взглядом на вещи. Он не разделял славянофильских убеждений жены, которая в молодости, блистая красотою, соединяла вокруг себя славянофильский кружок. Но светским центром они не могли быть, и преобразование салона не послужило ему в пользу. В нем не было ни светского веселья, ни литературного одушевления. Я, впрочем, редко туда ездил.

Своеобразным литературным оттенком отличался салон Сушковых. Они много лет жили на наемной квартире у старого Пимена, и весь их быт представлял что-то старомодное и патриархальное. Сам Сушков был литератор, но совершенно особенного рода, возбуждавший всеобщий смех. Одно из первых моих впечатлений в Москве было то, что вечером у Шевырева, к которому первый раз повез нас Павлов, кто-то читал помещенную в „Москвитянине“ статью Сушкова, и все неистово хохотали. Впоследствии он стал ставить пьесы на театре, но и они до такой степени были нелепы и неуклюжи, что их ездили смотреть единственно для забавы. Сам он старался всех залучить к себе и с какою-то простосердечною и болтливою развязанностью прижимал к стене новичков своими разговорами о серьезных предметах. Жена его, сестра поэта Тютчева, добрая и спокойная женщина, краснела иногда за мужа и старалась освободить его жертвы; однако, сама она умела заменять его болтовню только крайне бесцветным разговором о самых обыкновенных предметах, высказывая с весьма приветливым тоном ничего не значащие замечания. Но салон оживился, когда они приняли к себе племянницу, младшую дочь Тютчева, Катерину Федоровну, девушку замечательного ума и образования, представлявшую резкий контраст с добродушной патриархальностью стариков. У нее была приятная наружность, живые черные глаза; при твердом уме она была сдержанного характера, но не обладала тою женскою грацией, которая служит притягательною силою для мужчин. А так как требования ее естественно были высоки, то ей трудно было найти себе пару. Она пережила стариков и умерла, не вышедши замуж.

Было много и других домов, в которые я ездил более или менее часто: Талызины, Дубовицкие, Оболенские, Голицыны, Мещерские и прочие. Но описание всего тогдашнего московского общества было бы утомительно и бесполезно. Сказанного достаточно для того, чтобы составить себе о нем довольно полное понятие. Все это кружилось, вертелось, ездило друг к дружке. Каждое утро и почти каждый вечер были приемные дни то у тех, то у других. Зимою, кроме балов и вечеров, бывали катания на тройках и пикники за заставою; 1 мая — непременный пикник в Сокольниках, куда ездили все самые нарядные московские дамы. На маслянице веселье было в самом разгаре; были утренние балы в Дворянском Собрании, где также собиралось все московское общество, а в последний день то здесь, то там танцовали с утра до 12 часов ночи. Великим же постом наступала пора карточных вечеров. Собирались иногда более пятидесяти человек; хозяйка хлопотливо устраивала для всех подходящие партии и, усадив гостей за зеленый стол, сама, наконец, с легким сердцем садилась за свою заранее подобранную партию. При этом я должен сказать, что за все шесть лет моего пребывания в московском большом свете я не видел никаких дурных сплетен и ссор. Москва думала только о том, чтобы вести независимую и приятную жизнь, с сохранением самого строгого приличия и при хороших отношениях друг к другу. Тем свободнее можно было предаваться потоку. Я был непременным участником всех собраний, постоянным гостем и литературных салонов и светских. В первый год я вертелся более в кружке девиц, потом поступил в кавалеры молодых дам. Я разъезжал, танцовал, играл с дамами в карты, точил язык с утра до ночи и с ночи до утра. Одно время я жил с братом Андреем, который был студентом медицинского факультета, и случалось, что мы несколько дней сряду не виделись. Когда я вставал, он был уже давно в университете, а когда он приходил домой, меня уже и след простыл. Я возвращался только для того, чтобы переодеться или поспать перед вечером; когда же я приезжал с вечера, он давно уже был в постели. Мои родители были даже несколько смущены моими внезапно развернувшимися светскими наклонностями. Мать однажды при мне жаловалась Грановскому на мои увле-

чения. Он с улыбкой отвечал: „Не беспокойтесь; это скоро пройдет!“ А отец писал мне из деревни: „А ты, любезный Борис, слишком поддаешься рассеянной жизни. Берегись, чтобы эта жизнь не сделалась непреодолимою потребностью. В ней дурно то, что молодой человек растрачивает напрасно две драгоценные вещи — время и энергию. Первого у тебя, конечно, довольно впереди, но энергию не только надо сохранять, но стараться приобрести, если ее недовольно. Общество людей мыслящих не только занимательно, но и полезно для молодого человека, как бы он ни был умен; общество хорошо образованных и умных женщин не только увлекательно, но и полезно также для молодого человека; оно освежает его способность и, вообще, дает ему некоторое изящество, которого ни в какой другой сфере приобресть нельзя. Поэтому я нисколько не нахожу вредным, чтобы ты умеренно и с разборчивостью выезжал в свет; но я не могу не предостеречь тебя, видя из твоего письма, что ты каждый вечер бываешь в обществе для того, чтобы эти вечера проводить за картами или в танцах. В этом особенно дурно то, что ты ложишься поздно и, следовательно, не бываешь по утрам довольно свеж для того, чтобы работать с таким успехом, к какому ты способен. В тебе это решительно непонятно“.

Дело, однако, было довольно понятно. На первых порах это было не что иное, как увлечение молодости, разгул молодых сил, почувствовавших себя на просторе, потребность веселья, соединенная с тою страстностью, с которою я в юные лета отдавался всякой новой, открывающейся передо мною области впечатлений; затем неведомое мне дотоле обаяние женщин; а под конец, когда это все несколько износилось и застыло, осталась рутинная привычка, помогавшая мне наполнять пустоту времени и отвлекавшая от унылого заглядывания в себя. Время, которое мы тогда переживали, было очень трудное для мыслящих людей в России. Задавленные тяжелым гнетом сверху, умственные интересы заглохли. О литературной деятельности нечего было и думать. Ниже я расскажу печальные мытарства моей магистерской диссертации. Если добросовестный исторический труд, в котором не было и тени политического направления, встречал неодолимые препятствия, то мог ли я

даже мечтать о том, чтобы как-нибудь высказать в печати те философские и политические мысли, которые меня занимали? Вступать на службу, не получив степени магистра, на приобретение которой я посвятил несколько лет, представлялось мне совершенно неуместным. Да и могла ли меня заманивать служба при господствовавших тогда политических условиях? Сделаться непосредственным орудием правительства, которое беспощадно угнетало всякую мысль и всякое просвещение и которое я вследствие этого ненавидел от всей души, раболепно ползти по служебной лестнице, угождая начальникам, никогда не высказывая своих убеждений, часто исполняя то, что казалось мне величайшим злом, такова была открывающаяся передо мною служебная перспектива. Я отвернулся от нее с негодованием, но исхода другого не видел. Если при выходе из университета весь мир представлялся мне заманчивым поприщем для деятельности и труда, то теперь мне казалось, напротив, что все для меня закрыто. Я впал в глубокую хандру и продолжал ездить в свет, который доставлял мне, по крайней мере, внешние развлечения и не давал мне так сильно чувствовать гнетущую меня сердечную и умственную пустоту. Конечно, он не мог уже меня удовлетворять. Первый пыл молодости прошел, постоянное праздное кружение мне надоело. Вечно точить язык без всякого живого интереса, просто для препровождения времени, было ремесло, которое было мне вовсе не по вкусу. Иногда, отправляясь на вечер, я с отчаянием думал: Господи! да об чем же я буду говорить? — и удивлялся людям, которые находят удовольствие в бессодержательной болтовне. Но все-таки я ездил, ибо погружение в себя было еще хуже. Это продолжалось до тех пор, пока с новым царствованием открылось новое поприще. Тогда я отказался навсегда от светской жизни и весь предался литературной деятельности.

Я вышел из этой жизни уже не таким, каким я в нее вступил. Свежесть молодости исчезла; радужные надежды рассеялись. Я увидел жизнь, как она есть, в том волнующемся смешении самых разнообразных, то хороших, то дурных, редко возвышающих, чаще принижающих и большею частью житейски-пошлых впечатлений, которые дает не слишком высоко

образованная и сдавленная неблагоприятными условиями среда Я вступал в нее, как Икар, готовый лететь к солнцу, а выходил, к счастью, не потонувши в житейском море, но несколько помятый и с поломанными крыльями. Однако, я не даром прошел через это поприще. Кроме привычки обращаться с людьми, я вынес из него драгоценное душевное сокровище: идеал женской грации, чистоты и изящества внешнего и внутреннего, идеал, который не дает молодому человеку погрязнуть в материальных наслаждениях или довольствоваться пошлостью полусвета. Счастлив, кому удалось обрести этот идеал в молодости и отдать ему всю свежесть еще не початых и не тронутых жизнью сил. Но счастлив и тот, кому довелось и в зрелых летах, прошедши через жизненные невзгоды, оставив на пути свои юные доспехи, свои блестящие надежды и свои пламенные стремления, обрести, наконец, то, что он так долго и напрасно искал, и в счастливой семейной среде найти то глубокое сердечное удовлетворение, которого не дают ни светские успехи, ни мимолетные привязанности, ни даже умственные занятия или общественная деятельность. Последнее выпало мне на долю и за это я благодарю провидение.

Не я один искал внешнего отвлечения от внутренней тоски. Грановский в это время предался картам. Я продолжал видеться с ним часто, обыкновенно раз или два в неделю ездил к нему обедать и всегда чувствовал себя освеженным после беседы с этим замечательным человеком. Но и на нем нельзя было не заметить удручения от водворившейся в России спертой и удушливой атмосферы. Прежний дружеский кружок большею частью рассеялся: Герцен уехал за границу, Белинский умер, Корш, Кавелин и Редкин переселились в Петербург; Боткин все более и более погружался в сластолюбивое наслаждение жизнью. Литература совершенно заглохла; споры с славянофилами прекратились. Оставалась университетская кафедра, и Грановский попрежнему с любовью обращался к молодым людям, в которых замечал искру священного огня. Однако, и тут он не мог не видеть с глубокою горестью упадок учреждения, которому он посвятил все свои силы, странных профессоров, которыми старались заменить прежних, заведенные в нем порядки, приниженный дух, военное управление. Он про-

бовал собирать у себя молодых профессоров, но сам говорил, что делает это только по обязанности, ибо чувствует, что в этих собраниях царит непроходимая скука. Я был на одном из таких обедов и могу засвидетельствовать, что Грановский был совершенно прав в своем отзыве. Собралось человек двадцать, но я не слыхал ни умной речи, ни даже живого слова. Главную нить разговора держал библиотекарь Полуденский, старший брат моего университетского товарища, человек добрый, веселый, образованный, подчас остроумный, но весьма легкий и совершенно неспособный внести в разговор серьезную мысль или умственное оживление. Да и о чем было говорить, когда все было сдавлено? Между тем, Грановский не был человек, способный в спокойной работе терпеливо выжидать лучших дней. Он и в зрелых летах сохранил душевную молодость, потребность увлечений. Помню, что у нас однажды был спор с его женою: я, как молодой человек, утверждал, что счастье заключается в увлечении, а Лизавета Богдановна, как зрелая женщина, говорила, что оно состоит в спокойствии. Грановский согласился со мною. Мудрено ли, что при таких условиях он сделался постоянным посетителем клубов и проводил свои вечера в том, что давал себя обыгрывать наверное?

Еще худшая участь постигла Павлову. Каролину Карловну на склоне лет точно укусила какая-то муха. Она неистово стала жаждать светских увеселенний и откровенно говорила, что ей осталось немного лет женской жизни, которыми надобно пользоваться. Но так как в большой свет она не ездила, а в литературном кружке никаких увеселений не было, да и литераторы вовсе не расположены были за нею ухаживать, то она пустилась на юношеские вечеринки и там плясала до упаду, развертывая перед неопытными юношами свои стареющие прелести. Встретив на одном из таких танцовальных вечеров старшего сына поэта Баратынского, она потребовала, чтобы его ей представили, и тут же объявила ему: „Вы так похожи на вашего отца, что я вам даю мазурку“. Она и у себя устраивала вечера с разными представлениями, в которых она, разумеется, играла главную роль. Так, в одной шараде, она явилась Клеопатрою и, сидя в какой то ванне, своим завывающим голосом

декламировала стихи. Для публики это было чистое посмещище, и бедный Николай Филиппович, краснея за жену, извинялся перед гостями, что их сзывают на такое зрелище. Но тут уже всякое влияние его исчезло; Каролина Карловна развернулась так, что не было никакого удержу. Чтобы несколько прикрыть свои светские выезды и проделки, она прикомандировала к себе племянницу, особу недурную собой, весьма неглупую и чрезвычайно бойкую, даже чересчур бойкую и предприимчивую, как я мог впоследствии убедиться. Под этим предлогом в дом являлись разные молодые люди. Одного из них, высокого, довольно красивого мужчину, который где-то служил в мелком чине, я не раз встречал у них за обедом, и Каролина Карловна нашептывала мне, что она приглашает его для племянницы, которую желает выдать за него замуж. Оказалось, однако, совсем другое. Когда впоследствии у Николая Филипповича сделали обыск, у него в столе нашли письма Каролины Карловны к этому молодому человеку, в которых она звала его с собою в Андалузию. Письма попались в руки мужа, и с тех пор молодой человек исчез.

Племянница, с своей стороны, причинила Каролине Карловне не мало хлопот. Нельзя было сделать последней большую неприятность, как оказавши этой молодой девице больше внимания, нежели самой тетке. Этим и занимались друзья дома. Однажды, приехав к Павловым на именинный завтрак, я увидел Грановского в самом одушевленном разговоре с племянницею. Через несколько минут он ко мне подошел и шепнул на ухо: „Если вы хотите разбесить Каролину Карловну, ступайте полюбезничать с Евгенией Александровной. Я только что в этом упражнялся; теперь ваша очередь“. Однако, племянница не довольствовалась любезностями друзей; она принялась за мужа, и Николай Филиппович, всегда слабый, поддался соблазну. Это вышло наружу, и тогда произошла буря. Каролина Карловна пришла в неописанную ярость от неверности мужа. Забыв о собственных письмах, она рассказывала всем и каждому, что этот изверг Николай Филиппович со времени рождения сына ее покинул, а теперь развозит своих любовниц в ее каретах. Чаадаев заметил, что карета налицо была всего одна, но Каролина Карловна для большей важности

употребляла множественное число. Этим она не ограничилась. Она послала старика отца, который делал все, что она хотела, с жалобою графу Закревскому, что муж своею игрою разоряет имение. Всякий порядочный правитель, без сомнения, отвечал бы, что если они опасаются разорения, то пусть уничтожат доверенность на управление имением. Но Закревскому вовсе не то было нужно. Он ухватился за случай доконать человека, который имел репутацию либерала. По поводу совершенно частной жалобы, не имевшей притом никакого смысла, он велел схватить Павлова и посадить его под арест в Управу Благочиния, где была так называемая яма, куда сажали несостоятельных должников. В течение месяца он содержался в одиночном заключении; даже ближайших друзей к нему не пускали. В доме у него сделали обыск, но ничего не нашли, кроме андалузских писем Каролины Карловны, слух о которых пошел ходить по городу вместе с жалобами на пренебрежение, которому она подвергалась. Тогда Соболевский, намекая на это обстоятельство, написал известную эпиграмму:

Ах, куда ни взглянешь,
Все любви могила,
Мужа мамзель Яниш
В яму посадила.
Плачет эта дама,
Молится о муже:
„Будь ему, о яма,
Хуже, уже, туже!
Лет, когда б возможно,
Только б до десятку,
Там же с подорожной
Пусть его хоть в Вятку,
Коль нельзя в Камчатку!“

Правительство не хотело однако признаться, что оно без малейшего повода подвергло одиночному заключению совершенно невинного человека. Придрались к тому, что у него в библиотеке нашли запрещенные к ввозу иностранные книги. У кого их тогда не было, и можно ли было без таких книг иметь сколько-нибудь сносную библиотеку? За это Павлова с жандармом отвезли в Пермь, где он пробыл десять месяцев. После этого ему оказана была милость: позволено было вер-

нуться в Москву. Он возвратился надломленный и одинокий, сошелся опять с племянницей и прижил с нею новое семейство. Жена же уехала сначала в Петербург, бросив тело умершего тут же отца, который был похоронен на счет прихода. Вскоре потом скончалась и мать, убитая горем; сын вернулся к отцу, которого страстно любил, а Каролина Карловна выселилась за границу и поселилась в Дрездене, где она до сих пор проживает, тщательно скрывая сбереженные ею деньги. Только раз она, гораздо уже позднее, на короткое время приезжала в Москву и тем же завывающим голосом читала в Обществе любителей российской словесности свой перевод Валленштейна.

Так рушилась эта семья, которая приголубила нас во время первого нашего приезда в Москву. Впрочем, дружеские отношения с Павловым не прекратились; мне не раз придется еще говорить о нем в своих воспоминаниях. Конечно, оправдывать его не было возможности; его слабость и его податливость страстям были слишком хорошо известны. Все это извинялось ему во имя других, лучших сторон его недюжинной природы. Но способ, как с ним было поступлено, не мог не возмущать всякого порядочного человека. Наглый произвол тогдашней администрации выступал здесь во всей своей отвратительной наготе и сеял в молодых сердцах семена ненависти и злобы, которые в здравомыслящих людях едва могли изгладиться всеми преобразованиями нового царствования, а в массе породили ужасающие явления, памятные всем.

Несмотря на столь неблагоприятные окружающие условия и на светскую жизнь, которой я предавался, я в это время держал экзамен на магистра и написал свою диссертацию. По моим философским и политическим занятиям, мне всего сроднее было государственное право, и я выбрал его своим главным предметом. В то время для магистерского экзамена, кроме государственного права, требовались еще полицейское и финансовое и затем, как второстепенные предметы, политическая экономия и статистика. Прежде всего, разумеется, надобно было повидаться с профессорами и узнать от них, что именно требуется и в каком размере, ибо программы не было, и все зависело от произвола экзаменующих.

Профессором государственного права был в то время Орнатский, который заместил Редкина. Я много слыхал про его странность и дикость; для студентов он был посмешищем; но то, что я увидел и услышал, превзошло мои ожидания. Это был какой-то дикий зверь, плешивый, с выпученными глазами, с глупым выражением лица, с странным произношением. Семинарист по воспитанию, грубый и неотесанный, он был к тому же полнейший невежда и отличался только неистовою ненавистью ко всему либеральному, за что и был призван в Московский университет для искоренения зловредных семян, посеянных его предшественником. При нашем свидании он объявил мне, что вся западная литература ничто иное, как пагубный плод революционных идей, что заниматься ею молодому человеку не только излишне, но и опасно, и что он, с своей стороны, решительно ничего не может рекомендовать. Для магистерского же экзамена требуется только изучение его лекций и Свода Законов. Конечно, этим задача значительно облегчалась. Я достал лекции, но эта была такая непроходимая и раболепная ерунда, что мне от нее претило, и я был поставлен в большое затруднение. Я спрашивал себя, как можно, не унижая себя, отвечать подобные нелепости? Я был уже не студент, повторяющий слова профессоров; мне казалось, что магистрант должен высказывать собственные суждения, а выдавать мысли Орнатского за свои собственные я считал совершенно неприличным и непозволительным. Поэтому я решил налечь на Свод Законов и дополнить этот материал исследованием исторического развития каждого учреждения. О старинных памятниках пока нечего было и думать; я отложил это до диссертации, а для экзамена довольствовался подробными выписками из Полного Собрания Законов.

Профессор полицейского права Лешков, был человек обходительный и принял меня очень любезно. Он также рекомендовал мне свои лекции, которые были мне уже известны, как студенту, и кроме того — учебник Моля. Что же касается до заменившего Чивилева профессора политической экономии Вернадского, то, поговорив со мною и услышав, что я высоко ставлю „Экономические гармонии“ Бастиа, он сказал: „Это прекрасно; я совершенно вашего мнения, и так как это для Вас

предмет второстепенный, то я в своих вопросах ограничусь этою книгою". С Мюльгуазеном я был хорошо знаком, и он указал мне на учебник Якобса. Как видно, требования от магистра были весьма невысоки, и приготовиться было нетрудно. Я на это время прекратил всякие выезды в свет, заперся дома, и осенью 1851 года подал прошение; в конце ноября начались экзамены. Первый вопрос, который мне задал Орнатский, был: „о преимуществах монархического неограниченного правления перед ограниченным". Я был поставлен втупик, ибо у меня язык не повертывался отвечать нечто совершенно противоречащее моим убеждениям. Я сказал, что преимущества того или другого образа правления зависят от тех целей, которые преследует общество: народы, которые ставят себе главною задачею установление государственного порядка, предпочитают неограниченное правление; а те, которые имеют в виду преимущественио развитие свободы, придерживаются ограниченной монархии. Орнатский был недоволен таким ответом; но другие профессора не нашли в нем ничего возмутительного. Морошкин сказал: „Отчего же? Государственный порядок! Это первое дело". Два другие вопроса касались положительных учреждений, а так как я историческую и догмотическую часть подготовил отлично, то экзамен сошел удовлетворительно. Решено было продолжать.

Остальные экзамены не представляли уже затруднений. Лешков остался доволен, а Мюльгаузен и Вернадский заранее сказали мне, какие они зададут вопросы. В январе все было кончено, и я мог приняться за диссертацию. Тема, которую я сперва представил в факультет, заключала в себе развитие областных учреждений в России от Петра до Екатерины. Я думал перед этим сделать общий очерк областного управления в XVII веке. Но когда я стал изучать грамоты, я увидел, что одна последняя тема может служить предметом обширной диссертации, а потому ограничился ею с разрешения факультета. В марте 1852 года я отправился в деревню, взяв с собою Собрание Государственных Грамот и Договоров, Акты Археографической Экспедиции, Акты Исторические и Юридические. Полтора года я добросовестно их изучал, делал выписки, писал, и к концу 1853 года представил в факультет гото-

вую диссертацию: „Областные учреждения России в XVII веке“.

Казалось бы, что для магистерской диссертации нельзя было требовать ничего больше: тут было добросовестное изучение источников, без всякой политической мысли, чисто с исторической точки зрения. А между тем, факультет ее не пропустил. Баршев, который был деканом, сказал мне, что древняя администрация России представлена в слишком непривлекательном виде, а теперь такое время, что цензура не пропускает даже ссылки на слова великого князя Владимира: „Руси есть веселее пити“. Когда же я поехал объясняться с Орнатским, он с яростью объявил мне, что моя диссертация ничто иное, как пасквиль и ругательство на древнюю Русь, и что он ее ни за что не пропустит.

Что было делать? Не мог же я извращать источники и видеть в древне-русской администрации вовсе не то, что в ней было, а что хотелось в ней видеть профессорам юридического факультета. Я обратился к Баршеву с вопросом: не пропустит ли факультет, по крайней мере, часть диссертации, чисто фактическую? Он меня обнадежил, и я представил в факультет несколько обработанную отдельную главу о губных старостах и целовальниках. Но через несколько времени Баршев опять объявил мне, что и в этом отрывке высказываются те же мысли, и что факультет пропустить его не может. Таким образом, всякий исход для меня был заперт, и все мои труды, мой экзамен, моя ученая работа пропадали даром. Передо мною без малейшего повода запиралась дверь к ученому и литературному поприщу, и это делалось с таким пошлым равнодушием, с таким возмутительным пренебрежением к мысли, труду, знаниям и стремлениям молодого человека, что это одно уже может служить признаком того низкого уровня, на который пал некогда столь славный Московский университет. Всякий нравственный элемент исчез на юридическом факультете. Кроме пошлости, невежества и мелочных личных целей и отношений ничего в нем не осталось.

По совету Грановского я решил попробовать счастья в Петербургском университете: не пропустят ли там моей диссер-

тации? Он дал мне письмо к Никитенке, и я отправился в Петербург[1].

Я ехал туда уже не в первый раз. Кончивши экзамен на магистра, я ездил навестить брата Василия, который начинал тогда свою службу в министерстве иностранных дел. С тех пор я ежегодно повторял свои посещения, которые всегда были для меня очень приятны. Там были мои старые профессора, Редкин и Кавелин, и я познакомился с тамошним литературным кругом. Редкин, который был в то время директором канцелярии министра внутренних дел, вел весьма уединенную жизнь в своей довольно многочисленной семье. Но он любил видеть москвичей, потолковать о философии, поговорить о старых университетских временах.

Кавелин же, с своею горячею и общительною душою сделался маленьким центром, около которого собирались всякого рода и молодые и даже старые люди. Я бывал у него почти каждый день, то обедал, то проводил вечер. Мы очень с ним сблизились, и разговорам не было конца. Это огненная, впечатлительная и вечно волнующаяся натура не поддавалась никакому внешнему гнету; он продолжал принимать к сердцу всякие, и крупные и мелкие вопросы, как практические, так и теоретические. Ему хорошо было известно все, что творилось в Петербурге. Коротко знакомый с либеральными чиновничьими сферами, он был близок и ко двору великой княгини Елены Павловны, которая очень его приласкала и ценила его талант и его благородство. Когда приезжал из Москвы свежий человек, как я, рассказам не было конца. Меня привлекали эти порывы благородного негодования, часто совершенно неверного, нередко и преувеличенного, ибо Кавелин, при страстности и односторонности своей природы и при недостаточной ширине ума, часто придавал неподобающее значение мелочам

[1] В издании „Т. Н. Грановский и его переписка", т. II, под № 348 напечатано письмо Грановского к Чичерину с приложением письма к Никитенке. В письме под № 347 Грановский дает следующий отзыв о диссертации Чичерина: „Диссертацию Вашу я прочел; без всякого комплимента Вам я нашел ее прекрасным и истинно ценным трудом... Кто писал замечания на краях? Баршев или Орнатский? Должно быть умный человек. Я на Вашем месте покрыл бы лаком эти строки и сохранил бы их для потомства, как материал для истории русской цивилизации".

и судил о людях с точки зрения личных отношений и минутного впечатления. Он и в зрелых летах с юношеским жаром сохранял какую-то даже наивную односторонность суждений. В это время я по какому-то случаю получил в Петербурге записку от Грановского, в которой он, говоря о некоторых суждениях Кавелина, восклицал: „О юноша! о вечный адъюнкт Морошкина! Хуже ничего не могу придумать!“ Но именно этот юношеский пыл не давал ему погрязнуть в петербургской чиновничьей рутине и сохранял в нем живой интерес даже к чисто отвлеченным вопросам. Я в это время много занимался философиею. Толкуя с ним по целым вечерам о русской истории и об отношении ее к западной, я делал философские сближения, излагал вырабатывавшиеся у меня взгляды на общее развитие человечества. Кавелина это очень заинтересовало. Я советовал ему заняться философиею, которая дотоле была ему совершенно чуждою областью. Кроме опытных исследований, он ничего не знал и не признавал. Я предложил ему прочесть „Критику чистого разума“ Канта. Он принялся за это с свойственным ему жаром; но при совершенном отсутствии способности к пониманию чистых отвлечений, остался неудовлетворен и написал критику, в которой излагал свой собственный взгляд на человеческое познание. Он прислал мне эту рукопись для прочтения. „Помилуйте, Константин Дмитриевич, — отвечал я, — вы критикуете Канта с точки зрения Локка, которая была ему совершенно хорошо известна, а вы выдаете это за что-то новое, принадлежащее нашему времени“. Он тотчас принялся за изучение Локка и еще более утвердился в своих взглядах. Нравственный его смысл не позволял ему, однако, вдаваться в те чисто утилитарные воззрения, которые составляют необходимое следствие голого опыта. Вместе с шотландскими философами, которых он, впрочем, совсем почти не знал, он старался в раскрываемых опытом внутренних стремлениях человека найти точку опоры для нравственных требований. Результатом этих трудов и размышлений было известное его сочинение об основаниях этики[1]. Цельного умственного

[1] „Задачи этики“ напечатаны (в „Вестн. Европы“, 1884, кн. X, XI и XII, и отд. Спб. 1885, переизд. в издании Н. Глаголева: „Собр. сочинений К. Д. Кавелина“, т. III, стр. 897—1018.

здания он, конечно, не мог воздвигнуть. Способности к философскому мышлению, как сказано, у Кавелина вовсе не было; философское его образование было крайне скудное. Да и самая точка зрения не давала возможности утвердить на ней прочную нравственную систему. Опыт действительно раскрывает нам нравственные стремления и требования человека; но он раскрывает вместе с тем и присутствие в человеческой душе тех метафизических начал, религиозных и философских, которые служат источником и опорою нравственных требований. Если же мы, отвергнув первые, как предрассудок, будем держаться последних, то получится здание, висящее на воздухе. Это и вышло с теориею Кавелина, как и со всеми другими подобными попыткам. Но если собственный его взгляд должен был остаться бесплодным, то он помог ему с успехом бороться против материалистических воззрений Сеченова, которые в свою очередь лишены были всякого научного основания. Не трудно было доказать Сеченову, что из его физиологических посылок вовсе не следуют выводимые им заключения, и что, вообще, нравственности из физиологии никогда не получишь[1].

Через Кавелина я познакомился с двумя его приятелями, людьми, игравшими выдающуюся роль в следующее царствование и оставившими свое имя в истории, с братьями Милютиными. Они были родом москвичи и воспитывались в Москов-

---

[1] Свои воззрения И. М. Сеченов (1829—1905) изложил в вышедшей в 1866 г. книге „Рефлексы головного мозга". „Из-за этой книги, — пишет он, — меня произвели в ненамеренного проповедника распущенных нравов и в философа нигилизма". В 1872 г. Кавелин выступил с трактатом: „Задачи психологии" („Вестн. Европы", 1872, кн. I, II, III, IV, и отд., Спб., 1872; в изд. Н. Глаголева, т. III, стр. 375—648), в котором Сеченов нашел „существенные нападки на... (свою) психологическую веру". Возгорелась полемика. Сеченов выступил в том же году с „Замечаниями" на „Задачи психологии" („Вестн. Европы", кн. XI) и с статьей „Кому и как разрабатывать психологию". (Там же, 1873, кн. IV). Кавелин отвечал в 1874 г. рядом писем в „Вестн. Европы" под заглавием „Психологическая критика" (кн. III, IV, V, VI), вызвавших новую статью Сеченова: „Несколько слов в ответ на письма г. Кавелина" („Вестн. Европы", 1874, кн. VII), на которую Кавелин отвечал статьей: „Несколько слов в ответ на „Несколько слов" проф. Сеченова" (там же, 1874, кн. IX). Ср. Автобиографические записки И. М. Сеченова, М. 1907, стр. 123—126, 140.

ском университетском пансионе. У отца их было хорошее состояние, но после его смерти оказалось столько долгов, что все имущество было продано с молотка, и они остались ни с чем. Родной их дядя по матери, граф Киселев, перевел их на службу в Петербург, где, благодаря его протекции, они успешно проходили служебную карьеру, один военную, другой гражданскую. Я скоро сошелся с обоими и всегда оставался с ними в приятельских отношениях.

Старший, Дмитрий Алексеевич, был в это время профессором Военной академии и только что издал известный свой труд: „Историю войны 1799 года", книгу замечательную и по основательности исследований, и по таланту изложения, и по господствующему в ней патриотическому духу, чуждому всякой заносчивости и мелкого хвастовства. Он очаровал меня с первого раза. Необыкновенная сдержанность и скромность, соединенные с мягкостью форм, тихая и спокойная речь, всегдашняя дружелюбная обходительность, при отсутствии малейших претензий, все в нем возбуждало сочувствие. Когда же я узнал его поближе, я не мог не почувствовать глубокого уважения к благородству его души и к высокому нравственному строю его характера, который среди величайших почестей и соблазнов власти сохранился всегда чист и независим. Ум у него был твердый и ясный, хотя и не блестящий. По природе он был человек кабинетный. Выработанные добросовестным трудом теоретические убеждения не всегда смягчались живым практическим взглядом на вещи или широким образованием. Знаток своей специальности, работник неутомимый, он не имел ни времени, ни возможности освоиться с другими сторонами государственной жизни или глубоко изучить ее исторические основы. Поэтому либерализм его носил на себе несколько отвлеченный характер, а практические взгляды нередко втеснялись в кабинетные рамки. Но, не обладая, как значительное большинство русских людей, широкою теоретическою подготовкой, он питал глубокое уважение к образованию. Всякое проявление мысли возбуждало в нем сочувствие и уважение, и, наоборот, он презирал людей, которых высокое положение прикрывало внутреннюю пустоту и невежество. Эти черты перетолковывались нередко в небла-

гоприятном для него смысле. Его старались выставить либералом и демократом. Даже фельдмаршал, князь Барятинский, у которого он был на Кавказе начальником штаба, рекомендуя его государю на должность военного министра, считал нужным предупредить, что у него есть два существенных недостатка: одностороннее пристрастие ко всему великороссийскому и ненависть ко всему аристократическому, особенно титулованному, вследствие чего фельдмаршал полагал, что ему со временем надо дать титул. Брат фельдмаршала, князь Виктор Иванович, читал мне это письмо. Я сказал, что, зная тридцать лет Дмитрия Алексеевича и состоя с ним всегда в приятельских отношениях, я никогда не замечал в нем ни малейшего пристрастия к великороссийскому племени, а скорее видел в нем некоторую теоретическую наклонность к космополитизму [1]. Что касается до его мнимой ненависти к аристократии, то причина этого обвинения заключается в том, что у нас слишком часто с знатным именем соединяется совершеннейшая пустота, а Милютин на таких людей смотрит с презрением. Когда же он встречает аристократическое имя, соединенное с истинными достоинствами, то он таких людей умеет ценить, доказательством чего могут служить его отношения к самому фельдмаршалу, прежде нежели произошла между ними размолвка.

Указывая на недостатки, которые он замечал в Милютине, князь Барятинский рядом с этим в сильных выражениях выставлял его редкие качества: его беспримерное трудолюбие, его знание дела, его высокое бескорыстие, необыкновенную скромность, его постоянство и энергию. Все эти свойства сделали его незаменимым военным министром. И точно, он один в России мог совершить то великое дело, которое тогда предстояло: преобразовать русскую армию из крепостной

---

[1] К несчастью, впоследствии я в этом разубедился. Я говорю о финляндских делах (вставка 1903 г.). Примеч. Б. Н. Чичерина. — Из этих слов можно заключить, что Д. А. Милютин в разговорах высказывал сочувствие мероприятиям конца 90-х годов и начала 900-х годов, имевших целью ограничение автономии Финляндии, и расходился в этом вопросе с Чичериным. Непосредственного участия в реорганизации управления Финляндией Милютин не принимал.

в свободную, приноровить ее к отношениям и потребностям обновленного общества при радикально изменившихся условиях жизни, не лишая ее однако тех высоких качеств, которые отличали ее при прежнем устройстве. И Милютин это сделал, работая неутомимо в течение многих лет, вникая во все подробности, постоянно преследуя одну высокую цель, которой он отдал всю свою душу. Старые служаки роптали и жаловались, что всякая дисциплина исчезла; предсказывали, что при первом столкновении русская армия окажется никуда не годной. Русские люди, не специалисты в военном деле, заботливо ожидали проверки. Первая проба была сделана в Азии. Когда разные отряды, совершив тысячи верст через бесплодные пустыни, сошлись вместе по заранее обдуманному плану и совершили указанные им подвиги, все спрашивали: что же предсказания? На это военные отвечали, качая головой, что азиатская армия еще старая, что туда не успели проникнуть преобразования, и сохраняется еще прежняя дисциплина. Но турецкая кампания окончательно рассеяла все сомнения. Переход через Балканы и последующие блистательные результаты показали, что русская армия осталась та же, чем была прежде, и ни мало не утратила своих крепких качеств. Бесспорно в управлении оказались недостатки, часть которых проистекала от природных свойств военного министра. Как кабинетный человек, он легко мог делать практические ошибки; он не всегда умел выбирать и людей. Но в итоге успех был полный. Обновленная Россия получила преобразованную армию, и имя Милютина останется в истории, как истинного творца этого великого дела.

Немудрено, что государь, который близко видел его работу, который знал его высокое бескорыстие и его преданность отечеству, постоянно его поддерживал, несмотря на ожесточенные нападки и интриги многочисленных врагов, которые не могли простить ему его способностей и его независимости. И среди всех этих павших на него почестей, он остался тем же тихим, скромным и обходительным Дмитрием Алексеевичем, каким я знал его в молодости. Почестями он всегда пренебрегал, даже когда они ему были нужны для карьеры, доставлявшей ему средства к жизни. Мне памятно,

как в 1855 году, во время моего пребывания в Петербурге, в самый день Пасхи ко мне зашел Кавелин и выразил свою радость по поводу того, что Дмитрия Алексеевича взяли в свиту. Несколько часов спустя, я зашел к Николаю Алексеевичу и в разговоре упомянул об этом обстоятельстве. „Не может быть,—отвечал он,—я только что получил записку от брата, и он ничего об этом не говорит. Впрочем, от него это станется“. Оказалось, что известие было совершенно верно. Много лет спустя Милютина сделали графом. Он возвращался с государем из Крыма через Москву. Я встретил его на вечере у генерал-губернатора. „Что же, поздравить Вас?“— спросил я. „Как вам не стыдно! — отвечал он. — Пускай другие поздравляют, а вы, старый приятель, знаете меня столько лет и считаете нужным поздравлять.“

Таким же как прежде, он остался и в своей частной жизни. Когда я бывал в Петербурге, я обыкновенно ходил к нему обедать по воскресеньям. В этот день он отдыхал от трудов и любил за обедом собирать немногочисленный круг друзей. Стол был всегда самый простой, вина кавказские. После обеда Дмитрий Алексеевич раскалывал сахар на мелкие кусочки, и вся его многочисленная семья, начиная с взрослой уже старшей дочери, подходила к нему по очереди, и каждому он клал в рот обмоченный в кофе „канарчик“. Это был патриархальный обычай, установившийся с младенческого возраста детей и свято сохранявшийся в течение многих лет.

С новым царствованием кончилось его государственное поприще. Он понял, что время его прошло и просил увольнения. Однако даже и при новых порядках он мог бы играть видную роль. Знающие люди утверждали, что его наверное сделали бы председателем Комитета министров. Но он предпочел удалиться совершенно. Петербург со всеми перекрещивающимися в нем интересами, всею низостью, завистью и злобою, которые господствуют в высших сферах, особенно-же при совершенно несочувственном ему направлении, был ему противен. Он уехал в Крым и там поселился на собственной даче в Симеизе. Там он и живет вдали от всяких дрязг, ни одной минуты не жалея о прежней деятельности или почестях, наслаждаясь свободой, делая съемки, как в молодости бодрый

и спокойный, как мудрец, постигший всю жизненную суету и находящий высшую прелесть в том, чтобы жить от нее в отдалении. Когда же ему случается по делам приехать в Петербург, он бежит оттуда, как можно скорее, не желая оставаться даже лишнего дня в этом средоточии всего, что волнует и возмущает душу истинного патриота. Живя в Крыму, я попрежнему видаюсь с ним, как старый приятель. Иногда мы вместе совершаем прогулки по крымским горам и долинам, любуясь морем, скалами, великолепными видами. Он водит меня по своему небольшому поместью, где жена его с успехом занимается виноделием. Однажды, когда после прогулки в очаровательный майский вечер мы сидели вдвоем на скамейке и глядели на прелестную, расстилающуюся у наших ног долину Лимены, он воскликнул: „И подумать, что есть люди, которые всему этому предпочитают Петербург!". Закат достойной жизни, всецело посвященной исполнению обязанностей и пользе отечества! Россия этого имени не забудет[1].

Второй брат, Николай Алексеевич, был в то время, как я с ним познакомился, директором Хозяйственного департамента в Министерстве внутренних дел. Это был человек, совершенно из ряду вон выходящий. Ум его был более сильный и живой, нежели у его брата. У него был практический взгляд на вещи, способность быстро схватывать всякое дело, даже мало ему знакомое, и с тем вместе знание людей, уменье с ними обходиться, ладить с высшими, а низших поставить каждого на надлежащем месте. Либерал по убеждениям, он по натуре не был сдержан, как Дмитрий Алексеевич. В дружеском кругу пылкая его натура изливалась непринужденно в живом и блестящем разговоре, приправленном юмором, а иногда и едким сарказмом. Но в обществе он никогда не проронял лишнего слова. При тогдашних условиях это было тем необходимее, что он был чрезвычайно общительного характера. Он не уединялся, как брат, а, напротив, ездил всюду, вращался во всех сферах и везде ловко умел себя поставить. Многим его блестящая личность колола глаза; его обзывали либералом, демократом и чиновником; но, несмотря

[1] Дм. Ал. Милютин умер в Симеизе в Крыму в 1912 г.

на свою видимую пылкость, он не давал против себя оружия и умел завоевать себе положение, тонко понимая людей, соединяя откровенность с осторожностью и зная, что кому следует сказать, чтобы направить его к желанной цели. И это он делал, никогда не кривя душой. Характер у него был прямой, возвышенный и благородный. Страстно отдаваясь всякому полезному делу, он презирал все мелочное. Поэтому, несмотря на то, что вся его жизнь протекла в петербургской чиновничьей среде, несмотря на то, что его бранили бюрократом, он никогда не мог сделаться таковым. Широкая его душа не терпела ни рутины, ни формализма. Когда я впервые с ним сошелся, он вращался преимущественно в избранном литературном кругу, а когда пришла пора действовать, он прежде всего почувствовал необходимость не ограничиваться чиновничьими сферами, а призвать к делу свежие общественные силы. Ни в чем, может быть, возвышенность и благородство его природы не выражалось так сильно, как в том горячем сочувствии, с которым он встречал всякое проявление таланта и способностей, какого бы то ни было направления. Он постоянно старался отыскивать и привязать к себе все лучшее, что он встречал в обществе, никогда не опасаясь соперничества, а стремясь привлечь всякую крупную силу к совместной работе. Он не довольствовался орудиями, а хотел сотрудников. Таких он нашел в Самарине и Черкасском, которых он призвал к общественному делу и которые стали ближайшими его друзьями, несмотря на то, что теоретически во многом с ним расходились. Но он был выше обоих, хотя и уступал им по образованию. У него не было умственной односторонности Самарина, а было то, чего недоставало последнему: практический смысл и знание людей. У него не было и одностороннего увлечения практическим делом, как у Черкасского. С своим ясным, твердым и трезвым умом он охватывал всякий вопрос со всех сторон; неуклонно стремясь к предположенной цели, он никогда ею не увлекался, а знал ее границы и ее слабые стороны. Одним словом, это был государственный человек в истинном смысле слова, такой, какой был нужен России на том новом пути, который ей предстояло совершить.

Когда я узнал Николая Алексеевича, он был известен, как автор проекта преобразования петербургской думы, который введен был в действие в 1846 году. Это было начало всех последующих реформ городского управления. Прежние обветшавшие, потерявшие всякое значение учреждения, которые подчиняли город неограниченному произволу местных властей, заменялись новыми, правильно организованными и основанными на истинных началах самоуправления, практически приноровленных к тогдашним условиям и потребностям. Но правительство, решившись на такой опыт, само его испугалось. Первым кандидатом на должность петербургского городского головы выбран был Лев Кириллович Нарышкин, которого государь не любил и считал либералом. Утвержден был второй кандидат, безопасный купец Жуков. Дума продолжала существовать, втихомолку водворяя у себя парламентские формы, но стараясь держать себя как можно осторожнее, чтобы не навлечь на себя грозы. После 48-го года о новых преобразованиях нечего было и думать. Надобно было дожидаться более благоприятной поры.

Она настала с новым царствованием, и тогда для Милютина открылось поприще, на котором он мог проявить все свои силы. Освобождение крестьян было решено в принципе; но как и на каких основаниях провести эту меру, никто не знал. В высших петербургских сферах не было ни одного человека, который имел бы об этом малейшее понятие, а те, которые пользовались наибольшим влиянием, внутренно были злейшими врагами этого преобразования и готовы были затормозить его всеми средствами или свести его на ничто. В эту минуту второстепенный чиновник министерства внутренних дел явился представителем истинно-государственных начал и дал вопросу то благотворное направление, которое он окончательно получил. Он был вдохновителем и Ростовцева, и Ланского, и графа Киселева, которые в свою очередь действовали на государя. Когда фельдмаршал, князь Барятинский, приехал в Петербург, начиненный всеми преувеличенными дворянскими жалобами, раздававшимися в то время со всех сторон, государь отослал его к Милютину, который убедил его в необходимости преобразования. Милютин настоял на

том, чтобы для выработки „Крестьянского положения“ созваны были люди из общества, практически знакомые с делом. Если в Редакционной комиссии Черкасский был главным работником, то Милютин остался главным руководителем работ. Зато накипевшие против него ненависть и злоба разразились, как неудержимый поток. И дворянские депутаты, и высшая аристократия, и петербургские сановники, — все на него обрушилось. Его выставляли демагогом, достойным виселицы. Всего менее могли ему простить его способности, его прямоту, его бескорыстие и его независимость. Эти качества не могли быть терпимы в среде, насквозь проникнутой низкопоклонством и раболепством, в среде, где „красным“ считался всякий, кто в душе не был холопом. Это был опасный соперник для всех чиновных ничтожеств, алчущих власти, и для устранения его были пущены в ход все средства и интриги, и клеветы. Против этого ополчения Милютин выступил во всеоружии, проявляя все свои боевые таланты, которые были крупные, отклоняя всякий удар, противодействуя интригам, сам предпринимая наступательные действия. И за ним была дружная фаланга, на стороне которой были и ум, и образование, и талант, и знание дела, и, наконец, очевидная польза отечества. Сражение было выиграно, но полководец был отдан на жертву врагам. Его вместе с сотрудниками спустили. Он сделан был сенатором и получил заграничный отпуск, а приведение в исполнение выработанного ими Положения вверено было пустейшему фразеру [1], который своим управлением успел только доказать, что даже руководимое ничтожеством дело способно было держаться: так прочно оно было поставлено. Милютин столь мало огорчен был этим оборотом, что вслед за тем я видел его в Париже веселым, бодрым и совершенно довольным тем отдыхом, который был ему предоставлен. Так мало сохранилось у него и злобы от этой борьбы, что спустя несколько лет, он отзывался об одном из деятелей того времени: „Он до сих пор смотрит на дворянство, как будто мы все еще ведем с ним борьбу в редакционных комиссиях, и не

[1] Б. Н. Чичерин имеет в виду, повидимому, гр. Петра Александровича Валуева, назначенного министром внутренних дел 23 апреля 1861 г. и занимавшего этот пост до 9 марта 1868 г.

понимает, что все это давно прошедшее и обстоятельства совершенно изменились".

Недолго, однако, он оставался в отпуску. Над Россией разразился новый удар, и опять потребовались люди. Вспыхнуло польское восстание. Шайки были кое-как подавлены; но надобно было умиротворить страну. Для этого призван был Милютин, который тотчас увидел, что низшие классы составляют единственную опору, которую Россия может иметь в Польше. Он предложил широкую меру наделения крестьян землею, меру, которую иначе нельзя назвать, как революционною, но которую он сам оправдывал только революционным положением страны. Он, впрочем, нисколько не обманывал себя насчет успеха своего предприятия. „Я нимало не воображаю, — говорил он, — что этим Польша привяжется к России. Таких мечтаний я не питаю. Но на двадцать пять лет хватит, а это все, что может предположить себе государственный человек". Снова он с прежними сотрудниками принялся за дело с тою ясностью мысли и с тою неутомимою энергиею, которые его характеризовали, и опять пришлось выдерживать упорную и ожесточенную борьбу не с поляками, которые не в силах были противодействовать неотразимому факту, а с русскими сановниками, которые всячески старались итти ему наперекор: в Варшаве с наместником, графом Бергом, в Петербурге с Шуваловым и его партиею. Государь, поддерживая Милютина и одобряя все его планы, в то же время поддерживал и его врагов, давая лучшим силам России истощаться в бесплодной мелкой борьбе в интригах. В этой борьбе Милютин физически изнемог. В 1866 году его поразил апоплексический удар, к величайшей скорби не только близких ему людей, но и всех истинных друзей отечества. Дело его не пропало, но перешло в посторонние руки. Главный его сотрудник в Польше, князь Черкасский, вышел в отставку. Сначала государь хотел передать управление Польшею графу Шувалову; Дмитрий Алексеевич, в то время военный министр, уговорил его этого не делать, и на место Милютина назначен был совершенно ничтожный Набоков, не имевший ни мысли, ни воли. Самодержавное правительство как-будто хотело доказать, что ему нужны не люди, а орудия, а что людей оно призывает в труд-

ные минуты и затем, выжав из них сок, выбрасывает за окно. Милютин не оправился от удара. Побыв два года за границею, он переселился в Москву, где и умер, окруженный любовью и заботами семьи и друзей. Тяжело было видеть этот некогда столь могучий ум, эту живую энергическую натуру, подкошенную неисцелимым недугом. Он ходил с трудом, говорил с запинкою и не всегда внятно; все понимал, но мысли двигались медленно, и выражались не ясно. Таким он был в 71-м году на моей свадьбе, а в начале 72-го скончался, оставив по себе память одного из замечательнейших людей, каких произвело это могучее поколение.

С Милютиными неразлучен был приятель их Иван Павлович Арапетов. Он был товарищем обоих братьев в Московском университетском пансионе, затем поступил в университет, где вместе с Герценом сидел в карцере за известную маловскую историю. Это был армянин, высокого роста, толстый, черный, в очках, с совершенно восточною физиономиею, с довольно резкими манерами, хотя с претензиями на петербургское джентельментство, человек весьма неглупый, образованный и живой, но в сущности без всякого внутреннего содержания, старый холостяк, сластолюбивый и эгоист. Он подвигался в Петербурге по служебной лестнице и достиг высокого чина; но когда его назначили членом Редакционной Комиссии, он оказался совершенно неспособным к делу. Сам Николай Алексеевич Милютин говорил, что он не ожидал от Ивана Павловича такой несостоятельности. Единственная привлекательная черта в нем была сердечная привязанность к братьям Милютиным. У Дмитрия Алексеевича он был непременным гостем и на воскресных обедах, и на вечерних собраниях. С Николаем Алексеевичем он состоял в самых коротких отношениях и нередко судил государственные дела с точки зрения служебного положения его приятеля. После смерти у него осталось довольно крупное состояние, которое он завещал дочерям обоих своих друзей, каждой по 40 тысяч, прося их в трогательных выражениях принять это наследство в память того, что дружба их отцов была для него лучшим благом жизни.

Я познакомился в Петербурге с тамошними литераторами. Грановский дал мне письмо к Тургеневу. Он жил тогда на

хорошенькой квартире у Аничкова моста, обыкновенно обедал дома и любил собирать у себя маленький кружок приятелей. Я часто у него бывал, когда наезжал в Петербург и находил всегда большое удовольствие в этих беседах. Тургенев был тогда на вершине своей славы. Живя на родине, окруженный друзьями и почитателями его таланта, он играл первенствующую роль между литераторами и был предметом всеобщего внимания. Все, что в нем было суетного и тщеславного, могло быть вполне удовлетворено; он успокоился и благодушно наслаждался приобретенною репутациею. Разговор его был чрезвычайно привлекателен. Он был умен, образован, одарен большою наблюдательностью, тонким пониманием художества, поэтическим чувством природы. Всегда оживленная, мягкая речь его была и разнообразна и занимательна. В женском обществе к этому присоединялись не совсем приятные черты: он позировал, хотел играть роль, черезчур увлекался фантазией, выкидывал разные штуки. Но в мужской приятельской кампании, где ему нечего было заискивать, все это сглаживалось, и у него проявлялась добродушная обходительность, которая к нему привлекала.

Конечно, на это добродушие нельзя было полагаться. Додэ пришлось испытать это весьма неприятным для себя образом, когда после смерти Тургенева, из напечатанных его писем оказалось, что этот повидимому столь добрый человек, ласково принятый в семье, игравший в ней роль приятеля, отзывался о нем, как о каком-то негодяе. Додэ не мог постигнуть глубины этого лицемерия. Но в сущности это было совсем другое. В мягкой и дряблой душе Тургенева не было места ни для лицемерия, ни для злобы, ни для коварства. Это было поверхностное и даже легкомысленное отношение к людям, податливость всякому минутному впечатлению, а иногда просто игра воображения. Художник по природе и по ремеслу, он, главным образом, занят был тем, чтобы наблюдать и изображать, и делал это иногда с нарушением всяких нравственных приличий, ибо нравственной сдержки не было никакой. Он в „Муму“ описал свою собственную мать в самом отвратительном виде, хотя, говорят, весьма верно. Точно так же и в „Первой любви“ он изобразил своего отца с нрав-

ственно весьма непривлекательной стороны. Если уже ближайшие к нему люди не ускользали от ударов его кисти, то тем более это могло случаться с его приятелями и знакомыми. Каждая дама, за которой он ухаживал, могла быть уверена, что она появится героиней какой-нибудь его повести. Многим, конечно, это должно было нравиться. Нередко та же участь постигала и мужчин. Однажды я приезжаю к Грановскому и застаю его смеющимся над книгой. „Ах, этот Тургенев!—воскликнул он;—никак не может удержаться, чтобы не изобразить какого-нибудь приятеля. Он написал очень милую повесть „Затишье“, а в конце, в виде какого-то господина Помпонского, так очертил Арапетова, что нельзя не узнать“. Случалось даже, что он про ближайших друзей придумывал самые невероятные анекдоты. В Париже, где мы довольно часто виделись, он как-то рассказывал нам с Ханыковым [1], что Боткин едет из Италии, расстроив свое здаровье совершенно беспутною жизнью, и при этом рассказал нам черту самого утонченного разврата. Вскоре Боткин приехал и, когда он стал жаловаться на нездоровье, я заметил ему, что он сам виноват, зачем ведет такую жизнь. „Какую жизнь? — отвечал он,— самую скромную, какую можно придумать“. Я сделал намек на черту, рассказанную Тургеневым. „Что вы, что вы! — воскликнул Боткин — откуда вы это взяли?“ Мы переглянулись с Ханыковым и поняли, что это был плод игривого воображения Ивана Сергеевича, который, не имея возможности поместить в повести избретенный им сальный анекдотец, взвалил его на приятеля. В виду таланта, ему охотно прощали эти маленькие грешки, тем более, что злого умысла тут никогда не было

При таких легкомысленных отношениях к людям, он, конечно, не мог быть глубоким знатоком человеческой души. Поэтому он большей частью ограничивался эскизами, которые ему всего более удавались. Еще в женскую душу он заглядывал глубже. Постоянно приволакиваясь за женщинами, ста-

---

[1] Николай Владимирович Ханыков (1822 — 1878), известный ориенталист, в 1860 г. был командирован для научных работ в Париж и назначен агентом М-ва народного просвещения по руководству занятиями молодых людей, командированных во Францию для усовершенствования в науках.

раясь их обворожить, он внимательно следил за изменяющеюся игрою их внутренних чувств и создавал иногда поэтические образы. Но мужские типы редко ему удавались. Исключение составляет разве только Базаров, которого крупные черты резко бросались в глаза, да и он схвачен более с внешней стороны. Обыкновенные же его герои распадаются на два разряда, которые он сам характеризовал в одной статье, разделяя весь человеческий род на Дон-Кихотов и Гамлетов. По-просту — его герои или хлыщи, или тряпки, и в них он изоображал самого себя. Знавшие его в молодости рассказывают, что он в ту пору был настоящим хлыщем; но я таковым его уже не застал. Удовлетворенное тщеславие и приобретенная большая репутация сгладили эту некрасивую черту, которая сохранялась только в отношениях к женщинам. „Ne piaffez pas"[1], — говорила ему Виардо, когда он развертывался в дамском обществе. Но тряпкою он был и остался всю жизнь. В нем не было ни одной мужественной черты, ничего сильного, смелого и решительного. В самой его внешности было что-то дряблое, составлявшее резкий контраст с его высоким ростом и довольно красивыми чертами. Сам он постоянно готов был унижаться и выставлять себя трусом, лгуном и подлецом. И это он делал даже с некоторым удовольствием, ибо через это слагалась всякая нравственная ответственность за свои поступки.

Конечно, с таким характером не могло быть речи о каком-либо серьезном внутреннем содержании, которое всегда требует известной душевной силы. Подпав под влияние могучей и страстной натуры Белинского, Тургенев в значительной степени усвоил себе убеждения, сложившиеся у этого замечательного критика в последний период его деятельности. Но те крайности, которые у Белинского были плодом страстного увлечения, вовсе не приходились к дряблой натуре Тургенева. Глубокие убеждения заменялись у него каким-то привычным и рутинным образом мыслей, лишенным всякой внутренней состоятельности и неспособным служить человеку руководством на жизненном пути. У Белинского эти крайности смягчались глубоким художественным чувством, и это отча-

[1] „Не танцуйте!" (говорится про лошадей).

сти перешло и на Тургенева, хотя тоже в ослабленном виде. Он чувствовал поэтические красоты первоклассных и даже второстепенных поэтов; он иногда тонко понимал недостатки произведений, но нередко, под влиянием случайного впечатления, вдруг приходил в восторг от таких вещей, которые не заслуживали ни малейшего внимания. Ниже я приведу тому любопытные примеры.

Самая его наблюдательность нередко носила чисто внешний характер. Иногда у него, даже в карикатурной форме, проявлялась черта, свойственная многим писателям, которые старательно подбирают всякие внешние мелочи и совершенно случайным признакам придают преувеличенное значение. Однажды я в разговоре с ним ходил по комнате и остановился, опираясь на обе ноги. Он посмотрел на меня пристально и спросил: „Скажите пожалуйста, вы не иностранного происхождения?“ Я отвечал отрицательно. „По крайней мере, нет ли у вас иностранных предков?“ — „В генеалогии нашего рода значится, что родоначальник нашей фамилии прибыл из Италии в свите Софьи Фоминичны Палеолог, но это было при Иване III“. — „Вот, вот! я так и знал, — воскликнул он. — Русский человек никогда не становится на обе ноги, а всегда на одну.“ И он вскочил с дивана, чтобы показать, как становится русский человек. Меня это рассмешило. В тот же вечер мы с ним встретились у Евгения Федоровича Корша, который в то время жил в Петербурге и у которого часто собирались Тургенев, Анненков и Милютины. Тургенев стал перед камином, расставив врозь свои длинные ноги. „Иван Сергеевич, вы тоже иностранного происхождения?“ — спросил я. „Нет, перед камином ничего,“ — отвечал он. Эта черта, кажется, однако, не попала ни в одну из его повестей. Но случалось иногда, что он придумает какую-нибудь пошленькую шуточку и непременно вклеет ее в повесть. В Париже он однажды объявил нам с Ханыковым, что нашего общего приятеля, князя Николая Ивановича Трубецкого, человека недалекого, но доброго и обходительного, у которого мы иногда собирались за обедом или на музыкальных утрах, следует именовать Бурдалу, потому что он рьяный католик и в голове у него бурда. Нам эта шутка не показалась смешною, и мы пропустили ее без

внимания. Но в одной из следующих повестей Ивана Сергеевича явился господин с прозванием Бурдалу, которым ровно ничего не изображалось.

Несмотря, однако, на все эти существенные недостатки, Тургенев был и остается если не первоклассным, то одним из самых видных русских писателей. После смерти Гоголя он занимал едва ли не первое место в русской литературе. У него не было той яркости и силы, как у Толстого и Достоевского, но зато у него было несравненно более тонкости, вкуса и изящества. Это единственный из новейших русских писателей, который был вполне образованным человеком. У него одного в произведениях есть художественная цельность, и рядом с живыми картинами не изображаются возмущающие душу сцены и не прорывается совершеннейшая галиматья. Но для того, чтобы все его высокие художественные качества могли поддерживаться и проявляться, ему необходимо было постоянное взаимодействие с жизнью. Воображения у него в сущности было мало. Всякий свой рассказ он черпал из действительно случившегося факта. Это было дерево, которое требовало постоянного питания и не могло жить вне свойственной ему среды. Поэтому как скоро он переселился за границу, так талант его начал падать. Оторванный от почвы, он носился по воле ветра и волн, будучи не в состоянии отличать истины от лжи, серьезных явлений жизни от витающей по поверхности ее пены. Самое его выселение было следствием той же дряблости характера, которая его отличала. Конечно, человеку, не имеющему своей собственной семьи, естественно на старости лет приютиться к дружескому семейству, которое его холит и голубит. Но, повидимому, Тургенев играл в этой дружеской семье весьма подчиненную и покорную роль. Его просто забрали в руки. Ханыков, который близко видел их отношение в Бадене, рассказывал мне, как Тургенев среди дружеского разговора с приехавшим навестить его приятелем, вдруг, по первому мановению, стремглав бежал на отдаленную почту, чтобы отнести чужое письмо; как он в своей карете возил семью в театр и ночью, в проливной дождь взлезал на козлы и отвозил ее домой; как он на частном спектакле должен был разыгрывать совершенно несвойственные ему

комические роли, кувыркался, выкидывал фарсы и потешал публику. Друзья говорили, что жалко было его видеть. Он сам понимал свое положение, но не в силах был от него отделаться. В один из последних приездов его в Москву, я в разговоре с ним сказал по какому-то случаю: „это — фальшивое положение; стало быть надо из него выдти.“—„Фальшивое положение! — воскликнул с живостью Тургенев.— Да в жизни ничего нет прочнее фальшивого положения. Раз вы в него попали, вы ни за что на свете из него не выберетесь.“ Я рассмеялся.

К отчуждению от отечества присоединилась внезапно постигшая его потеря популярности среди тогдашней волнующейся молодежи. Тип Базарова показался недостаточно привлекательным руководителям политического движения в русской литературе. На автора „Отцов и детей“ учинен был поход; его смешивали с грязью. Бедный Тургенев совсем растерялся; он любил популярность, особенно между передовыми людьми, и привык к ней, а тут совершенно неожидано на него обрушилась такая беда. Он стал извиняться, печатал статьи, в которых заявлял, что он сам разделяет почти все мнения Базарова, сошелся в Париже с нигилистическою шайкою, устраивал в пользу их концерты и чтения, хлопотал за них, когда они попадались в какие-нибудь политические проделки, в новых повестях старался выставить их героями, наконец, в напечатанном „Стихотворении в прозе“ именовал святою девушку, отбросившую всякий стыд и готовую на все преступления. До такого позорного раболепства перед отребьем русского общества унизился по слабодушию этот человек, занимавший первое место в русской литературе! Столь мастерски им самим очерченные Елизаветы Кукшины и Матрены Суханчиковы превращались в святые и становились провозвестницами будущего! Как неизмеримо высоко стоял перед ним в этом отношении Герцен, который сам был революционером и во многом разделял убеждения нигилистов, но у которого живо было нравственное чувство. Видая их близко, он возмущался ими до глубины души и в частных письмах хлестал их так, как умел хлестать. В его глазах это была гниль на корню, непристойная болезнь революционного дома терпимо-

сти, нечистоплотные животные, расплодившиеся в грязной среде „Современника". А Тургенев этих нечистоплотных животных окружал ореолом героизма и святости!

Зато после большого искуса, он был, наконец, прощен. Последний приезд его в Москву, в конце семидесятых годов, был настоящим триумфом. Когда он появился в Обществе любителей словесности, прием был восторженный; рукоплескания не умолкали; студент Викторов, вожак социалистов между студентами, с хор говорил ему речь; молодые профессора давали ему обеды; в честь его дан был и публичный обед по подписке; актеры устраивали ему праздники; красивые дамы врывались к нему, больному, в комнату; от посетителей не было отбою. Он сам с большим юмором рассказывал, как он усталый вернулся из заседания Общества, а тут уже давно ожидала его дама, актриса московского театра, которая с отчаянием ходила взад и вперед, восклицая: „Когда же он, наконец, приедет?" И как скоро он появился, жаждущий отдыха, его вдруг схватили, окутали в шубу, посадили в сани, повезли с Пречистенского бульвара на Мещанскую, и на всем протяжении этого длинного пути учинившая над ним насилие дама окутывала его и обмахивала его платком. Когда же он приехал, то все гости встретили его у порога, ввели в зал, где красовался огромный пирог, украшенный лентами, на которых были написаны заглавия всех его повестей. Ему говорили речи, пили за его здоровье и насилу, наконец, отпустили его домой, совершенно изнеможенного.

Юмор приберегался, впрочем, для одних актеров. Другие никак не менее комические заявления он принимал за нечто серьезное. Без сомнения, высоким комизмом отличалось предприятие красивой купчихи Пустоваловой и юркого беллетриста Боборыкина, которые затевали политический журнал с целью приготовить Россию к конституционным учреждениям, и всего удивительнее было то, что под крылышко этой странной пары приютились молодые профессора Московского университета: Ковалевский, Муромцев, Бугаев, у которых было столько же политического смысла, сколько у их патронов. Тургенева повезли на приготовительное заседание этого никогда не родившегося в свет журнала, и он вернулся оттуда в пол-

ном восторге. „Как они говорят!— восклицал он. — Я им сказал: ну, господа, вы далеко ушли вперед; в наше время так не говорили“. В особенности его пленил Бугаев, которого он возвел даже в предводители левого центра в будущем русском парламенте. Меня это удивило, ибо я знал, что Бугаев хороший математик, а в остальном совершенный кривотолк. Скоро дело выяснилось. Через несколько дней после этого знаменитого заседания Тургеневу дан был публичный обед. Главным оратором выступил Юрьев, который произведен был в люди сороковых годов, и миросозерцание которого после его смерти разбиралось в Психологическом обществе, хотя в сороковых годах никто об нем ничего не ведал, а миросозерцание его состояло в чистейшем сумбуре; затем импровизировал несколько громких и пустых фраз адвокат Плевако; наконец, выдвинулся Бугаев. И что же я увидел. Этот восхваленный оратор вытащил из кармана маленькую бумажку и запинающимся голосом прочел настроченную им галиматью о том, что Тургенев подмечал молекулярные движения общества. После обеда я подошел к Ивану Сергеевичу и шепнул ему на ухо: „А ваш Мирабо совсем осрамился“. — „Да, сегодня вышло неудачно“,—грустно отвечал он. Тургенев поехал и на свидание с Викторовым и оттуда вернулся также в полном восторге. „Умен, как день!“—говорил он. Но и тут скоро последовало разочарование. Несколько дней спустя, Викторов принес ему свои стихотворения, и они оказались так пошлы, глупы, и даже безграмотны, что с тех пор уже Тургенев об нем совершенно замолк. Должно быть, было уже из рук вон плохо, если даже Тургенев, несмотря на все желание, не решился похвалить; ибо в это самое время он восторгался такими произведениями, которые способны были возбудить только смех. Однажды я прихожу к нему и вижу перед ним толстую рукопись. „Что это такое?“— спросил я. „Как вам сказать? — отвечал он. — Вы пожалуй не поверите, если я скажу вам, что это русская Жорж-Занд, но во всяком случае это близко к тому подходит. Я еще, как известно, иногда увлекаюсь; но и Анненков тоже находит“. Я с нетерпением ожидал появления в печати этого необыкновенного произведения, хотя знал, что похвалы Ивана Сергеевича раздаются самым

странным образом. Незадолго перед тем в „Петербургских Ведомостях“ появилась сальная пошлость некоей госпожи Г. с предисловием Тургенева, в котором он восхваляет прелесть и грацию этого рассказа. Я думал, однако, что в этом случае он, может быть, не устоял против просьбы дамы: но тут он высказывался наедине, стало быть, не было повода говорить не то, что было на уме. Наконец, явилась знаменитая повесть; эта была „Варенька Ульмина“! Я тотчас прочел отрывки из нее Станкевичу и Кетчеру, и мы не мало смеялись и над автором, и над покровителем возникающих талантов. Но возможно-ли было сохранить вкус и чувство изящного, постоянно якшаясь с нигилистами? [1].

Несмотря, однако, на эти триумфы, Тургеневу не посчастливилось с другой стороны. Нигилисты его помиловали; зато Катков обрушился на него с самой площадной бранью, не только забыв всякие приличия, которых он никогда не знал, но и не обращая ни малейшего внимания на то, что писатель, которого произведения составляли красу русской литературы, даже в своих слабостях заслуживал снисхождения. При таких условиях, оставалось только возвратиться в Париж. Там он, по крайней мере, жил в образованной среде, где ценили и тонкий его ум, и высокий талант, и образование, и блестящий разговор, и врожденное чувство изящного, которое, несмотря на увлечения, никогда в нем не иссякало. В России же в это время литературная жизнь не представляла ничего, кроме пустых ярлычков, из-за которых происходили кабацкие схватки. В Париже он и умер, окруженный почетом. Французы возвели его даже в мыслителя, открывающего новые горизонты и раскрывающего всю глубину славянского духа, чего в России никогда в нем не подозревали и чего, разумеется, в нем никогда не было. Он был и остался одним из самых привлекательных русских писателей, который не заглядывал глубоко в человеческую душу и в общественные явления, но умел в прелестных, изящных очерках изображать современную ему русскую частную жизнь.

---

[1] Автором романа „Варенька Ульмина“, напечатанного в „Вестн. Европы“, 1879, №№ 11 и 12, была Любовь Яковлевна Стечкина.

Из петербургских приятелей Тургенева ближе всего к нему был Павел Васильевич Анненков, с которым я тоже скоро сошелся. Это был человек необширного ума, сдержанный и осторожный, но обходительный и образованный, много путешествовавший, много видевший, одаренный тонким чувством изящного, хотя нередко он высказывал свои суждения в слишком замысловатой и затейливой форме. Тургенев говорил про него, что он ко всякой мысли хочет подойти сзади. Самыми приятными обедами у Тургенева были те, когда я их заставал вдвоем с Анненковым. Тут были живые, преимущественно литературные беседы, каких в это время не было даже в Москве. Всякое литературное явление разбиралось и оценивалось тонко и отчетливо. Оба приятеля восторгались недавно вышедшими стихотворениями Фета. Стихи читались вслух; отмечались их поэтические красоты, а иногда смеялись над прорывавшимися в них бессмыслицами. Тургенев знал наизусть два стихотворения, одно под заглавием „Мщение трубадура“, а другое с повторяющимся в конце каждой строфы стихом: „Рододендрон, рододендрон!“ В обоих с первой строки до последней не было ни малейшего смысла, и ничего нельзя было понять [1].

Приятность бесед нарушалась, когда приходили другие петербургские литераторы: Дружинин, с глазами в виде щелей, с тонкими усиками и с гнусливым голосом; Григорович, который в то время был совершеннейшим хлыщем, кричал, жестикулировал, говорил пошлости, рассказывал сплетни; толстый и грубоватый Писемский; полусонный Гончаров; Иван Иванович Панаев с своим пошлым дендизмом, в парике, с висящим от него на лбу клоком волос. Все они производили на меня неприятное впечатление. Однажды в бытность мою в Петербурге, приехал туда Василий Петрович Боткин и задал у Тургенева обед для всех петербургских литераторов. Мне никогда в жизни не случалось быть в обществе, которое произвело бы на меня такое отталкивающее действие. Весь разговор от начала до конца был невообразимо грязный. Григоро-

[1] Шуточное стихотворение Фета „Рододендрон“ впервые напечатано в альманахе „Северные цветы“ на 1901 г., изд. „Скорпион“, М., 1901; „Мщение трубадура“ повидимому опубликовано не было.

вич с пафосом излагал свои сладострастные фантазии; Панаев чуть ли не с самим Боткиным вел беседу о самых утонченных подробностях чувственных наслаждений. Я уехал с омерзением.

Из петербургских литераторов один только Некрасов в это время не бывал у Тургенева. Он был болен и не выходил из дому. Несколько уже позднее Тургенев предложил мне повезти меня к Некрасову, говоря, что он очень умен и что с ним надобно познакомиться. Я согласился, хотя не совсем охотно, ибо мне известна была нравственная несостоятельность этого человека. Я достоверно знал всю историю пересылки денег Огаревым его жене, с которой он разъехался, и которая жила в Париже. Деньги пересылались через Панаеву, которая открыто жила с Некрасовым и находилась под совершенным его влиянием. Жена Огарева умерла в Париже в полной нищете. После ее смерти все ее бумаги были присланы мужу; оказалось, что она денег никогда не получала. Огарев потребовал возвращения выданных сумм, и когда в этом было отказано, подал жалобу в суд. Сатину было поручено вести это дело. Однако, до судебного решения не дошло; деньги были возвращены сполна. Никто в этом не обвинял Панаеву, которая была игрушкою в руках Некрасова. В то же время этот демократ вел большую игру и составил себе порядочное состояние в карты. Единственный визит мой Некрасову памятен тем, что я тут в первый и последний раз видел Чернышевского, который тогда только что выступал на литературное поприще. Небольшого роста, худой, белокурый, с тихим голосом, он мало говорил, но поразил меня решительностью своих суждений. Я не подозревал, что в этом мизерном семинаристе я вижу перед собою того человека, которому суждено было помутить умы значительной части русской молодежи, сбить Россию с пути правильного, законного развития и снова вызвать в ней господство самого широкого произвола. Много лет пройдут, прежде нежели залечатся нанесенные им отечеству раны. Однажды за обедом у Кавелина я видел и Добролюбова, который давал уроки его сыну. Разговор, как и всегда у Кавелина, был оживленный, но Добролюбов во все время обеда сидел неподвижно и упорно молчал. Я не слыхал даже звука его голоса.

Кроме петербургского литературного круга, мне довелось узнать в Петербурге и все прелести бюрократических порядков. Я испытал их по поводу своей диссертации. Никитенко, к которому адресовал меня Грановский, принял меня весьма любезно и дал записку к Неволину, тогдашнему декану юридического факультета. Я отправился к Неволину. Он вышел ко мне в столовую и принял меня стоя. Меня это поразило; я такого приема не встречал даже у самых пошлых профессоров Московского университета. Петербургская чиновничья среда налагала особенную печать на все отношения. Неволин сказал мне, что факультет моей просьбы резрешить не может, а что надобно обратиться к попечителю. Я навел справки о попечителе Мусине-Пушкине. Мне сказали, что он болен и никого не принимает, но что даже когда он здоров, от него просителям иногда приходится очень жутко. Делать было нечего; ждать я не хотел и должен был с пустыми руками отправиться назад. Однако, я не отчаялся. На следующий год произошла перемена; министром народного просвещения назначен был Норов, о котором ходила молва, что он добрый и обходительный человек. Я решился снова попробовать счастья в Петербурге. На этот раз Никитенко отправил меня прямо к министру. Я взял в карман свое прошение и ждал более часу; наконец мне объявили, что началась обедня и министр пошел в церковь. Чиновник прибавил, что если мне что-нибудь нужно, то я могу адресоваться к правителю канцелярии, который сидит в соседней комнате. Как новичек, я согласился и объявил правителю канцелярии, что мне нужно; он взял мою просьбу и сказал, что доложит министру. Когда я рассказал об этом Никитенке, он воскликнул: „Что вы наделали! теперь это пойдет канцелярским путем, и вы никогда ничего не добьетесь. Вам необходимо лично представиться министру и объяснить ему свое дело". Нечего делать, надо было вторично являться к министру. На этот раз я его дождался; он, наконец, вышел, приветливо выслушал мою просьбу, пожал мне руку и сказал, что это очень легко сделать. Я остался совершенно доволен. Ответ я должен был получить через правителя дел; но тот сказал мне, что решение я узнаю от директора департамента. Я отправился к директору; послед-

ний с сомнительным выражением заметил, что это дело не так легко сделать, как думает министр. Я спросил, когда же, наконец, я могу узнать свою судьбу; он отвечал, что мне сообщится решение начальником отделения. Я явился к начальнику отделения, который объявил мне, что исполнить мою просьбу решительно невозможно, и что надобно от этого отказаться.

Таким образом, мои хлопоты привели ни к чему. Все двери были мне заперты. Диссертация, над которой я так усердно работал, на могла увидеть свет, и весь мой магистерский экзамен оказывался напрасным. При таких условиях мудрено ли было впасть в хандру? Сидеть у моря и ждать погоды вовсе не свойственно двадцатисемилетнему молодому человеку, который чувствует в себе силы и жаждет деятельности. Меня томила тоска; чтобы заглушить ее, я зимою еще с большим рвением ездил в свет; а летом в грустном раздумьи бродил по полям и лесам, для себя складывал стихи и продолжал углубляться в философию, в ожидании лучших дней.

Но уже приближалась гроза, которая должна была освежить тот спертый и удушливый воздух, которым мы дышали. Издали уже слышались раскаты грома; они раздавались все ближе и ближе. Наконец, гроза разразилась в самых недрах отечества. С напряженным вниманием следило русское общество за всеми переходами этой войны. Сначала Синопский бой исполнил его патриотическим одушевлением: но затем одно за другим приходили роковые известия: высадка неприятеля в Крыму, Альма, Инкерман, Балаклава, Черная. Все это показывало, что войска образованных народов не так легко закидать шапками, как воображали закоснелые патриоты. Оборона Севастополя возбуждала и страхи, и восторг. Со всей России собирались ополчения, в которые шли даже люди из общества, никогда не знавшие военной службы, как Юрий Самарин и Иван Аксаков. Для славянофилов в особенности это была священная война, борьба за православие и славянство, окончательное столкновение между Востоком и Западом, которое должно было вести к победе нового молодого народа над старым одряхлевшим миром. Тютчев писал восторженные стихотворения, в которых взывал к русскому императору, убеждая его короноваться в святой Софии и встать, „как всесла-

вянский царь“ [1]. Однако более трезвые славянофилы понимали, что Россия в настоящем своем положении мало способна к исполнению великого исторического призвания. Хомяков написал по этому поводу стихотворение, которое мигом облетело Москву. Как теперь помню, я шел по Страстному бульвару, вдруг вижу, что навстречу мне едет Н. Ф. Павлов. Он выскочил из саней и уже издали воскликнул: „Ты читал стихи Хомякова?“ Он вытащил их из кармана и прочел мне их на улице. Я был в восторге. Никто еще с такою силою ни изображал современного нашего положения:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.

Хомяков призывал Россию к покаянию:

О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой.
С душой коленопреклоненной,
С главой лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели.

Но нужна была совершенно детская вера в спасительную силу молитвы и исповеди, для того, чтобы вообразить себе, что народ может в одно прекрасное утро покаяться, сбросить с себя все грехи и затем встать обновленным и разить врагов врученным ему божьим мечем. Те, которые глубже понимали исторические задачи, знали очень хорошо, что для истинного обновления нужны многие годы и много бескорыстного и самоотверженного труда. Положение русских людей, которые ясно видели внутреннее состояние отечества, было в то время трагическое. Тут дело шло уже не о внешних победах, а о защите родного края. Русское сердце не могло не

[1] Известное стихотворение Ф. И. Тютчева: „Не гул молвы прошел в народ“, напечатанное впервые в „Современнике“ в 1854 г.

биться при рассказах о подвигах севастопольских героев. А между тем, нельзя было не видеть, что победа могла только вести к упрочению того порядка вещей, который с такой горечью и с такою силою бичевал Хомяков, к торжеству того бездушного деспотизма, который беспощадно давил всякую мысль и всякое просвещение, уничтожал всякие благородные стремления и всякую независимость. Мудрено ли, что Грановский писал в одном письме, что он хотел бы пойти в ополчение, не затем, чтобы желать победы России, а затем, чтобы за нее умереть.

Изучая историю, я все более убеждаюсь, что война бывает полезна, главным образом, побежденным, если только в них есть довольно силы, чтобы воспользоваться своим поражежением для внутреннего обновления. Редки те минуты в историческом развитии народов, когда победа является результатом долгих трудов и усилий и возвещает зарю новой жизни. Такова была Полтавская битва. Как часто, напротив, упоение успехом становится источником нового зла. Победы Наполеона были благом для побежденных, но Францию они привели к деспотизму и к разорению. У нас за великими войнами 12-го 13-го и 14-го годов следовал период аракчеевщины. И на наших глазах что породили победы Германии, как не тяготеющий над Европою невыносимый милитаризм, господство грубой силы, презрение ко всему человеческому? Сколько неизмеримо выше стояла раздавленная Пруссия 1807 года, воспрянувшая с такою изумительною энергиею! Точно так же и Крымская война была, в сущности, полезна только для нас. Поражение открыло перед нами новую эру.

Среди этого военного грома, 12 января 1855 года Московский университет праздновал свой столетний юбилей. Депутации и гости стеклись со всех концов России. Торжество было громадное, но печальное для истинных друзей просвещения. Нельзя было не скорбеть душою, видя, как низко пало учреждение, еще недавно стоявшее так высоко. Им управлял военный генерал; в нем властвовало все пошлое и раболепное. В самое это время в нем вводилось военное обучение. Студентов ставили во фронт и заставляли маршировать на университетском дворе. На самом празднестве пош-

лость выдвигалась вперед на каждом шагу, в каком-то умиленном упоении. Шевырев написал раболепную кантату, которая декламировалась на акте с аккомпаниментом оркестра. И все завершилось обедом, который профессора дали попечителю. Грановский поехал, чтобы не подавать повода к новым нареканиям. Но трое из молодых профессоров: Леонтьев, Кудрявцев и Соловьев отсутствовали, притом не предупредив Грановского. Поступок был нехороший. Никогда я не видел Грановского так возмущенным. От сторонних, конечно, всего можно было ожидать; но тут ближайшие его товарищи, с которыми он был в самых дружеских отношениях, оказали ему такое неуважение. „Нет, это подло!" — воскликнул он, наконец. Виновником, разумеется, был Леонтьев. На обеде Шевырев прочел торжественную оду в честь Назимова, которого он возвеличивал в напыщенных строфах. Она начиналась так:

Тебе судил всевышний с нами
Столетний праздник пировать,
За то, что нашими сердцами
Умеешь мирно обладать,
За то, что чтишь отцов преданье,
Науки любишь красоту,
И ценишь высоту познанья,
Но больше сердца чистоту.

Когда эти стихи появилися в печати, я тотчас написал пародию, стараясь сохранить все обороты и даже рифмы. Привожу ее, как выражение тогдашнего настроения:

Тебе судил всевышний с нами
Столетний праздник пировать,
За то что мерными шагами
Умеешь ты маршировать,
Что чтишь на службе ты дубину,
Мундиров любишь красоту,
За то, что ценишь дисциплину
А также комнат чистоту.
Тупей последнего солдата,
Честолюбив, как дворянин,
Пристроил тестя ты и брата,
Ты в службе верный семьянин.
Служа с безграмотностью барской,
Ты фрунту предан целиком,

Ты генерал по воле царской,
А все ж остался дураком.
Себя комедией взаимно
Мы потешали всей семьей;
Когда читали строфы гимна,
Как все смеялись, боже мой!
Наш праздник глупость острамила
Но подлость скрасила его;
В одной лишь подлости есть сила
В ней радость, слава, торжество[1].
Наш храм под высшим попеченьем
Давно покорствует судьбе,
Но днесь военным обученьем
Он опозорен при тебе.
Да, много гадостей в нем было,
Властям тупым благодаря,
Но все те мерзости затмило
Даянье новое царя.
И этот праздник омраченья
Вершим мы пиром в честь твою
Подай нам, господи, терпенья,
Чтоб выносить тебя, свинью! [1]
Но тщетный ропот не поможет,
Мы шлем начальнику привет:
Блажен, кто удалиться может,
Кто не приехал на обед.
Крепка военной власти сила,
Твоих безмерна глупость дел;
Но мудрость божья положила
Величью нашему предел,
И будь ты во сто раз сильнее
А все ж не сделаешь никак
Чтоб был Альфонский поумнее,
Чтоб Шевырев был не дурак.

---

[1] В тексте стояло:

Любовь наш праздник озарила
Любовь украсила его
В одной любви живая сила,
В ней радость, слава, торжество

В тексте стояло:

И этот праздник просвещенья
Вершим мы пиром в честь твою
Пошли, господь, благословенье
На милую твою семью!

Я прочел эту пародию Павлову, который пришел от нее в восторг, и все носился со стихами, увы, даже поныне не потерявшими своего значения:

В одной лишь подлости есть сила,
В ней радость, слава, торжество.

Но отец пришел в ужас от моей неосторожности и разрешил мне сказать эти стихи одному только Грановскому, а затем не давать их решительно никому. Я так и сделал, но тут же пустился в более опасные предприятия. На юбилей прибыл из Петербурга Кавелин. Однажды он приехал ко мне и стал говорить, что положение с каждым днем становится невыносимее и что так нельзя оставаться. О каком-либо практическом деле думать нечего, печатать ничего нельзя; поэтому он задумал завести рукописную литературу, которая сама собою будет ходить по рукам. С этим предложением он к первому обратился ко мне, надеясь найти во мне сотрудника. Я с жадностью ухватился за эту мысль, которая давала исход моим либеральным убеждениям и моему стремлению к деятельности. Решено было, что я для пробы напишу статью и в феврале привезу ее показать ему в Петербург. Кавелин крепко заказал мне хранить все это в глубочайшей тайне и не говорить об этом даже Грановскому, опасаясь, чтобы он как-нибудь не проговорился. Я обещал, ибо сам видел, что за это можно сильно поплатиться, и если для себя ничего не боялся, то отнюдь не хотел огорчать родителей.

Я с жаром принялся за работу и скоро написал статью о животрепещущем вопросе дня под заглавием: „Восточный вопрос с русской точки зрения“ [1]. В половине февраля я собрался отвезти ее в Петербург. Все уже было у меня готово, и я должен был ехать на следующий день, как вдруг пришла из Петербурга громовая весть: император Николай скончался! Все были ошеломлены, ибо никто не подозревал даже его болезни. Я немедленно поскакал к Грановскому, который уже знал об этом событии. Впечатление было потрясающее. Казалось, что рухнул колосс, который все давил и никому не давал вздохнуть. С ним вместе разрушался и созданный им ненавистный поря-

[1] Напечатано в приложении к книге: „Записки князя С. П. Трубецкого“. Спб., стр. 125—153.

док вещей. Что сулило будущее, этого еще никто не мог сказать; оно скрывалось под туманною завесою. Но в настоящем почувствовалось внезапное облегчение, как будто гора свалилась с плеч, и дышать стало свободнее. Разом пробудились и бодрость духа и светлые надежды на лучшие времена.

Маленькая простуда удержала меня дня два в Москве. Наконец, я поехал. Я должен был остановиться у брата Владимира, который служил тогда в гатчинских кирасирах и жил на Галерной. Но проехать к нему с железной дороги не было возможности. Я попал в самую минуту похорон. Улицы были запружены народом. Оставив тут извозчика с чемоданом, я нанял скамейку и влез на нее, чтобы посмотреть на процессию. Передо мною тянулись длинные ряды полков с траурными знаменами, шли пешком представители всех учреждений, государственные сановники, придворные чины; церемонимейстеры ехали верхом в раззолоченных мундирах. Наконец, явилась пышная погребальная колесница, на которой покоились останки умершего монарха, и за нею спокойно и с грустным видом шел высокий и тогда еще стройный новый государь. Все это тихо двигалось через Николаевский мост к Петропавловской крепости. Погребался не только русский царь, тридцать лет безгранично властвовавший над Россиею, но вместе с ним и целый порядок вещей, которого он был последним представителем.

В Николае I воплотилось старое русское самодержавие во всей своей чистоте и во всей своей неприглядной крайности. Внешнее впечатление он производил громадное. В нем было что то величавое и даже обаятельное. Он чувствовал себя безграничным владыкою многих миллионов людей, избранным богом главою великого народа, имеющего высокое призвание на земле. Он знал, что единое его слово, единое мановение может двигать массы; он знал, что по прихоти своей воли он может каждого из этих многих миллионов возвеличить перед всеми или повергнуть в ничто. Это гордое чувство силы и власти отражалось на всем его существе. Самая его высокая и красивая фигура носила на себе печать величия. Он и говорить умел, как монарх. Действие на приближающихся к нему часто бывало неотразимое. Всякий чувствовал, что он видит перед собою царя, предводителя народов.

Но под этим внешним величием и блеском скрывалась мелкая душа. Он был деспот и по натуре, и по привычке, деспот в полном смысле слова. Он не терпел никакой независимости и ненавидел всякое превосходство. Даже внешняя красота оскорбляла его в других. Он терпеть не мог совершено безобидного Монго-Столыпина за то, что он слыл первым красавцем в Петербурге. Он один должен был быть все во всем. В каждой отрасли и сфере он считал себя знатоком и призванным руководителем. Никто ни в чем не должен был с ним соперничать, и все должны были перед ним преклоняться и трепетать. И эта непомерная гордыня, это самопревознесение не знающей границ власти не смягчались, как у Людовика XIV, приобретенными в образованной среде привычками утонченной вежливости. Они соединялись с чисто солдатскими ухватками и проявлялись над беззащитными людьми во всей своей грубости и наглости. Он как зверь обрушивался иногда на несчастного юношу, который стоял или смотрел не так, как требовалось его идеалом солдатской выправки. Я слышал об этом самые удивительные рассказы очевидцев. В нем не было и смягчающего необузданные порывы власти милосердия или жалости. Ни в чем не повинные или виновные лишь в юношеском легкомыслии молодые люди в течение многих лет подвергались самым суровым наказаниям. Вся жизнь их беспощадно комкалась и ломалась. Декабристов он гнал до конца, не выпуская их из ссылки и не позволяя им даже воспитывать своих детей в России. Батенкова он тридцать лет без всякого повода держал в одиночном заключении[1].

Однако, когда он хотел, он умел быть приятным и даже обворожительным. Чувство власти не исключало в нем лицемерия, когда оно требовалось для его целей. С иностранцами он кокетничал, стараясь выказываться перед ними вовсе не таким, каким он был на деле. Он кокетничал перед Гумбольдтом; он кокетничал перед Мурчисоном, который называл его:

---

[1] Декабрист Гавриил Степанович Батеньков (1793—1863), приговорен был к двадцатилетней каторге, которую отбывал в форте Свартгольме на Аландских островах и в Петропавловской крепости в очень тяжелых условиях, затем был сослан в Томск на поселение; дожил до амнистии.

„мой коронованный друг“. В действительности же ему не было ни малейшего дела ни до науки, ни до образования, которые он в России старался подавить, нисколько позволяло приличие. Он пытался обворожить и Гамильтона Самура,[1] но на этот раз это ему не удалось. Иногда кокетство обращалось и на подданных, которых он почему-либо хотел к себе приманить. Он очаровал вышедшего в отставку Ермолова, которого уговорил вступить на службу с тем, чтобы уронить его популярность и затем оставить на всю жизнь заштатным генералом. Он кокетничал с Пушкиным, вернув его из ссылки и взявшись быть цензором его стихотворений; он кокетничал даже с Юрием Самариным, который был посажен под арест за „Рижские письма“ и затем прямо из заключения был привезен в кабинет государя. Пушкин поддался искушению и отплатил за это стихами, в которых возвеличивал нового царя; но после неожиданной смерти великого поэта всякие печатные восхваления его памяти были строжайшим образом запрещены, ибо монарх не терпел похвал, расточаемых другому. Точно так же Тургенев был посажен на гауптвахту за сочувственную статью по поводу смерти Гоголя.

Ему нужно было не только привлечь к себе людей, которых он не считал возможным преследовать; ему надобно было их нравственно унизить. Пушкин должен был состоять на службе: его против воли произвели в камер-юнкеры. Николай терпел вокруг себя только людей, искушенных в придворной лести или совершенные ничтожества. В начале своего царствования он был еще несколько разборчивее. Он вступил на престол при смутных обстоятельствах, а, между тем, хотел прославиться и перед Европою играть роль просвещенного монарха. От своего предшественника он получил целую фалангу людей, если не с высокими характерами, то умных и образованных. Он ценил их, старался сделать их покорными орудиями

[1] Гумбольдт (1769—1859), знаменитый немецкий географ, посетил Россию в 1829 г.; Мурчисон (1792—1871), выдающийся английский геолог, совершил научно-исследовательское путешествие по России в 1840 и 1841 гг., результатом которого явилось капитальное исследование по геологии Европейской России, напечатанное в 1845 г.; Сэр Гамильтон Сеймур (1796—1880) — английский посланник и Петербурге в 1851 — 1854 гг.

своей воли, в чем нетрудно было успеть; они составили славу его царствования. Но чем более он привыкал к власти и исполнялся чувством своего величия, тем более он окружал себя раболепным ничтожеством. Когда Вронченко заявил ему, что не чувствует себя способным быть министром финансов, Николай отвечал: „Я буду министр финансов“. Причина милости, которой удостоился Вронченко, выясняется анекдотом, ходившем в то время в обществе. В ожидании выхода государя несколько министров разговаривали между собою, и Вронченко нюхал табак. В эту минуту, как государь вошел, у него между пальцами была щепоть, и он опустив руку, стал понемногу выпускать табак на пол. Меньшиков, заметив это, улыбнулся; но государь резко сказал, что подданному делает честь, если он боится своего государя. Немудрено, что в верховных правительственных сферах, а также в окружающем двор высшем аристократическом обществе произошло громадное умственное и нравственное понижение. Чтобы убедиться в этом, стоит сравнить людей, которых Николай получил от своего предшественника, и тех, которых он передал своему преемнику. Когда пришлось приступить к реформам, среди сановников не оказалось ни одного, который был-бы в состоянии руководить делом. На сцену выступили второстепенные деятели, проникнутые либеральным духом и скрывавшиеся прежде в тени.

Такое же понижение произошло и во всех сферах администрации. При всей безграничности своей власти, Николай не умел провести даже той реформы, которая ближе всего лежала у него к сердцу,—освобождение крестьян. Он чувствовал, что Россия не может оставаться при том необузданном помещичьем праве, которое в то время господствовало у нас. Он любил безграничную власть, но в своих, а не в чужих руках; а тут было соперничество; все что отдавалось помещику, отнималось у правительства. Но русского дворянства он опасался, а потому не решался принять сколько-нибудь действительные меры. Под конец вопрос совершенно замолк.

В последние годы царствования деспотизм достиг самых крайних размеров, и гнет сделался совершенно невыносим. Всякий независимый голос умолк; университеты были скручены; печать была подавлена; о просвещении никто уже не думал.

В официальных кружках водворилось безграничное раболепство, а внизу накипала затаенная злоба. Все, повидимому, повиновалось беспрекословно; все ходило по струнке. Цель монарха была достигнута; идеал восточного деспотизма водворился в русской земле.

И вдруг все это столь сурово оберегаемое здание оказалось гнилым в самом основании. При первом внешнем толчке обнаружилась та внутренняя порча, которая подтачивала его со всех концов. Администрация оказалась никуда не годною, казнокрадство было повсеместное. Положиться было не на кого; везде царствовала неспособность. Даже армия, любимое детище царя, лишена была самых необходимых для действий орудий, и все доблести русского солдата тратились напрасно в неравной борьбе. В то время, как для забавы императора вводились ружья, которые на маневрах в одно мгновение производили известный звук, ружья, служащие для настоящей стрельбы, были совершенно негодны. Все было устремлено на одну внешность, а о существе дела никто не заботился. И вот одна за другою стали приходить страшные вести. Презираемый враг вступил на русскую землю, осаждал первоклассную крепость; знаменитый черноморский флот погиб; все попытки отразить неприятеля кончались поражением.

Николай этого не вынес. Он разом свалился, и с ним вместе рухнул и весь державшийся им строй. Для России наступала новая пора, которая вслед за радужными надеждами должна был принести свои скорби и свои разочарования, но уже иные, нежели прежде. Прошлое было похоронено навеки. Вместе с царскою колесницею оно двигалось в Петропавловский собор.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В НАЧАЛЕ НОВОГО ЦАРСТВОВАНИЯ

Приехав в Петербург в день похорон Николая I, я на этот раз пробыл там довольно долго. Брат Владимир, у которого я остановился, занемог тифом. Мать, по этому случаю, приезжала на несколько дней из Москвы, и я остался при нем до конца апреля, пока он не оправился. Вскоре он, по совету докторов, вышел в отставку и переехал в деревню. Отец, который сам недомогал, передал ему управление имениями.

По обыкновению, я во все время пребывания в Петербурге, почти каждый день виделся с Кавелиным. Моею статьею о восточном вопросе он остался очень доволен и решил пустить ее в ход, но заметил, что с новым царствованием надобно писать другим тоном, более мягким и уважительным в отношении к правительству. Я сам был того мнения, и в виде пробы написал маленькую статью под заглавием: „Священный союз и австрийская политика". Кавелин ее одобрил и тоже пустил в ход. Впоследствии она была напечатана в „Голосах из России". В это время к нашему заговору присоединилось еще третье лицо, которого имени Кавелин мне, однако, не открыл. „Представьте, — сказал он мне однажды, — ко мне пришел один господин и сам взялся написать статью о прошлом царствовании, с целью пустить ее в ход в виде рукописи. Я, разумеется, ухватился за это обеими руками". Через несколько времени он принес мне обещанную статью, которая также была напечатана в „Голосах из России" под заглавием: „Мысли вслух об истекшем тридцатилетии"[1]. Впоследствии я узнал,

[1] См. ниже, стр. 162—163.

что автор ее был общий наш приятель, Николай Александрович Мельгунов, в то время проживавший в Петербурге.

Несмотря на продолжавшуюся войну, общее настроение в эти первые дни нового царствования было радостное и полное надежд. Все чувствовали, что дышать стало свободнее; все сознавали необходимость поворота во внутренней политике и с каким-то трепетным ожиданием устремляли взор к престолу. На первых порах пришлось, однако, запастись терпением. Кроме некоторой перемены лиц, которая произвела общее удовольствие, все оставалось пока по старому. Единственные преобразования, за которые тотчас принялся новый государь, состояли в перемене мундиров. На это с горестью смотрели все, кто дорожил судьбами отечества. С изумлением спрашивали себя: неужели в тех тяжелых обстоятельствах, в которых мы находимся, нет ничего важнее мундиров? неужели это все, что созрело в мыслях нового царя во время долгого его пребывания наследником? Вспоминали стихи, писанные, кажется, в начале царствования Александра I, и прилагая их к настоящему, повторяли:

И обновленная Россия
Надела красные штаны.

Непосвященные не подозревали, что образцы новых мундиров были готовы уже в последние дни царствования Николая Павловича, и молодой государь, издавая приказы о перемене формы, исполнял только то, что он считал последнею волею отца. К этому присоединялись ходившие по городу слухи об аристократических наклонностях нового царя. Петербургская чиновная и придворная знать возмечтала о том, что она будет играть первенствующую роль в государстве. По этому поводу остался у меня в памяти один разговор. Известный впоследствии писатель Владимир Павлович Безобразов, в то время еще молодой человек, только что выступавший на литературное поприще, однажды пригласил к себе вечером несколько гостей. Были Д. А. Милютин, Кавелин, Е. И. Ламанский[1] и я. Ламанский все время молчал, Кавелин предавался пламенным надеждам, а Милютин старался его отрез-

[1] Евгений Иванович Ламанский (1825—1902), известный финансист.

вить, указывая на то, что оснований для слишком пылких надежд пока еще нет, а есть, напротив, повод предполагать, что водворится господство придворной знати. С своею тихою и скромною манерою он рассказывал разные анекдоты, характеризовал лица; Кавелин становился все мрачнее и мрачнее. Мы вышли вместе. Мне с Милютиным приходилось итти по одной дороге; мы взяли первого попавшегося извозчика и сели. „Я нарочно несколько сгущал краски,— сказал мне Дмитрий Алексеевич,— зная впечатлительность Константина Дмитриевича и видя, каким он предается юношеским мечтам, я хотел посмотреть, как это на него подействует". На следующее утро, едва я встал с постели, влетает ко мне, как бомба, Кавелин. „Нет, Борис Николаевич,— воскликнул он,— неужели это возможно? Неужели после того страшного деспотизма, который тяготел над нами столько лет, придется еще выносить господство всей этой дряни?" Я рассмеялся и успокоил его, сказавши, что Милютин вовсе не считает этого дела очень серьезным. Однако, мы решили, что надобно пустить в ход статью об аристократии, которую я взялся написать.

С такими-то впечатлениями и с запасом рукописных статей, ходивших будто бы по рукам в Петербурге, я вернулся в Москву. Грановский остался очень доволен статьею о восточном вопросе. Он при мне сказал, что немного так хорошо написанных статей выходит и за границею, и согласился на это в доказательство, что если бы у нас была свобода печати, то явились бы таланты ныне неизвестные. Я умолчал об авторе, но внутренно почувствовал некоторое услажденне. Статья была сообщена и славянофильскому кружку; но Хомяков объявил, что она, очевидно, написана в противоположном лагере, а потому распространять ее не следует. Как истинный глава секты, Хомяков на все смотрел с точки зрения своей партии, между тем как западники усердно распространяли его патриотические стихи, не заботясь о том, в каком лагере они писаны. Впоследствии не малое удовольствие доставило мне слышать отзыв того же Хомякова по поводу моей „статьи об аристократии"[1], которой происхождения он

[1] „Об аристократии, в особенности русской", напеч. в „Голосах из России", кн. III, Лондон, 1857, стр. 1—113.

не подозревал. Он при мне уверял своих соумышленников, что она написана Юрием Федоровичем Самариным, и хотя последний упорно от этого отказывается, однако, по тону, слогу и мыслям не может быть ни малейшего сомнения, что она вышла из под его пера. Так хорошо он знал характеристические особенности своего ближайшего сподвижника! Я и тут промолчал, но внутренно смеялся довольно.

В Москве я остался недолго. Я стремился в деревню, чтобы приняться за работу. Передо мною открывалось новое поприще. Успех первого опыта в области публицистики меня ободрял, и я страстно предался новому делу. Надобно было высказать все, что мучало и волновало мыслящих людей в России, выразить как их негодование на прошлое, так и их планы для будущего. О перемене образа правления никто в это время не думал. Все понимали, что при крепостном праве и при вековом принижении общества это — дело несбыточное. Одно, чего мы жаждали, к чему мы стремились и чего ожидали от нового правительства, это — свободы умственной и гражданской. Эти стремления были красноречиво высказаны в „Мыслях вслух об истекшем тридцатилетии“: „Простору нам, простору! — восклицает автор. — Того только и жаждем мы, все мы, от крестьянина до вельможи, как иссохшая земля жаждет живительного дождя. Мы все простираем руки к престолу и молим: Простору нам, державный царь! Наши члены онемели; мы отвыкли дышать свободно. Простор нам нужен, как воздух, как хлеб, как свет божий! Он нужен для каждого из нас, нужен для России, для ее процветания внутри, для ее ограждения и крепости извне!“

Автор взывал и к обществу, предостерегая его от радикальных требований: „Одно последнее слово. Обращаюсь к вам, мои братья по родине, все равно, русские ли вы из Великой, Малой и Белой России, поляки ли, немцы или финляндцы, обращаюсь особенно к тебе, молодое поколение, цвет и надежда отечества. Пуще всего будем избегать опрометчивости, несбыточных желаний и целей, всего, что при неверной пользе могло бы нанести нам несомненный вред. Время радикализма, кажется, прошло и для Западной Европы. У нас же ему и не следует возникать; ибо у нас всякое начинание

истекает сверху. Да и показал горький опыт, что попытки снизу к насильственному изменению существующего вызывали одно лишь усиление строгости. Покажем полное доверие к молодому царю, к его благородному, прямому характеру, растворенному благодушием".

Те же мысли я старался развить в статье: „Современные задачи русской жизни", которая впоследствии была напечатана в „Голосах из России", однако, не в том виде, в каком она первоначально была мной написана[1]. Вполне понимая невозможность перемены образа правления в настоящем, я признавал его целью в будущем. В моих глазах оно должно было явиться окончательным результатом требуемых преобразований. Излагая свои взгляды в рукописной статье, не стесненный никакими цензурными соображениями, я высказал их с полною откровенностью. Но когда я дал прочесть свою статью Кавелину, он заметил, что об этой отдаленной цели лучше пока умалчивать. В настоящем это не принесет никакой пользы, а может только напугать правительство, которое увидит, куда его ведут. Я с этим согласился и переделал статью в этом смысле. Но так как эту работу пришлось совершать среди петербургской суеты, которая не давала мне возможности заняться формою, то статья вышла несколько растянутая и неуклюжая. Заключения же остались прежние: требовались свобода совести, уничтожение крепостного права, свобода общественного мнения, свобода печати, свобода преподавания публичность правительственных действий, наконец публичность, и гласность судопроизводства. Это была как бы программа нового царствования, которая и осуществилась на деле. В другой статье „О крепостном состоянии" указывались и те меры, которые следовало принять для освобождения крестьян: прежде всего ограничение произвольной помещичьей власти, затем, в виде переходного состояния, введение инвентарей, наконец, полное освобождение крестьян посредством выкупа тех земель, на которых они сидели[2]. Была написана статья и об аристократии. Брату Владимиру, который в это время вышел уже в отставку и поселился в деревне, я заказал статью

[1] „Голоса из России", кн. 4, стр. 51.
[2] Там-же в. II, ч. I, 1856, Л., стр. 127—229.

о полковых командирах и их хозяйственных распоряжениях, которая впоследствии также была напечатана в „Голосах из России“[1].

Среди этих усиленных занятий, о которых я, разумеется, не говорил родителям ни слова, из опасения возбудить в них беспокойство, протекло лето. С напряженным вниманием следили мы и за ходом военных событий; которые предвещали близкую развязку. Наконец, пришло известие о падении Севастополя. Как ни больно отозвалось оно в русском сердце, оно не только не принизило, а, напротив, подняло общий дух. Мы гордились подвигами наших героев и чувствовали, что Россия, обновившись, может воспрянуть с новыми силами. К этому обновлению устремились все помыслы. Люди, не увлекавшиеся слепым патриотизмом, хорошо понимали, что война кончена, что теперь предстоят подвиги мира. К этому они готовились, устремляя свои взоры на будущее. И вдруг, среди всех этих волнений и ожиданий, в нашей провинциальной глуши разразилась маленькая политическая гроза, которая произвела не малый переполох в патриархальной помещичьей среде. Это было первое явление такого рода в новом царствовании.

Однажды вечером, в начале осени, когда мы спокойно сидели в гостиной, мать вызывают таинственным образом. Посланный от соседки Софьи Николаевны Ивановой из рук в руки передает письмо, в котором последняя извещала, что жандармы делают обыски по всем помещичьим имениям, были у них и, вероятно, будут и у нас, а потому предупреждала, чтобы мы истребили все, что могло бы нас компрометировать. Бедная Софья Николаевна из страха сожгла всю свою историческую и политическую библиотеку, которую тщательно собирала в течение многих лет, и о которой впоследствии не могла вспомнить без слез. Мы, разумеется, не сделали ничего подобного, хотя и у нас было не мало запрещенных книг. О своих рукописных статьях я не промолвил ни слова и не думал их истреблять, а только запрятал их подальше. Мы ожидали прибытия жандармов; но, к счастью, до нас дело не дошло.

---

[1] Там-же: „О полковых командирах и их хозяйств. распоряжениях“.

Весь этот переполох произошел от довольно курьезного случая. По большой дороге между Рассказовым и Тамбовом шел дьякон. Он заметил висящий на ветке лист бумаги, снял его и увидел, что это какая-то прокламация. В чем состояла эта прокламация, осталось мне неизвестным. Никто из моих знакомых ее не видал, и в публике не ходило об этом никаких слухов. Но дьякон счел ее возмутительною. Дошедши до ближайшего села, он отправился к старосте, но не заставши его дома, передал бумагу его жене; сам же прибывши в город, счел долгом довести об этом до сведения жандармского начальства. Послан был жандарм произвести следствие. Он нашел прокламацию валяющуюся под лавкою, но ничего другого открыть не мог. Местные власти, не придавая этому делу особенного значения, на том его и прекратили и донесли о результате в Петербург. Но там взглянули на это иначе. Присланы были специальные следователи, которые, однако, в свою очередь, не могли открыть ничего.

Но тем бы дело и кончилось, если бы к этому не примешалась ходившая по рукам моя статья о восточном вопросе. Проездом через Тамбов я передал ее Николаю Александровичу Мордвинову, который в то время жил в Тамбове, производя ревизию. Лично я с ним не был знаком, но имел к нему письмо от Кавелина. Остановившись в Тамбове довольно рано утром для перемены лошадей, я отправился к нему, велел его разбудить и вручил ему письмо вместе с статьею, которую он тотчас пустил в ход. В то время как приезжие из Петербурга чиновники производили следствие о прокламации, к местному жандармскому полковнику приходит однажды один из офицеров и доносит, что, кроме прокламации, по городу ходят и другие возмутительные писания. Одно из них читалось даже вслух у директора кадетского корпуса, Пташникова. Доноситель прибавил, что он считает своим долгом сообщить об этом и приезжим из Петербурга следователям. Полковник испугался, и во избежание нареканий решился сделать обыск у начальника корпуса. Тот немедленно выдал брошюру и сказал, от кого он ее получил. Таким образом, расследование пошло от одного к другому; жандармы разъезжали по деревням, и невинные помещики, никогда не видав-

шие такой напасти, самым откровенным образом выдавали друг друга. Петр Степанович Иванов сказал даже, что он получил статью от жены, и уж жандармский офицер просил не путать ее в это дело. Понятно, какой страх распространился в мирной деревенской глуши; это было нечто невиданное и неслыханное. Скоро, однако, розыски остановились именно на тех двух лицах, которым статья была передана мною, именно на Мордвинове и Якове Ивановиче Сабурове. Последний заявил, что он статью получил от своего приятеля, Льва Кирилловича Нарышкина, не задолго перед тем умершего. На этом след прекратился. Мордвинов же отперся во всем и просидел три месяца в крепости, после чего его выпустили и дали ему место по удельному ведомству. Тем и кончилась эта трагикомедия, жертвою которой сделалась только библиотека бедной Софьи Николаевны Ивановой. Это было уже не то время, когда людей за пустое слово или даже просто по подозрению ссылали в отдаленные губернии. В нашей семье с самого начала на этот счет не было никакого беспокойства. Мы только смеялись доходившим до нас рассказам.

Совершенно иное впечатление произвело на нас известие, неожиданно пришедшее из Москвы. Грановский внезапно скончался. Это был как громовой удар среди ясного неба. Со времени нашего переезда в Москву, Грановский сделался одним из самых близких нам людей. Для меня лично это был высший идеал человека; я был предан ему всею душою. И так недавно еще я видел его бодрым, здоровым, исполненным веры в будущее. После невыносимого гнета, под которым должно было умолкнуть всякое живое слово, он готовился с обновленными силами выступить на литературное поприще. Ему разрешено было издание исторического журнала, и он возвратился из деревни с тем, чтобы приняться за работу. И вдруг, нежданно, негаданно, на заре новой эры, его сразила смерть. С невыносимою сердечною болью читали мы описание торжественных похорон и глубоко прочувствованные статьи, в которых воздавалась должная дань умершему. Трудно сказать, какую роль он мог бы играть при новом повороте русской жизни. Он один имел довольно таланта и авторитета, чтобы

соединить вокруг себя все научные силы, чтобы направлять и умерять общее движение. Он один способен был высоко держать знамя мысли и науки и не дать ему погрязнуть в мелких распрях, в односторонних практических увлечениях, в пустозвонной журнальной болтовне. Можно думать, что если бы он остался жив, русская литература получила бы более благородное и плодотворное направление. Но этому не суждено было сбыться. Он остался в памяти всех, как лучший представитель людей сороковых годов, как благороднейший носитель одушевлявших их идеалов, идеалов истинно человеческих, дорогих сердцу каждого, в ком не иссякло стремление к свободе и просвещению. Чистый и изящный его образ был как бы живым воплощением этих идеалов. Как часто мы обращались к нему в последующее время, при постепенном упадке русской литературы, когда среди разыгравшихся страстей, узких взглядов и низменных интересов более и более иссякала в ней нравственная струя! Как часто мы говорили: что́ бы сказал об этом Грановский? То ли было бы, если бы жив был Грановский? Но он ушел, оставив после себя пустоту, которую ничто не могло наполнить. Заменить его никто не был в состоянии; председательское место осталось незанятым. Надобно было совокупными силами стараться как нибудь возместить невознаградимую потерю.

Над свежею еще могилою произошло это соединение. Еще будучи в деревне, я прочитал в газетах объявление об издании „Русского Вестника". Все друзья и товарищи Грановского были тут. Во главе стояли Катков, Леонтьев, Кудрявцев и переехавший из Петербурга Корш. В числе сотрудников я увидел и свое имя, еще не появлявшееся в печати, но уж известное в литературном мире. Все, что примыкало к либеральному кружку московских профессоров, все так называемые западники, почитатели науки и свободы, соединялись для общего дела. Столько лет подавленное слово могло, наконец, высказаться на просторе.

Под этими впечатлениями я перед Рождеством приехал в Москву. Разумеется первая поездка была в столь знакомый мне флигель дома Фроловой в Харитоньевском переулке. Вдова Грановского после смерти мужа слегла в постель, и я

мог видеть ее только несколько дней спустя. Но я вошел в опустевший кабинет; заливаясь слезами, увидел я хорошо знакомую мне обстановку, большое кресло, на котором он обыкновенно сидел, пюпитр на котором он писал. Образ умершего, с его умным взглядом, с его приветливою улыбкою, воскрес в моей душе, и я еще живее почувствовал всю горечь утраты. Вернувшись домой, я, можно сказать, с обливающимся кровью сердцем написал посвящение памяти умершего наставника своей магистерской диссертации, которую я собирался издавать и которая была им прочитана и одобрена.

Я остановился у младших братьев, которые были тогда студентами. Они квартировали в нижнем этаже так же хорошо знакомого мне дома Яниш, на Сретенском бульваре. Наверху жили Павлов и Мельгунов. Этот дом, принадлежащий ныне Маттерну, после смерти старика Яниш, достался Каролине Карловне. Сама она после катастрофы постоянно жила за границею, а так как Мельгунов был одним из главных кредиторов, то он заставил ее дать доверенность мужу для окончательной ликвидации дел. Но о частных делах в то время всего менее думали. Какой-то электрический ток носился в воздухе. Все были полны надежд и ожиданий; все порывались к общественной работе. В редакции „Русского Вестника" меня приняли самым дружелюбным образом, и я обещал написать давно назревшую у меня статью о сельской общине в России, за которую тотчас и принялся. Затем я собирался в Петербург, чтобы отвезти Кавелину свои рукописи. На пути из деревни, а также и в Москве я тщательно их прятал, ибо история с статьею о восточном вопросе не была еще кончена, и я ежеминутно мог опасаться, что меня арестуют, так же как Мордвинова. Однако, еще в Москве пришлось вывести на свет свои тайные писания.

Однажды Мельгунов по секрету сообщил мне, что у него есть рукописная статья, которая ходит по рукам. Я тотчас-же изъявил желание прослушать ее и снять с нее копию. Он прочел мне, сколько помнится, „Приятельский разговор", напечатанный впоследствии в „Голосах из России". Чтобы не остаться у него в долгу, я с своей стороны сказал ему, что и у меня есть подобная же рукопись, ходящая в публике, и

прочел ему одну из своих статей. Во время чтения он взглянул на меня через свои очки и, усмехнувшись, сказал: „Мы с вами, кажется, как авгуры, понимаем друг друга“. Дело тотчас выяснилось. Он открыл мне, что он автор „Мыслей вслух“, а я сознался в своем сотрудничестве в рукописной литературе. Союз был заключен.

Признаюсь, я получил тут более высокое понятие о Мельгунове, нежели я имел до тех пор. Я знал его давно; он был одним из самых близких приятелей Павлова, и я со студенческих лет встречал его постоянно, бывал у него, и он бывал в нашем доме. Он был человек очень образованный, много читал, много путешествовал, и полон был умственных интересов. Никто не сомневался в его безукоризненной честности и доброте. А между тем даже лучшие его приятели говорили о нем всегда с некоторою иронией. Во всем его существе была какая-то медленность, неуклюжесть и тяжеловатость, которые для посторонних заслоняли его прекрасные качества и делали его малопривлекательным в обществе. Он и сам это сознавал. Грановский рассказывал мне, что однажды Мельгунов его тронул, признавшись, что он сам чувствует себя непомерно скучным. Он объяснял это тем, что в детстве он как-то ушиб себе голову, и с тех пор в его мозгу все совершается необыкновенно медленно. Шутки он понимал и начинал смеяться, когда уже все давно стали говорить о другом. Когда же он сам принимался шутить, то выходило нечто весьма курьезное. Однажды в ту пору, как Павлов издавал „Наше Время“, Мельгунов пришел к обеду с важным видом и объявил, что он принес статью для журнала. После обеда мы уселись слушать, но пришли в полное недоумение: статья начиналась с того, что теперь в Москве очень холодно; чтобы помочь этому горю, предлагалось провести подземные трубы из Сахары. Этот проект излагался необыкновенно пространно и подробно. Наконец, Павлов не вытерпел: „Да, ради бога,— воскликнул он — что же это, наконец, такое?“—„Ну как же ты не понимаешь? — отвечал Мельгунов; — это шутка. Ведь нельзя же в газете печатать одни серьезные статьи, надобно иногда позабавить публику. Вот я для тебя и придумал“.— Ему с трудом могли объяснить, что шутка должна быть прежде всего

смешна. Павлов, который в иронии был великий мастер, нередко потешался над своим приятелем и писал на него забавные стихи. Помню следующую пародию на песню Земфиры:

Старый друг, верный друг,
Режь меня, жги меня,
Фейербаха люблю,
Умираю любя.

Он зимы холодней,
Суше летнего дня,
Как он мыслью своей
Развивает меня!

Как читаю его
Я в ночной тишине,
Как смеюся тогда,
Я родной стороне!

Но Мельгунов влюблялся не в одного Фейербаха. Под этою серьезною и холодною наружностью, под этою медленностью в манерах и речах скрывались пылкие страсти — к женщинам и к игре. Всякая женщина могла поймать его на удочку и вертеть им, как хотела. В тот год, когда мы вступали в университет и жили на даче около Петровского парка, вдруг из Германии пришло известие, что Мельгунов женился и едет в Москву. Павлов и Шевырев, которые оба были ближайшими его друзьями, отправились с букетами на первую станцию, чтобы встретить молодую чету. На обратном пути они заехали к нам, как опущенные в воду. Оказалось, что Мельгунова подцепила какая-то в черных локонах еврейка, с которою он связался и которая женила его на себе. Можно себе представить, как она пришлась к московскому литературному кружку. Чтобы веселить свою супругу, Мельгунов давал маленькие балы, на которые приглашал всякого рода молодых людей. Но супруга все-таки скучала неистово и несколько лет спустя уехала обратно в Германию, бросив мужа, который дал ей порядочную сумму денег. На этом он не остановился; похождения продолжались до преклонных лет. От большого состояния не осталось почти ничего. Когда я поехал за границу, я навестил его в Гомбурге, где нашел его без гроша, но с француженкой и при рулетке.

Для поправления обстоятельств он принялся писать романы, ожидая от них большой прибыли. На этом поприще он подвизался еще в молодых летах. Мне однажды попалась в руки небольшая книжка его юношеских рассказов. Редко мне случалось читать что-нибудь более забавное по своей нелепости. Это были какие-то бесконечно запутанные сети самых невозможных интриг. Романы, писанные им в старости, кажется, никогда не появлялись в печати, по крайней мере имя его оставалось неизвестным. Но об них ходили разные анекдоты. Однажды П. В. Анненков встречает его на улице, против обыкновения быстро шагающего с озабоченным видом. „Куда это вы так спешите, Николай Александрович?" — спросил он. „Бегу к Краевскому. Я пишу для него роман и хочу попросить его съездить к цензору и спросить, как лучше в цензурном отношении: чтобы мой герой утопился или чтобы он сделался счастлив? Для меня это безразлично."

К романам у него, очевидно, не было ни малейшего таланта. Но политические статьи, напечатанные в „Голосах из России", как то: „Мысли вслух об истекшем тридцатилетии", „Россия в войне и мире", „Приятельский разговор", показывают, что он вовсе не был лишен дарования. Они написаны умно, последовательно, живо, в умеренном тоне, местами даже с некоторым красноречием. Ясно, что это было настоящее его призвание. Если бы он ему последовал, то с его образованием и его основательностью, он мог бы занять довольно видное место в нашей литературе. Но он принялся за это уж на старости лет, и его хватило лишь на несколько статеек.

С нетерпением ожидали мы выхода первой книжки „Русского Вестника". Я с жадностью на нее накинулся, как только получил ее в руки. Но увы, какое было горькое разочарование! Более чем посредственная повесть Евгении Тур, скучнейшая статья Кудрявцева о Карле V и, наконец, статья Каткова о Пушкине, вот все существенное, что в ней заключалось. Я думал в последней, по крайней мере, встретить живое слово; читаю, читаю и нахожу только один безконечный туман. В отчаянии я побежал наверх к своим сожителям и прочел им несколько страниц, в которых невозможно было отыскать какой-либо смысл. Мы повесили головы. Стоило ли собирать

все наличные литературные силы, чтобы после долгого молчанья явиться перед публикой с таким результатом? Мы вспоминали первую книжку „Современника“ 1847 года и сравнивали ее с первенцем нынешней московской редакции. Одна была надежда, что с появлением словянофильского органа, который тоже был разрешен, оживится полемика, и выдвинутся на первый план серьезные современные вопросы. Эта надежда нас не обманула.

Сдавши в редакцию статью о сельской общине, я поехал в Петербург и представил Кавелину свои рукописные произведения. Он выразил мне полное удовольствие и заметил только, как уже сказано выше, что о возможности перемены образа правления в будущем лучше пока умалчивать, а, напротив, следует напирать на то, что теперь этого никто не желает. Решено было послать всю нашу рукописную литературу для напечатания к Герцену, который в это время начал издавать „Колокол“ и призывал всех русских к содействию. Однако, направление Герцена, выразившееся в „Полярной Звезде“ и в разных речах и брошюрах, было до такой степени противно нашим целям и убеждениям, что мы нашли вместе с тем нужным послать ему письмо с заявлением несогласия с его взглядами. Уже Грановский возмущался „Полярною Звездою“ и перед смертью писал Кавелину, что у него чешутся руки отвечать Герцену в собственном его издании. Теперь, когда перед нами открывалось новое политическое поприще, по которому надобно было итти с крайнею обдуманностью и осторожностью, протест был вдвойне необходим. Я взялся его написать. Это было „Письмо к издателю“, напечатанное в виде предисловия к „Голосам из России“. Одобрив его вполне по существу, Кавелин счел однако нужным прибавить нечто от себя в более мягком тоне. Он приделал начало, так что письмо вышло писанное двумя руками. Первая половина, до 20-й страницы, принадлежит Кавелину, вторая половина мне. В таком виде оно и появилось в „Голосах из России“[1].

Вернувшись в Москву, я нашел первую половину своей статьи „О сельской общине“ уже напечатанною в „Русском

[1] „Голоса из России“, в. I, Лондон, 1856 (подпись: „русский либерал“).

Вестнике". Вопрос был животрепещущий, и статья произвела эффект; все о ней говорили. Я с некоторым удовольствием увидел впервые свое имя в печати; однако, не полюбопытствовал даже просмотреть статью, чтобы удостовериться, нет ли в ней опечаток. И что же оказалось? Несколько дней спустя, приходит ко мне корректор „Русского Вестника" с листками второй половины, которая должна была явиться в следующей книжке. Он показывает мне два листка, которые не знает, куда приклеить. Я начинаю разбирать и к ужасу своему вижу, что эти листки принадлежат к первой половине. Они по ошибке были пропущены, а между тем заключали в себе самое существенное. Я немедленно полетел к Каткову. Не могу и теперь без смеха вспомнить его сконфуженную и растерянную физиономию при этом известии. Пришлось всю статью перепечатать вновь в следующем нумере. Любопытнее всего то, что никто из читавших не заметил этого пробела. Это показывает, как у нас тогда печатали и как читали[1].

Наконец, вышел и первый нумер „Русской Беседы". Вслед за тем возгорелась полемика. Оба лагеря стояли теперь друг против друга, во всеоружии, каждый с своим органом. Опишу главных деятелей, как я их знал и понимал. Постараюсь по возможности отрешиться от чисто личных отношений, давно похороненых на кладбище прошлого, хотя, разумеется, могу передать только свои личные впечатления. В этом, в сущности, заключается вся цель и все значение воспоминаний. Пускай другие изобразят тех же людей с той стороны, с какой они их знали.

Во главе „Русского Вестника" стояли Катков, Леонтьев и Корш. Из них первенствующую роль играл Катков. Как сказано выше, я был его слушателем, но лично почти не был с ним знаком и тут в первый раз узнал его поближе. Он с самого начала произвел на меня неблагоприятное впечатление. Его маленькие, тусклые и блуждающие глаза, обличавшие что-то затаенное и недоброе, глухой его голос, его то смутная, то порывистая речь, то растерянные, то слишком

[1] „Обзор исторического развития сельской общины в России" („Русск. Вестник", 1856, т. I, стр. 373—386, 579—602, перепеч. в „Опытах по истории русского права", М., 1858).

решительные приемы, отсутствие той искренности и общительности, которые привлекают и связывают людей, все это несколько меня отталкивало. Я чуял в нем недостаток истинно человеческих чувств и спорил о нем даже с близкими людьми, которые подкупались его умом и талантом. Последствия показали, что мое чутье было верно.

Катков бесспорно был человек чрезвычайно умный и даровитый. Он обладал широким литературным образованием и умел выражаться ловко, изящно, иногда даже красноречиво. К сожалению, он в молодости подготовлялся специально к тому, что вовсе не было его призванием. Кончив курс на словесном факультете, он еще очень молодым человеком примкнул к кружку Станкевича и Белинского, в котором господствовали отвлеченные философско-литературные интересы. И он вступил в него именно в ту пору, когда главное лицо этого кружка, Станкевич, которого глубокая и изящная натура давала возвышенное направление всем окружающим, уехал за границу. Его влияние заменилось сухою диалектикою Бакунина, который остался главным толкователем немецкой философии в Москве. Он сбивал с толку Белинского; под его влиянием и Катков начал свои философские занятия. Затем он отправился в Берлин, где слушал лекции Шеллинга. Он сделался приверженцем его мистической мнимо-положительной философии, с которою соединял и поклонение реалистической психологии Бенеке. Уже это одно сочетание показывает, что философского смысла было мало. Непонятные лекции, читанные им в Московском университете, еще более обнаружили царствующий в голове туман, который переходил и на литературные взгляды. Об этом свидетельствует смутившая меня статья о Пушкине. Очевидно, Катков не в состоянии был давать философское и литературное направление журналу. Впоследствии выяснилось, что истинное его призвание была публицистика; но именно к этому он вовсе не был подготовлен. Историческое его образование было весьма скудное, юридическое отсутствовало совершенно, а политическое ограничивалось верхушками, хватаемыми из газет. Погрузившись в журнальную деятельность, он, конечно, не мог восполнить этого недостатка. При всем его уме, таланте и живом чутье общественных течений, всегда ощущалось отсут-

ствие прочного основания. У него не было ни зрело обдуманных взглядов, ни выработанных жизнью убеждений. В течение всей своей публицистической деятельности он не высказал ни одной серьезной политической мысли. Постоянно ратуя во имя тех или других принципов, он никогда не касался применения, а если что предлагал, то всегда невпопад. Самые принципы менялись у него по воле ветра. Он отдавался одностороннему потоку с тем холодным увелечением, которое было свойственно ему, так же как и учителю его Бакунину; но лишенный твердой основы, он легко переходил от одной крайности в другую, сегодня покрывая позором то, что он возвеличивал вчера. Такие повороты ничего ему не стоили. Это не было страстное искание истины, как у Белинского, который, будучи также лишен основательной подготовки, путем внутренней борьбы и мучений переходил от одного взгляда к другому, по мере того, как перед ними открывались новые горизонты. У Каткова повороты вызывались чисто практическими потребностями, к которым примешивались и личные рассчеты. Они всегда клонились к его выгоде. И раз он эту выгоду узрел, он шел к ней неуклонно, не взирая ни на что и не допуская никаких возражений. А так как при этом самолюбие было громадное, а уважения к чужому мнению не было ни малейшего, то все должно было подчиняться временно составившемуся у него убеждению. Мысль редакции должна была служить законом для сотрудников. Естественно, что при таком направлении, журнал не мог сделаться центром и органом для людей, обладающих самостоятельною мыслью. Тут требовались клевреты, а не сотрудники. Сначала, все что было мыслящего в Москве и что не принадлежало к славянофильскому направлению, собралось около редакции „Русского Вестника“. Пока издание не упрочилось, в виду собственных выгод редакция воздерживалось. Но не прошло двух лет, как один за другим все сколько-нибудь самостоятельные люди были вытеснены, и „Русский Вестник“ остался личным органом Каткова. Ниже я расскажу эту печальную повесть.

Однако, у редактора было слишком мало собственного серьезного содержания, чтобы дать жизнь и направление периодическому изданию, которое должно было служить проводником всех разнообразных человеческих интересов, составлявших

потребность современности. Истинное его поприще была ежедневная газета. Как скоро он получил „Московские Ведомости“, „Русский Вестник“ перешел в руки второстепенных агентов и потерял всякое общественное значение. Сам же Катков всецело отдался газете, в которой вполне проявились как его блестящие, так и его непривлекательные стороны. Тут он мог с чутьем истинного журналиста следить за каждым дуновением ветра, как снизу, так и сверху, играть страстями, возбуждать всякие темные инстинкты, прикрывая их возвышенными целями, вести самую задорную ежедневную полемику, в которой он был первый мастер. Чтобы выказался его талант, ему нужна была борьба, и он отдавался ей весь, забывая все остальное, кидаясь сам в противоположную крайность, и стараясь всячески забросать грязью противника. Никто не умел так ругаться, как он. Он делал это с тем большим успехом, что не стеснялся ничем. В нем было полное отсутствие всякой добросовестности, всякого нравственного чувства, даже всяких приличий. Уважающие себя люди перед этим отступали. Не было возможности вести полемику с Катковым, не замаравшись. Но на массу русской публики, не привыкшей к приличию и не вникающей в смысл печатного слова, это действовало тем более неотразимо, что самая площадная брань выступала во имя высоких чувств и потакала общественным страстям. Это проявилось особенно резко во второй период его журнальной деятельности, когда он от крайней англомании, которою он одержим был в первые годы издания „Русского Вестника“, внезапно повернул к исключительному патриотизму. С верным практическим чутьем, Катков в критическую минуту ухватился за патриотическое знамя и с свойственным ему талантом поднял его так высоко, что даже порядочные люди могли ему сочувствовать. Но это было одно мгновение. Лишенный всякой нравственной основы, скоро он это знамя окунул в пошлость и грязь. Святое чувство любви к отечеству было низведено им на степень чисто животного инстинкта, в котором исчезало всякое понятие о правде и добре, и оставался один народный эгоизм, презирающий все, кроме себя. Это было явление новое в тогдашней литературе. Исключительный патриотизм славянофилов основывался на том, что они в русском

народе видели носителя высших христианских начал, провозвестника новых, неведомых миру истин. Патриотизм настоящих западников состоял в усвоении для отечества высших плодов европейского просвещения. Катков разом откинул всякие человеческие начала и выступил защитником народности в самой низменной ее форме, с точки зрения чисто реальных интересов, понятых в совершенно матерьяльном смысле. Все должно было безусловно преклоняться перед грубою силою русского государства, налагающего однообразную печать на все подчиненные ему жизненные сферы. Всякое самостоятельное проявление жизни считалось изменою; всякий возражатель объявлялся врагом отечества. Это была именно та форма патриотизма, которая ближе всего подходила к самым пошлым воззрениям масс. И толпа благоговейно внимала этому новому журнальному богатырю, ополчившемуся пером на защиту Русской земли. Вяземский метко характеризовал это настроение значительной части тогдашнего русского общества:

Все это вздор, но вот, в чем горе:
Бобчинских и Добчинских род,
С тупою верою во взоре,
Пред ним стоит, разинув рот;
Развесят уши и внимают
Его хвастливой болтовне
И в нем России величают
Спасителя внутри и вне.
О, Гоголь, Гоголь, где ты? Снова
Возьмись за мастерскую кисть
И, обновляя Хлестакова,
Скажи: да будет смех! и бысть.
Смотри, как он балясы точит,
Как разыгрался в нем задор,
Теперь он не уезд морочит,
Он всероссийский ревизор!

Катков был, однако, слишком умен, чтобы довольствоваться поклонением толпы; оно было ему нужно только как орудие. В сущности, он презирал русское общество и сам говорил, что для него не стоило бы даже писать. На общественные собрания он никогда влияния не имел. Он пробовал действовать в Московской городской думе, но весьма неудачно. Я присутствовал в числе публики на заседании, в котором он делал

разные предложения и при голосовании вставал за них один одинехонек. Вследствие этого он точас вышел из гласных и с тех пор возненавидел выборные собрания, обзывая их пустыми говорильнями. В одной газетной болтовне он видел спасение, ибо это было его ремесло. Журналист, возбуждающий общественные страсти и с помощью их действующий на правительство, таков был его идеал. Скоро, однако, он убедился, что этого недостаточно. Он слишком возмечтал о своей силе и пересолил. Дерзость его дошла до того, что даже колеблющийся Валуев принужден был принять решительные меры: журнал был приостановлен. Тогда он обратился к другим средствам. Он написал государю письмо, вследствие которого выход „Московских Ведомостей" был снова разрешен до истечения срока. Е. Ф. Тютчева, которой императрица давала прочесть это письмо, говорила, что она никогда в жизни не читала ничего более подлого. Катков начинал с того, что он родился в один год с государем и считал себя призванным прославлять его царствование. С своею проницательностью и полною неразборчивостью в средствах, он понял, что в самодержавном правлении грубая лесть составляет самое надежное орудие действия и с тех пор выступил рьяным защитником власти. Последовавшие затем покушения нигилистов могли только усилить его значение. Правительство видело в нем опору. И эта лесть продолжалась до той минуты, когда государь, которого он рожден был прославлять, пал жертвою убийц. Тогда он принялся кидать в него грязью, позорить все славные дела его царствования. Началась лесть другого рода; проповедывалось возрождение павшего правительства: „Господа вставайте! Правительство идет, правительство возвращается!" И это бесстыдное каждение, в свою очередь, вызымело свое действие. Катков из за журнального стола сделался чуть ли не властителем России. Министры перед ним трепетали; второстепенных чиновников он трактовал, как лакеев. Несчастный Делянов, всегда трусливый и раболепный, делал все, что требовал его журнальный патрон. Граф Толстой, который терпеть не мог Каткова за то, что тот опрокинулся на своего прежняго союзника после его падения во времена Лорис-Меликова, считал все-таки нужным его поддерживать и с ним считаться.

В угоду Каткову, без малейшего повода и без малейшего смысла, все русские университеты были поставлены вверх дном. И на этот раз, однако, он зазнался и пересолил. Он вздумал быть такою же силою в иностранных делах, какою был в делах внутренних. С переменою царствования он и тут произвел внезапный поворот фронта, стараясь подладиться к новому направлению: из защитника союза с Германиею он вдруг сделался поборником союза с Франциею. Но не довольствуясь журнальною пропагандою, он захотел влиять на самый ход дел и дошел до того, что от себя посылал в Париж известного негодяя, генерала Е. В. Богдановича, чтобы вести переговоры с французским правительством. Рядом с этим он пытался обделать и свои денежные делишки: выхлопотать новые, значительные субсидии для основаннаго им и Леонтьевым на казенные деньги лицея, состоявшего в полном его распоряжении. Все это всплыло наружу и повредило ему при дворе. Перед смертью ему оказана была немилость, которая, говорят, ускорила его конец.

Немного людей в России, которые сделали столько зла отечеству. Он низвел русскую литературу с той идеальной высоты, на которой она стояла в начале царствования Александра II и потопил ее в болотную грязь. Выступив на журнальное поприще в то время, когда спали узы, стеснявшие русскую мысль, и когда именно журналистика получила преобладающее значение, он с своим умом и талантом занял в ней первое место. Но вместо того, чтобы высоко держать благородное знамя, завещанное предшественниками, он отбросил всякие нравственные требования и даже всякие литературные приличия. Он русских писателей и русскую публику приучил к бесстыдной лжи, к площадной брани, к презрению всего человечества. Он явил развращающий пример журналиста, который, злоупотребляя своим образованием и талантом, посредством наглости и лести достигает невиданного успеха. И этот успех он обратил в орудие личных своих целей. Он поддерживал то, что доставляло ему выгоду, даже то, что ему хорошо оплачивалось. Железнодорожные деятели приносили ему крупные суммы. Мне подлинно известно, что учредители Моршанско-Сызранской линии дали ему из рук в руки 5000 рублей. По

достоверным сведениям, он пользовался и приношениями евреев. После его смерти, его наивная жена потребовала из Московскаго Поземельного банка на десять тысяч купонов, с лежавших там бумаг ее мужа, и не хотела верить, когда ей объявили, что никаких бумаг там не обретается: эти десять тысяч были ежегодным приношением Лазаря Соломоновича Полякова. Все расчеты университета по аренде „Московских Ведомостей", благодаря жалкому министерству, обращались к обогащению редакции. Но Катков не довольствовался приобретением крупного состояния; ему нужны были власть и влияние. Пока он думал, что можно получить их, опираясь на общественное мнение, он был рьяным либералом; но как скоро он понял, что гораздо выгоднее опираться на правительство, он сделался главным проводником и глашатаем той тупой реакции, которая тяжелым бременем легла на Россию.

Прежде всего, его деятельность проявилась в близкой ему сфере народного образования. Бывший профессор и защитник университетов, он, потерявши в них почву, предпринял против них поход, которого бесстыдство тем более поразительно, что ему хорошо были известны истинные отношения. Он сознательно и намеренно представлял все в совершенно превратном виде. Благодаря Каткову, в университетах водворился хаос, погубивший многие поколения. Об этом я ниже расскажу подробно. Такими же личными целями направлялся и его поход в пользу классического образования. Сам он был классический филолог, а друг его Леонтьев был професор древних языков. Оба они задумали на заимствованные у казны средства основать классический лицей, который должен был служить центром, образцом всего среднего и даже высшего образования в России. В этих видах и печатно, и за кулисами они стали проводить крайнюю классическую программу, для которой и общество не было приготовлено, и правительство не имело надлежащих орудий. Но об этом никто не заботился. Начертать программу в кабинете, конечно, гораздо легче, нежели приготовить хороших учителей. Вместо того, чтобы соображаясь с практикою улучшить умеренно классический устав 1863 г., хотели произвести огромный эффект и разом перевернуть всю систему. Для достижения этой цели пускались в ход всякие средства. Невинных членов

Государственного совета, не имевших понятия о классических языках, Катков успел убедить, что ничто так не способствует развитию консервативных идей, как зубрение латинской и греческой грамматики. На русские школы разом была наложена формальная схема, которая не могла иметь иных последствий, как возбуждение в русском обществе ненависти к классическим языкам. Истинные друзья классицизма не могли об этом не скорбеть. И когда в настоящее время, под напором вопиющей действительности, приходится, наконец, разделывать ту сеть бездушного классического формализма, которою Катков опутал и учреждения и умы, эта задача возлагается на тех же ничтожных клевретов, которыми он наполнил министерство. При таких условиях, о серьезном улучшении не может быть речи. Долго еще русское просвещение не в состоянии будет залечить те раны, которые нанес ему этот человек.

С таким же бесстыдством выступил он в поход против выборного начала и против независимого суда, изыскивая и раздувая все, что могло набросить тень на юные, неокрепшие еще учреждения, столь недавно горячо им приветствованные, стараясь всячески подорвать к ним доверие как правительства, так и общества. Всякая независимость сделалась ему ненавистна. Забыв все, что мы пережили в царствование Николая, он спасение видел только в необузданном самовластии сверху и в раболепном подчинении снизу. И русские Бобчинские и Добчинские, которые преклонялись перед его патриотизмом, последовали за ним и в его реакционных стремлениях. Катков воспитал целое поколение молодых подлецов. Самое московское дворянство, которое после освобождения крестьян вдруг возымело конституционные поползновения, позднее к вечному стыду своему, призывало этого наглого хулителя всего, что составляет достоинство человека, и поручало ему составлять от его имени раболепные адреса. Трудно сказать, в какой сфере развращающая его деятельность оказалась сильнее, в правительственной или в общественной. И когда, наконец, главный проповедник начал, составлявших давнишнюю язву русского общества, сошел в могилу, дух его остался и продолжает свою тлетворную работу. Нам, современникам, испытавшим на себе все зло, принесенное этою бессмысленною и неразборчивою на средства

реакциею, приветствовавшим зарю нового порядка вещей, основанного на законе и свободе, и видящим возрождение старого, трудно говорить об этом беспристрастно. Конечно, главные виновники зла бездушные нигилисты, которые сбили Россию с правильного и законного пути; но анархическому безумию люди, дорожащие свободою и просвещением, могут противопоставить только власть, опирающуюся на гражданские элементы, а не чистый и голый произвол. Думаю, что история произнесет над Катковым строгий приговор. Ему дан был от бога талант, и на что он его употребил?

Разве на то, чтобы доказать русскому обществу, что такое свобода печати в мало образованной среде и при отсутствии представительных учреждений. Россия в этом отношении представила единственный в мире опыт значительного развития журналистики при самодержавном правлении. Если в начале царствования Александра II могли существовать некоторые иллюзии насчет благодетельных последствий подобного порядка вещей, если после долгого умственного гнета свобода общественного мнения представлялась даже лучшим умам вожделенною целью всех помышлений, то деятельность Каткова могла убедить их, что при отсутствии правильных органов общественной мысли и народных потребностей, журналистика обращается в орудие извращения общественного сознания. Под именем общественного мнения выдвигаются личные измышления бойкого писателя, откинувшего всякий стыд и совесть, опирающегося на свое общественное влияние, чтобы сделаться нужным правительству, и опирающегося на правительство, чтобы подавить всякую самостоятельность общества. Если таков был результат многолетней и настойчивой деятельности умного, образованного и даровитого человека, то что же сказать об остальных?

Достойным сподвижником Каткова был Леонтьев. Маленький, горбатый, с умною и хитрою физиономиею, он на всем своем нравственном существе носил отпечаток своего физического уродства. Это был основательный ученый, умный и образованный, без большого таланта, но трудолюбия непомерного, и вместе человек весьма практический, вникающий в подробности всякого дела, упорно преследующий свою цель и изы-

скивающий к ней всевозможные средства, но без всяких нравственных правил, злой, ехидный, лживый, интриган первой руки. Катков, который также вовсе не чуждался интриги и знал, к кому забежать, обыкновенно заручившись поддержкой, шел к своей цели напролом; Леонтьев же всегда действовал окольными путями. Один восполнял другого, обеспечивая достижение успеха. При всем том я всегда предпочитал Леонтьева Каткову и часто спорил о том, который из них хуже. В характере Леонтьева были искупающие стороны. С самого начала меня тронула глубоко прочувствованная статья о Грановском, напечатанная в „Пропилеях". Она являлась как бы выражением искреннего раскаяния. В последний год перед смертью Грановский был выбран деканом историко-филологического факультета, и в это время ему тяжело приходилось от каверз и происков Леонтьева, несмотря на то, что последний был его союзником. Грановский всякий раз возвращался взволнованный и рассерженный из заседаний факультета или совета; он называл Леонтьева не иначе как „злой паук". Казалось, память о всех причиненных умершему товарищу неприятностях глубоко запала в эту темную душу и вылилась в упомянутой статье. У этого ехидного горбуна были и нежные чувства. Он любил детей, и я иногда любовался, как он играл с детьми Корша. У него была также сильная педагогическая струнка. Он всю свою душу положил на основанный им лицей, внимательно и отечески следил за каждым учеником. Нередко, когда кто из них занемогал, он по ночам приходил спать возле больного. Такие же нежные чувства он питал к Каткову, перед которым он преклонялся, как перед высшим гением еще гораздо прежде издания „Русского Вестника" и „Московских Ведомомостей". Когда в „Пропилеях" появилась статья Каткова о древнейшем периоде греческой философии, Грановский с удивлением спрашивал меня: „нахожу ли я в ней нечто необыкновенное? „Леонтьев уверяет, — говорил он, — что это гениальное произведение, открывающее новую эпоху в истории философии, а я решительно ничего не вижу, может быть, потому что мало знаю этот предмет". Конечно, и я, признавая некоторые достоинства статьи, не видел в ней ничего гениальнаго. Это поклонение продолжалось до конца жизни. Леонтьев весь отдавался

Каткову: он даже выходил за него на дуэль с С. Н. Гончаровым. Главный редактор „Московских Ведомостей“ мог справедливо сказать, что неизвестно, где кончается один и где начинается другой. Только такого рода преданность Катков мог терпеть около себя. Она бросает особенный свет на сложный характер Леонтьева, в котором добро и зло перемешивались в какой-то причудливой форме.

Вовсе не подходил к этим двум братьям-близнецам третий редактор „Русского Вестника“, Евгений Федорович Корш. И это была очень сложная личность; но он полюбился мне с первого раза. Кроме того, что он был одним из ближайших друзей Грановского, в нем самом было много привлекательного. Приветливый, обходительный, с тонким умом, с необыкновенно разносторонним образованием, с разнообразным, занимательным и остроумным разговором, которому не мешало некоторое заикание, он был в то время чрезвычайно приятен в личных отношениях. Скромный дом его был центром, где и в Петербурге и в Москве любили собираться друзья. С ним можно было говорить обо всем: о философии, об истории, о литературе, о политике, и по всем отраслям можно было найти у него самостоятельную мысль и дельные указания. Начитанность его была изумительная; он все знал и все помнил. Ниже я расскажу, как он, не зная восточных языков, на собственном их поприще отщелкал присяжных ориенталистов. Он и писал хорошо. Его политические обозрения в „Русском Вестнике“ были образцовые. Мы в то время сходились с ним во всех политических убеждениях и особенно во взгляде на государство, которого не разделяли другие редакторы „Русского Вестника“. Я находил в нем и поддержку и совет, когда было нужно. Все это повело к тому, что мы очень сблизились. Мне казалось, что он и есть настоящий редактор журнала, призванного служить общественным органом. Поэтому я был несколько возмущен, когда Н. А. Милютин, который хорошо знал его в Петербурге, сказал мне при основании „Атенея“: „Вы напрасно полагаетесь на Корша: он никогда ничего не сделает; он эгоист и лентяй“. К сожалению, этот приговор слишком скоро нашел себе оправдание. Как только Корш стал во главе журнала, оказалось, что у него инициативы нет никакой. Он

мог быть отличным редактором „Московских Ведомостей“, когда все дело ограничивалось умною выборкою из иностранных газет; но вдохнуть жизнь в журнал, обсуждать животрепещущие вопросы, чутьем понимать потребности дня, к этому он был решительно неспособен. Он даже с какою-то брезгливостью устранялся от всего, что составляло интерес для публики, и чем более от него требовалось работы, тем менее он ее давал. Журнал рухнул, и редактор озлобился. Он видел в своей неудаче несправедливость судьбы и людей. Он сделался капризен и раздражителен, и это отозвалось на самом его образе мыслей. В то время как Катков совершал поворот направо, он из ненависти к Каткову повернул налево. У него развился какой-то мелочный либерализм, лишенный всякой последовательности и всякой почвы. Таким же капризом отзывались все его суждения об умственных вопросах. Эта перемена отразилась даже на его слоге. Он стал изобретать невозможные слова и упорно пересыпал ими свои переводы, которые через это сделались совершенно неудобочитаемы. Понятно, что беседа с ним потеряла всю прежнюю прелесть. Живое общение мыслей и интересов постепенно исчезало, и он, с своей стороны, все более отдалялся от друзей, которых считал к себе несправедливыми, хотя никто его ни в чем не упрекал и все оказывали ему величайшее внимание. Он ушел в себя, сделался угрюм и одинок. Между тем обстоятельства были тесные, а семья большая; приходилось усиленно работать для ее поддержания. Место библиотекаря в Румянцевском музее давало ему слишком недостаточные средства; он принялся за переводы. Нельзя было без грусти и уважения смотреть на этого старика, который, поборов свою лень, денно и нощно сидел над скучной и одинокой работой для добывания насущного хлеба. Порой пробуждался и прежний Евгений Федорович. Случалось, придешь к нему и встретишь, по старому, сердечный привет, и поговоришь с ним час-другой с истинным наслаждением. Но это были только вспышки, капризные минуты, как и все остальное; с летами они делались все реже. Он более и более уединялся и перестал даже приходить на приглашения к дружеским собраниям. С старейшими друзьями он порвал совершенно. Когда умер Кетчер, он не был ни на па-

нихидах, ни на похоронах. Наконец, он разорвал и с самою своею семьею. Семидесяти пяти лет от роду он бросил жену, которая была добрая женщина, вся преданная мужу и детям, и с которою он жил дружно более сорока лет. Она не вынесла этого удара; через год она умерла. Дочери остались жить в нумерах, не видаясь с отцом, но получая от него маленькое содержание. С друзьями прекратились уже всякие сношения. Так кончил этот человек, который по своему уму и образованию стоял в первых рядах между людьми сороковых годов. Судьба многим его одарила, но не дала нравственной устойчивости, чтобы выносить жизненные невзгоды.

К редакции „Русского Вестника“ примкнуло все, что Московский университет заключал в себе ученых сил. После смерти Грановского самыми видными его представителями были Кудрявцев и Соловьев. Кудрявцева я знал очень мало. Он был человек болезненный, и в это время, после страшно поразившей его смерти жены, он жил уединенно, не участвовал на общих собраниях и скоро скончался. Студенты перенесли на него ту любовь и то уважение, которое они питали к Грановскому. Во многих отношениях он это заслуживал. Его обширные познания, его основательная ученость и усидчивое трудолюбие делали его авторитетом в деле науки; а с другой стороны, его чистая и возвышенная душа, его тихая, кроткая и любящая натура привлекали к нему общее сочувствие. Но он далеко не имел ни таланта Грановского, ни силы и ширины его мысли, ни его обаятельного действия на окружающих. В журнале он был постоянным сотрудником; но многочисленные его статьи были довольно бесцветны и растянуты. В них не было ни живой мысли, ни меткого слова. Действия на публику они не могли производить.

Соловьева я до того времени также почти не знал, хотя слушал его лекции; но тут я скоро с ним сошелся и сделался одним из близких его друзей. По уму и таланту, он, конечно, далеко уступал Грановскому и никогда не мог его заменить. Как историк он имел то, чего не было у Грановского и что именно требовалось его специальностью: он был неутомимый архивный труженик, и притом труженик, руководимый мыслью

и образованием. После Шлецера и Карамзина, никто не сделал более его для русской истории. У него был и верный исторический взгляд. Он к изучаемым фактам относился не с предвзятою мыслью, не с патриотическими фантазиями, а как истинный ученый, основательно и добросовестно, стараясь уловить настоящий их смысл. Он в этом отношении заходил даже слишком далеко: воздерживаясь от собственного суждения, он хотел, чтобы факты говорили сами за себя, предоставляя читателю выводить заключения. От этого его изложение выходило иногда слишком сухо. Слабая его сторона в исследовании русской истории состояла в отсутствии основательной юридической подготовки, вследствие чего такая важная часть, как развитие учреждений, обработана несколько поверхностно, а иногда получает даже неправильное освещение. Он сам иногда жаловался на то, что особенно в новейшем периоде юристы недостаточно подготовили почву для историков. Другая его слабая сторона состояла в недостатке философского образования. Философии он не изучал, а по убеждениям всегда оставался искренним православным, никогда не выходя из тесного круга вероисповедного учения. В приложении к русской истории это не имело вредных последствий, но они сказывались всякий раз, как он выступал на более широкое поле всеобщей истории. Как образованный человек, он не ограничивался своею специальностью, но внимательно изучал всемирную историю, в которой находил освежение от архивной работы и проверку своих общих взглядов. Он писал по этому предмету статьи и пробовал даже, по примеру Грановского, читать публичные лекции об истории Англии и Франции. Однако, попытка вышла неудачная. У него не было ни дара слова, ни таланта художественного изображения лиц и событий; а так как и содержание не представляло ничего нового, то исчезал всякий живой интерес. Лекции были вялые и скучные; он их не возобновлял. И в статьях его выражается тот же недостаток широкого философского взгляда, который требуется от историка, особенно при изложении общего хода событий и развития идей. Самый патриотизм Соловьева носил несколько узкий характер, который делал его иногда несправедливым к другим народностям. Об этом свидетельствует его „История

падения Польши“ [1]. И при всем том, он был убежденным противником славянофилов. Православный и патриот, он был вместе с тем настоящий ученый, а потому возмущался тем легкомысленным извращением фактов в угоду ходульной любви к России, которым отличались воззрения славянофилов. Против их антиисторического направления он выступал решительно, умно и с талантом. Погодин, который в качестве соперника терпеть не мог Соловьева и отрицал в нем даже всякое дарование, должен был уступить очевидности, когда мы с Дмитриевым однажды, вследствие спора, доставили ему статью: „Шлецер и анти-историческое направление“ [2]. Он признался, что она написана хорошо.

Редко, впрочем, Соловьев выступал с полемическими статьями, и когда он на это решался, он всегда делал это с величайшею умеренностью. Вообще, умеренность была его отличительная черта. Тихая, ровная, всегда спокойная его натура чуждалась всего, что имело характер заносчивости или нетерпимости. Всякое резкое выражение его оскорбляло; он уверял, что оно ослабляет силу мысли. Точно так же и в своих поступках он всегда старался держаться в пределах самой строгой законности и осторожности, довольствуясь наименьшим, чего можно было требовать. В этом отношении он бывал даже слишком непритязателен. Но когда самые скромные требования оставались тщетны, он проявлял неуклонную решимость. Как скоро говорило то, что он признавал долгом или честью, он не колебался ни на минуту. Я видел тому поразительные примеры. Когда во время нашей университетской истории, которую я расскажу ниже, пришла бумага министра, решавшая дело на основании бесстыдной лжи, он первый, по прочтении, тотчас заявил, что надобно выходить в отставку [3]. И это делал человек, лишенный средств, обремененный семьею, всю жизнь свою посвятивший кафедре, и притом замешанный в историю только самым косвенным образом. Я расскажу, почему наша общая отставка была взята назад, и каким образом Соловьев

[1] „История падения Польши“, М., 1863.

[2] Напечатана в „Русск. Вестнике“, 1856, № 8.

[3] См. Б. Н. Чичерин, „Московский университет“ (в „Записях прошлого“), стр. 201 след.

мог временно остаться. Но окончательно Катков и граф Толстой все-таки его выжили. Он покинул университет, к которому был привязан всей душою, как скоро увидел, что не может оставаться в нем с честью. Для этой чистой и возвышенной души чувство долга было единственным руководящим началом его действий. Никакие личные побуждения к этому не примешивались. Ему чуждо было все мелочное. Когда он признавал что-либо нужным или полезным, он умел насиловать даже свои наклонности и привычки. По природе он был человек кабинетный и многолюдного общества не любил; но он постоянно ездил на собрания молодых профессоров, считая это общение необходимым для пользы университета. Популярности он через это не приобрел; это было вовсе не в его натуре. Но он снискал всеобщее уважение; никто не мог сказать против него ни единого слова. В тесном же кругу друзей раскрывалась его прозрачная и благородная душа, проявлялась и прирожденная веселость, сохранившаяся до конца, несмотря на постигшие его в последние годы неприятности. Мне памятно, как незадолго перед его смертью, случайно, проезжая летом через Москву, я поехал навестить его в Нескучном, где он тогда жил. Я застал его уже совершенно больным. Побеседовав с ним, я стал прощаться. „Куда вы спешите,"—спросил он.—„Еду обедать в Эрмитаж с Кетчером и Станкевичами".—Они в это время случайно проезжали через Москву, возвращаясь из-за границы.—„Ах, счастливцы!"—воскликнул он с завистью. Я с ним простился и более его не видал, но сохранил о нем память, как об одной из самых светлых и почтенных личностей, каких мне доводилось встретить. Он совершил то, к чему был призван, извлек из себя на пользу России все, что мог ей дать. Это была жизнь, посвященная мысли, труду, любимому им университету, в котором многие поколения получили от него благие семена; жизнь чистая, полная и ясная, окруженная семейным счастьем, преданностью друзей и общим уважением. Россия может им гордиться.

Я сошелся в то время и с другим исследователем русской старины, который принадлежал к кружку Грановского, а потом и к нашему, хотя и после основания „Русского Вестника" он продолжал сотрудничество в „Отечественных Записках",—с

Иваном Егоровичем Забелиным. Это был настоящий московский самородок, цельная, крепкая и здоровая русская натура, не отделанная внешним лоском, не обработанная европейским просвещением, но честная, прямая и симпатическая. Школа его ограничивалась уездным училищем; иностранных языков он не знал и все свое книжное образование мог почерпнуть только из русских книг, представлявших в то время скудный и жалкий запас сведений. Грановский, который им заинтересовался, читал ему частные лекции; вращаясь в кругу умных и образованных людей, он мог от них заимствовать ходячие мысли и воззрения. Но все это, конечно, не в состоянии было заменить недостаток школьного и книжного образования. И, тем не менее, голова у него не спуталась. Он не увлекся непонятными ему фразами, не вдавался в умозрения, а выработал в себе свой собственный простой и трезвый взгляд на вещи. Все завещанное веками содержание русской жизни, так крепко сохраняющееся в низших слоях народа, было кинуто за борт. О религиозной обрядности не было и помину. Едва ли удержались какие-либо следы религиозных убеждений. Место их заступило какое-то пантеистическое воззрение на природу, к которой Забелин, как истинно русский человек, питал живое поэтическое чувство. Кинуты были за борт и всякие основанные на предании политические убеждения, преданность и покорность власти, уважение к чинам. И все-таки с исчезновением исторического содержания, осталась цельная и здоровая русская натура, не отделившаяся от почвы, а, напротив, постоянно получающая от нее свое питание. Забелин остался пламенным патриотом и всю жизнь свою посвятил изучению отечественной старины. Рыться в архивах, разыскивать археологические мелочи не трудно даже при недостатке образования. Трудно из мелочей воздвигнуть стройное здание, правильно освещенное, проникнутое мыслью, а это делал Забелин. Я в то время удивлялся в особенности его критическим статьям, писанным живо, умно и последовательно. Помню, что однажды я прочел одну из этих критик, напечатанную в „Отечественных Записках", Н. Ф. Павлову, который был знаток в произведениях пера. Он пришел в восторг. „Сочная статья!" — воскликнул он.

Впоследствии Забелин несколько свихнулся. Когда московский учено-литературный кружок окончательно рассеялся, когда в русском обществе заглохли умственные интересы, и в литературе на первый план выдвинулась ежедневная газетная полемика, Забелин уединился и потерял прежнее умственное равновесие. Идеальный элемент ослабел и предмет постоянных занятий получил неподобающий перевес. В нем разыгрался узкий патриотизм, не сдержанный просвещением, и он заразился взглядами, приближающимися к славянофильству. Он стал изгонять ненавистных немцев из древней русской истории, увлекся поверхностною ученостью Гедеонова [1] и в доказательство славянского происхождения тех или других названий, стал приводить такие словопроизводства, которые приводили в ужас истинных филологов. Я постоянно замечал, что кто склоняется к славянофильству, тот непременно начинает коверкать науку, и обратно. В письме из деревни я с полною откровенностью высказал Забелину свое мнение о его новых исследованиях, и он принял мои замечания с тем простодушным правдолюбием, которое всегда его отличало. По-видимому, возражения друзей его несколько отрезвили. „История русской жизни", в которой он высказывал свои новые взгляды, была приостановлена, и он снова весь отдался архивной работе [2]. Отношения к старым друзьям остались прежние, те, которые вызывает его глубоко честная и истинно добрая душа.

Еще гораздо более я сблизился со старыми друзьями Грановского, Кетчером и Станкевичем. Кетчер был более чем на двадцать лет старше меня, но он легко и охотно сходился не только со своими сверстниками, но и с молодыми людьми. И он так же, как Забелин, был чистый московский самородок, цельная, крепкая и прямая натура, но с большим пылом и с гораздо большим образованием. Он кончил курс в Медицинской академии, знал языки, постоянно занимался

[1] Имеется в виду исследование С. А. Гедеонова: „Варяги и Русь", вышедшее в 1876 г.; „Отрывки из исследований о варяжском вопросе" были им напечатаны еще в 1862 г. (в Зап. Академии Наук, т. I и II).

[2] „История русской жизни с древнейших времен", ч. I, М., 1876; ч. II, М., 1879.

литературными переводами. Между прочим, он перевел для „Телескопа“ известные письма Чаадаева. Но наружно он остался сыном природы. Его косматая голова, резкий тон, громкий голос, угловатые манеры, всегда небрежное одеяние обличали полное презрение к внешним формам. Многих это отталкивало, иных даже оскорбляло; но те, которые подходили к нему ближе, знали, что под этою несколько дикою наружностью скрывалась горячая и любящая душа. Взгляд его резкий и суровый, как скоро что-нибудь оскорбляло его неизменную прямоту, теплился самыми нежными чувствами, когда он приходил в соприкосновение с чистым и любящим существом. Некрасивое лицо его озарялось такою ласковою и приветливою улыбкою, которая делала его привлекательным и невольно притягивала к нему сердца. Друзьям он был предан всею душою и всегда был готов для них на всякое самопожертвование, хотя подчас неумолимо преследовал их слабости. Последняя черта особенно резко проявлялась у него в молодости, и это было причиною, почему Герцен в своем изображении Кетчера бросил неверную тень на его характер. Когда в 1858 году я посетил Герцена в Лондоне, он прочел мне этот очерк, и я тут же сказал, что многое совершенно верно, но что он резким выходкам Кетчера придает преувеличенное значение: они проистекают из прямой души, любящего сердца, и сердиться на них нет ни малейшего повода. Раздражительное самолюбие Герцена оскорблялось этими выходками, особенно когда они касались действительно слабых сторон и задевали за живое. Вследствие этого он разошелся с Кетчером, так же как и с Грановским, несмотря на то, что по убеждениям он стоял гораздо ближе к первому, нежели к последнему. С Грановским же Кетчер, при всей разности мнений, никогда не расходился. Эти две благородные натуры друг друга понимали и любили. Грановский подшучивал над крайностями своего приятеля, говорил, что он остановился на 93 годе и дальше не двинулся ни на шаг. Но самые эти крайности были частью следствием свойственной молодости резкости и нетерпимости, частью произведением того невыносимого порядка вещей, с которым никакое примирение не было возможно. Как же скоро появилась заря новой жизни, как скоро солнышко на-

чало пригревать окоченевшую русскую мысль, так Кетчер растаял. С освобождением крестьян окончательно исчезло в нем прежнее чисто отрицательное отношение к действительности. При всей резкости мнений, у него был глубокий здравый смысл, который заставлял его трезво смотреть на вещи и ценить громадные сделанные Россиею шаги в развитии учреждений. Новой общественной жизни он отдался всею душою. Когда устроилась Московская городская дума, он вступил в нее гласным, усердно посещал все заседания, принимал живое участие во всех вопросах, хотя всегда оставался более зрителем, нежели деятелем. Общительный по натуре, он являлся и на всех публичных собраниях, которые в то время бывали весьма часто, по всякому поводу. Он и прежде любил попировать в дружеском кругу, проводя иногда целые ночи за бокалом шампанскаго, единственное вино, которое он признавал и которое мог пить без конца, причем, по железной своей натуре, никогда не доходил до опьянения. Теперь же громкий его хохот, хорошо знакомый москвичам, стал раздаваться на всех публичных обедах. Он пировал со всеми и обыкновенно уезжал последним. Это было для него время беззаветного разгула и полного душевного удовлетворения. Для России настала новая пора, и все, кто давно жаждал этой поры, предавались ликованию.

Таким же зрителем Кетчер остался и в новом литературном движении. Постоянно погруженный в свой перевод Шекспира, который был делом его жизни, неутомимо занимаясь также поправкой переводов и корректурой для своих друзей и, в особенности, для разных изданий, которые предпринимал приятель его Солдатенков, он не участвовал в собственно журнальной работе. Но он живо интересовался всеми вопросами и был непременным членом всех литературных собраний. Чисто отвлеченные предметы мало его занимали. К философии он никогда не прикасался, а к религии он до конца своей долгой жизни относился чисто отрицательно. Эта чистая благородная душа была совершенно спокойна за свою участь и довольствовалась тем, что ей было дано, не заботясь о решении вопросов, превышавших ее понимание—замечательный пример сочетания удивительной нравственной чистоты и воз-

вышенности с полным отсутствием религиозных потребностей. Но всякое жизненное дело возбуждало в нем живой интерес. У него был и тонкий эстетический вкус. Он был верный ценитель художественных произведений. В особенности у него была страсть к театру, страсть которую разделяли многие люди из его поколения. Актеры, которых общество он любил, всегда могли найти у него полезный совет и верную оценку.

У этого записного москвича, который кроме Москвы ничего не признавал, который Петербурга не выносил и скучал в деревне, было и живое чувство природы. Высшим его наслаждением было бродить по целым дням по лесу и собирать грибы. Это чувство было взлелеяно в нем раннею молодостью. Он любил вспоминать про старую Москву, еще не застроенную и не загаженную фабриками, с ее громадными садами, с многочисленными прудами, наполненными прозрачною, текущею водою, с прелестными прогулками по берегам светлой еще в то время Яузы. Он с грустью рассказывал, как все это на его глазах мало-по-малу исчезало. Но он любовался и всеми остатками прежней очаровательной обстановки. Всякое красивое дерево приводило его в восторг. У себя дома он целое лето копался в саду, с любовью сажал и лелеял цветы. Друзья его сделали складчину и купили ему почти на конце 3-й Мещанской небольшой дом с довольно обширным садом. Здесь, с ранней весны можно было найти его по утрам, в рубашке и нижнем платье, с грязными руками, копающегося в земле, или вечером, когда он после дневной работы, спокойно курил на своем балконе, наслаждаясь вечернею прохладою и любуясь тенью высоких деревьев, с играющими в прозрачной листве лучами заходящего солнца. Хозяйство вела его жена, женщина самая простая, без всякого ума и образования, но которая любила его без памяти. Он в молодости сошелся с ней случайно и вскоре потом переехал в Петербург, оставив ее в Москве. Но она не выдержала разлуки, пешком добрела до Петербурга и явилась к нему на квартиру. „Ну видно надо купить другую ложку", — сказал он. С тех пор он с нею не расставался. Детей у них не было, и он женился на ней, думая оставить ей свое маленькое состояние. Однако, он долго ее пережил и остался один в своем доме, окруженный много-

численною стаею кошек и собак. Зная его сердоболие, ему нарочно подкидывали разных животных, и он считал для себя обязательным всякого подкидыша приютить, выходить и кормить до конца. У него была старая, больная собака, которая вся вылезла и пачкала у него всю мебель, так что приезжим иногда некуда было сесть; но он ласкал и холил ее, пока она не умерла естественною смертью. Пока он сам был здоров, он из этого отдаленного приюта выезжал почти ежедневно, чтобы навещать друзей. В общественной жизни он под старость уже мало принимал участия. И литература, и общество приняли направление, которое было не по нем. Всегда чутко отзываясь на всякие благородные порывы молодости, он не выносил господства низменных чувств и мелких интересов. Но друзьям своим он остался верен по гроб; они составляли единственное утешение его старости. Дружеская беседа была для него сердечным удовлетворением. Он любил попрежнему выпить бокал шампанского, хотя уже не с прежним увлечением. И для друзей приезд его всегда был праздником. Даже когда он сидел молча, как нередко делал в последние годы, от него веяло чем то мягким и согревающим сердце, как последние лучи заходящего солнца. Наконец, ему трудно стало выезжать; одышка одолевала. В эту пору я часто навещал его, когда бывал в Москве: обыкновенно заставал его спокойно сидящим подле письменного стола, на большом вольтеровском кресле, которое принадлежало Грановскому и перешло к нему после смерти друга. Иногда мы проводили вдвоем целые вечера, беседовали о прошлом и настоящем. Он любил вспоминать старую Москву, свои ранние впечатления, которые восходили до 12-го года, свои прогулки по Яузе, и по окрестностям, любил перебирать людей, с которыми был близок, рассказывал, как он с Белинским несколько часов сторожил на Страстном бульваре, поджидая девицу Кобылину (впоследствии графиня Салиас), которая должна была бежать с Надеждиным, и как Надеждин в последнюю минуту струсил и отступил, как он позднее увозил жену Герцена и содействовал их венчанию. Все это давнопрошедшее воскресало в его памяти, и он с удовольствием озирался на жизнь, которая поставила его в близкие отношения со всем, что было лучшего в русском

обществе, которая дала ему верных друзей и была наполнена возвышенными интересами. За несколько дней до его смерти я случайно приехал из деревни в Москву и застал его на том же кресле, но он уже с трудом мог передвигаться. „Плохо“,— сказал он. На следующий день мы с Станкевичем провели у него несколько часов. Больной оживился, беседуя с нами. Затем мы собрались к нему опять вечером, но когда приехали, то нашли еще теплое, но уже бездыханное тело. Он перешел с своего кресла на постель и тут же тихо скончался. Его похоронили возле Грановского, на Пятницком кладбище. Я сказал на его могиле несколько слов, которые были приняты общим сочувствием. В моей памяти сохранился его чистый образ, как одно из светлых воспоминаний моей жизни. Бесконечная доброта, соединенная с сердечной чистотою и с неуклонным прямодушием, горячая преданность друзьям, высокий нравственный строй и отсутствие всякого мелочного чувства делали его одним из привлекательных представителей старой Москвы и достойным членом того умственного кружка, который являлся лучшим цветом тогдашней московской жизни.

В дополнение приведу сказанное мною надгробное слово. Оно было и остается прощальным приветом умершему другу.

„Мы хороним одного из последних представителей старой Москвы, который в ней родился и жил почти неотлучно с самого начала нынешнего столетия. Его воспоминания восходили к 1812 году. В зрелом возрасте он пережил лучшую эпоху московской жизни, эпоху умственнного движения сороковых годов, когда всюду, и в литературе, и на университетской кафедре, и в гостиных, кипели умственные интересы и происходили блистательные ристалища славянофилов и западников. Кетчер был другом Грановского, Белинского, Боткина, Герцена, Кавелина, Соловьева. В этой блестящей среде он не выдавался ярким талантом, но он был близок всем. Его живая, чуткая, высоко нравственная натура, его неуклонное прямодушие, его беспредельная доброта и всегдашняя готовность служить друзьям всеми зависящими от него средствами делали его дорогим для всякого, кто сквозь несколько шероховатую оболочку умел ценить и любить внутреннего человека.

„Кетчер пережил и другую хорошую для Москвы эпоху, время возрождения русского общества в начале прошедшего царствования, время пылких надежд и зарождающейся свободы. Он принимал горячее участие во всех вопросах дня, и в литературных спорах и в делах нового городского самоуправления. Но здесь он явился уже не тем Кетчером, какого знали прежде. В оппозиционное время сороковых годов он был в числе самых крайних; он менее всего мог мириться с господствовавшими тогда порядками. Когда же настала пора преобразований, он со своим глубоким здравым смыслом понял, что тут крайние мнения неуместны что для упрочения преобразований, нужны прежде всего умеренность и воздержание. И Кетчер встал в ряды умеренных, благословляя царя, который вывел из крепостного состояния десятки миллионов русских людей и по всей русской земле насадил учреждения, проникнутые духом свободы. Однако, лета брали свое, а с другой стороны литература и жизнь приняли течение, которое не могло его удовлетворить. Кетчер на это не роптал, он говорил, что нечего роптать на жизнь, когда на своем веку знал лучших людей и видел хорошие времена. Новые течения понудили его только удалиться из общественной жизни и замкнуться в тесном приятельском кругу. Порой еще в общественных собраниях, за бокалом вина, раздавался громкий знакомый москвичам хохот. Но, наконец, и хохот умолк, и к бокалу он стал равнодушен. Чистая лампада мало по малу угасла.

„Одно, что в нем никогда не угасло и к чему он никогда не сделался равнодушен — это дружба. Своих друзей, и старых и новых, он любил всем сердцем, и они платили ему тем же. Когда, бывало, этот представитель отжившего поколения приедет в дружеский дом и сядет на обычное свое место, уже одно его молчаливое присутствие разливало вокруг него какое-то теплое и отрадное чуство. Зато друзья его не забудут и покинутое им место останется пусто. Прощай, верный друг, добрый товарищ и старых, и молодых. Да почиешь ты с миром, так же как и жил. Нам, старым твоим друзьям, не долго уже придется тебя поминать! До свиданья, до недалекого уже свидания, там, в лоне вечной благости, где чистая твоя душа найдет подобающее ей жилище“.

С образом Кетчера неразрывно связано в моем сердце имя лучших его и моих друзей, Станкевичей, мужа и жены. Александр Владимирович Станкевич, младший брат того слишком рано умершего молодого челевека, который был один из зачинателей философского движения в русском обществе, и который имел такое значительное влияние на Белинского и Грановского, принадлежал к самым близким друзьям последнего. Он женат на двоюродной сестре Грановского, Бодиско. Можно сказать, что я им достался по наследству. С летами наша дружба все крепла и крепла. Она составляет одно из немногих утешений моей старости.

Собственно в литературной деятельности Александр Владимирович мало принимал участия. В молодости он выступил на литературное поприще с повестью „Идеалисты",— которая имела успех. Но потом он отказался от беллетристики и только изредко появлялся в печати с небольшими критическими статьями, написанными тонко, умно и изящно. Главным его литературным произведением была биография Грановского, на которую он положил всю свою душу. Она может считаться образцовой по тонкости понимания, по верности изображения, по изяществу мыслей, чувств и формы. Но, вообще, по натуре Станкевич не был производителен; труд ему не легко давался. Взамен того, у него было все, что нужно, для того чтобы сделаться центром образованного литературного кружка, какой в то время составился в Москве. Он был одарен глубоким и верным пониманием как литературных, так и жизненных явлений. Все вопросы философские, политические, исторические, литературные, художественные, были ему равно доступны. Начитанность была разнообразная и основательная; из всякой книги он умел извлекать то, что в ней было существенного и ценить ее по достоинству. Можно сказать, что это был и есть насквозь образованный человек, тип, который в наши дни становится более и более редким. Вместе с тем, он знал людей и умел тонко определить их достоинство и характер. Поэтому всякое его суждение имело вес и значение, конечно, для избранного круга тех, кто сохранил всегда незаурядную, а ныне все более исчезающую способность ценить и уважать чужую мысль. И эти суждения он обыкновенно

высказывал с тою мягкостью и деликатностью, которые составляли отличительные свойства его удивительно изящной и благородной натуры. Нередко меткая, тонкая или глубокая мысль приправлялась легкою ирониею или острою шуткою; в веселые минуты он умел быть остроумным и забавным. Иногда же обычная спокойная и мягкая сдержанность прерывалась порывами негодования, неразлучного с силою нравственных убеждений. Вообще, снисходительный к людям, ценя в них преимущественно нравственные качества, он в умственной сфере не терпел самодовольной ограниченности и пошлости, а в нравственной—возмущался всяким нарушением требований правды и чести. Нравственные начала были в нем непоколебимы, и это сообщало особенно возвышенный строй всем его взглядам и чувствам. Ко всему этому присоединялось, наконец, горячее и любящее сердце, которое разливало теплоту и гармонию на весь его внутренний мир и делало его дорогим всякому, кому доводилось близко к нему подойти.

При таких редких качествах, немудрено, что в доме Станкевича собиралось все, что было мыслящего и порядочного в тогдашнем литературном обществе, за исключением славянофилов, которые держались особняком. Обладая довольно крупным состоянием, он давал обеды и литературные вечера, которые были истинным умственным наслаждением. Тут не было толпы всякого народа, как в редакции „Русского Вестника“; это не были ристалища, подобные тем, которые происходили в сороковых годах между славянофилами и западниками. Собирался избранный кружок людей, более или менее одинакового направления; обменивались мыслями, толковали обо всех вопросах дня. Здесь читались только что вышедшие статьи. Это было время всеобщего одушевления и надежд, последняя вспышка литературной жизни в Москве. И когда все это исчезло, как дым, когда в русской литературе серьезное обсуждение вопросов заменилось газетною перебранкой, в доме Станкевича все еще продолжали собираться прежние друзья; но ряды их более и более редели. Старания привлечь новые силы, молодых профессоров Московского университета оказывались напрасными. Погасшее пламя умствен-

ной жизни не зажигалось вновь. Надобно было, наконец, отказаться от литературных собраний.

Тем не менее, дом Станкевича остался теплым приютом для более тесного кружка друзей. Конечно, этому значительно способствовало влияние женского элемента. Жена Станкевича, Елена Константиновна, совершенно к нему приходилась. Она вся жила в нем, разделяя, как умная и вполне образованная женщина, все его возвышенные интересы, а вместе избавляя его от всяких домашних хлопот, окружая его самою нежною заботливостью, стараясь устроить его жизнь возможно удобно, спокойно и приятно. Пылкая, страстная, энергическая, часто нетерпимая относительно тех, кто приходился ей не по душе, она расточала на близких ей людей все сокровища любвеобильного сердца. Детей у них никогда не было; взамен того они воспитывали племянников и племянниц, которые становились для них источником и радостей, и горя. Настоящими членами семьи делались и друзья. Они находили здесь самое теплое участие, самое чуткое внимание, самую заботливую предупредительность. Нигде, ни в какой другой среде, моя душа не раскрывалась как тут. Ни с кем я в течение всей своей жизни не был в таком полном общении мыслей и чувств. И сердечные радости, и горе, и все умственные интересы, и эстетические наслаждения, все я делил с Станкевичами. Мы редко расходились с ним в оценке людей и событий. Могу сказать, что он был для меня как бы проверкою моих собственных взглядов. Мы с одинаковыми чувствами приветствовали новую эру и вместе сокрушались о последующем упадке литературы и общества. Одинаково нас возмущали и холопствующая наглость Каткова, и легкомысленный задор социал-демократов. Самые наши вкусы были одинаковы. Мы вместе со страстью предавались собиранию картин и ездили в подмосковные разыскивать уцелевшие сокровища. И это общение продолжалось, без всякой тени отчуждения многие и многие годы. Когда я женился, дружеская связь осталась такая же тесная и теплая, как прежде. Для меня небольшой, но щегольски отделаннный дом Станкевича в Чернышевском переулке, с прелестным садиком, с картинной галлереей, в которой находятся истинные перлы искусства, как Мадонна Беллини, и „Христос под крестом“ Луини, сде-

лался как бы святилищем, в которое я вхожу всегда с легким и отрадным ощущением. Меня охватывает ласкающая атмосфера. Все, что томило и стесняло душу, отпадает; чувствуется умственное и нравственное приволье. И сколько с этим домом связывается воспоминаний! Сколько дружеских обедов, сколько задушевных бесед! Многих собиравшихся здесь членов прежнего кружка, давно уже нет. Верным другом семьи, постоянным посетителем дома был милый Кетчер, у которого за обедом было свое, принадлежавшее ему место, так же как у меня было свое, возле него, место, на которое я и теперь постоянно сажусь, когда бываю в Москве. Через силу являлся и общий наш приятель, добрый Пикулин, некогда отличный доктор, профессор Московского университета, живой, остроумный, страстный садовод, собиравший у себя также литераторов на шумные ужины, впоследствии постигнутый ударом, но продолжавший отпускать свои добродушные шутки. Другие разбрелись по разным дорогам. Но чем меньше осталось от прежнего дружеского кружка, тем теснее связь тех, которые свято и неизменно сохранили старые отношения. Я благодарю провидение, пославшее мне в жизни такую дружбу.

С глубоким сердечным услаждением вспоминаю я и свои посещения Станкевичей в деревне. В Бобровском уезде, Воронежской губернии лежит большое их поместье Курлак, с барским домом, возле которого простирается роща вековых дубов, с обширными оранжереями, наполненными великолепными растениями, с цветниками, взлелеянными заботою страстной к ним хозяйки, с фонтанами, ею устроенными. Здесь, в деревенской тиши, проводил я многие счастливые дни. Здесь мы с Александром Владимировичем не раз сидели вдвоем, любуясь прелестным видом при захождении солнца, глядя на темнеющую даль и на зажигающие огоньки по берегу вьющейся изгибами речки. Ничто так живо не напоминает мне старый русский помещичий быт в лучших его проявлениях, в особенности нашу собственную прежнюю семейную жизнь в деревне, жизнь обеспеченную и привольную, на широкую барскую ногу, но без всяких стеснений, полную живых умственных интересов, и, вместе, радушного гостеприимства, с теплым приветом для

родных и друзей. Ныне, при изменившихся условиях, все это становится более и более редким.

В то время, о котором теперь идет речь, дом в Чернышевском переулке еще не был приобретен. Станкевичи жили на наемной квартире, где еженедельно были мужские вечера. Оживленные беседы обыкновенно простирались далеко за полночь. Из старых моих друзей, оживляющим элементом на этих собраниях, был Николай Филиппович Павлов. Семейные несчастья и полное расстройство дел не сломили этой удивительно эластической натуры. Страсти и на старости лет разыгрывались попрежнему, хлопот было по уши, но при всеобщем пробуждении и он принялся за давно забытое перо. После повестей вышедших еще в тридцатых годах, он написал только письма к Гоголю, которыми так восхищался Белинский. Действительно, даже теперь, перечитывая их, нельзя не удивляться мастерству изложения. Сколько в них ума, тонкости, глубины; какой сильный и красивый слог, какая едкая и вместе изящная ирония! Некоторая вычурность, которая в прежнее время, под влиянием господствующего вкуса, несколько портила его произведения, совершенно исчезла; остался писатель вполне созревший, с блестящим, могучим словом, с глубоким и разносторонним пониманием литературы и жизни, вполне владевший языком. Но весь этот необыкновенный талант появлялся только вспышками. Письма к Гоголю, произведшие такое впечатление, не только никогда не были кончены, но даже третье письмо, вполне уже обдуманное, не было написано, и вместо него появилось четвертое. После этого Павлов опять умолк. Теперь он снова вступил на литературное поприще, с критикою на комедию графа Соллогуба: „Чиновник". Здесь опять во всем блеске проявился его талант, живость, наблюдательность, тонкий и язвительный юмор, глубокое знание людей и отношений. Но, боже мой, сколько труда стоило вытянуть у него эту статью! Не то, чтобы ему трудно давалась работа. Когда он за нее принимался, он писал тем легче, что все у него было заранее обдумано. Но среди забот и рассеяния, взяться за перо было у него подвигом. Друзья ждали, приставали; он рассказывал им все, что он напишет; но выходила книжка за книжкою, и статья все не появлялась. То же было и с другою

статьею: „Биограф-ориенталист", о которой я подробнее скажу ниже.

Ленивый на писание, Павлов в беседе был очарователен. Тут уж он высказывался весь. У него не было ничего обдуманного и искусственного; речь лилась свободно и непринужденно, но всегда изящно. Он умел и говорить, и слушать, и убеждать, и возражать. Ум был удивительно живой, тонкий и разнообразный. Он глубоко схватывал всякий вопрос. В теоретической области он был несколько скептик; но всякие общественные отношения, человеческие характеры, явления литературы и жизни он судил тонко и метко. У него был и верный эстетический вкус. Все оттенки мысли и выражения он ценил по достоинству. И все свои разнообразные средства, блеск ума, глубину чувства, игру воображения он умел пускать в ход по своей воле. Когда он хотел быть обворожительным, ему трудно было противостоять. Про него рассказывали, что никто не в состоянии был отказать ему в деньгах. Даже те, которые, зная, что в этом отношении на него нельзя положиться, заранее ополчались против его чар и давали себе слово туго держать свой кошель, кончали тем, что выкладывали просимую сумму. Разумеется, это могло быть только потому, что ему все-таки верили. Знали, что при всех его слабостях и увлечениях, при тех трудных обстоятельствах, в которые нередко вовлекали его собственные его страсти, он в душе всегда оставался истинно порядочным человеком. Это одно давало ему возможность тесного сближения с высоконравственными людьми, которые не только подкупались его умом, но ценили его сердце, чуткое ко всему хорошему.

Одушевляющим элементом наших литературных собраний был и новый, молодой мой приятель, Федор Михайлович Дмитриев. Мы с ним скоро сошлись и много лет жили душа в душу, как неразлучные друзья, пока жизнь не развела нас в разные стороны. Дмитриев в это время выдержал экзамен на магистра гражданского права и готовил диссертацию, которая и вышла впоследствии под заглавием: „История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства, от Судебника до Учреждения о губерниях", — труд капитальный по истории русского права. Он обличал серьезный и научный

взгляд, основательное знакомство с источниками, умение ими пользоваться, мастерство писать. В мелких статьях точность и изящество его слога проявлялись в еще большей степени. Дмитриев был человек большого ума и значительного образования, которое он с летами все расширял и дополнял. На русской литературе он был воспитан; это лежало в преданиях семьи, каторая дала три поколения писателей.[1] Он знал множество стихов наизусть и сам с большим успехом упражнялся в юмористическом роде. Одно время он пристрастился к латинским классикам, которых он всех перечел. На университетской скамье, а затем и собственною работою он приобрел редкое юридическое образование как по гражданскому, так и по государственному праву. Получивши в Московском университете кафедру истории иностранных законодательств, к которой он вовсе не готовился, он неутомимым трудом восполнил недостаток предварительных сведений, и в своих лекциях так же, как и в литературе, всегда являлся основательным ученым, вполне владеющим своим предметом, не упускающим даже малейших подробностей без обстоятельного изучения. Впоследствии он прилежно занялся философиею, хотя к этому он всего менее имел природной наклонности. Ум его не столько обращался к отвлечениям, сколько к жизненным вопросам. Вообще, в нем было более меткости и тонкости, нежели силы и глубины. Он схватывал более подробности, нежели общие начала, и часто упрекал меня в том, что у меня, наоборот, за общею характеристикой подробности исчезают. Разговор его был блестящий и увлекательный. Это был беспрерывный поток остроумия, то тонкого и шутливого, то колкого и язвительного. Он был мастер передразнивать и давал иногда целые представления для потехи публики. Было, между прочим, заседание юридического факультета, которое заставляло всех хохотать до упаду. Каждый из старых профессоров выступал со своею своеобразною физиономиею, которую Дмитриев умел

[1] Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), известный баснописец; его брат, Александр Иванович (1759—1798), переводчик Лузиады и др.; сын последнего Михаил Александрович (1796—1866), поэт и литературный критик, автор „Мелочей из запаса моей памяти“, отец историка русского права Федора Михайловича (1829—1894).

передавать с неподражаемым комизмом. Самая фигура Дмитриева, особенно в молодых летах, имела в себе что-то комическое: необыкновенно маленького роста, с необыкновенно длинным носом, осененным очками, живой, вертлявый, с умным и проницательным взглядом, с ироническою улыбкою на устах, он вносил веселье во всякое общество. Но точно так же он умел вести серьезный разговор, тонко и умно затрагивая разнообразные стороны мысли и чувства. С ним можно было видеться каждый день и беседовать по целым часам, и всегда с одинаковым оживлением. Не на всех, однако, он производил благоприятное впечатление. Ядовитые его выходки отталкивали от него многих и возбуждали к нему вражду. Вообще, хотя он был очень общителен и легко сходился с людьми, но к человеческим слабостям он вовсе не был снисходителен, а к пошлости часто бывал нетерпим. У него была какая-то брезгливость, которая выражалась в колких и едких суждениях, что с первого раза заставляло его остерегаться. Но кто узнавал его ближе, тот скоро откидывал всякую осторожность. С друзьями он был в высшей степени добродушен, хотя и они становились постоянным предметом его шуток. Ему дозволялись всякие невинные остроты, ибо знали, что под язвительными формами скрывалось нежное и любящее сердце, открытое всякому добру. Его искренняя привязанность к друзьям, его страсть к детям, его горячее и симпатическое отношение к юношеству, которое льнуло к нему в то время, как он был профессором Московского университета, обличали его в сущности мягкую и добрую натуру и делали его дорогим всякому, кто подходил к нему близко и заглядывал в его душу.

У него были некоторые мелочные черты. Он имел страсть ко всяким безделушкам, которыми любил украшать свою маленькую фигурку, что особенно проявилось, когда он получил возможность располагать довольно порядочными деньгами. Нередко он приписывал себе острое словцо, которого никогда не говорил. Он дорожил светскими отношениями и любил разыгрывать маленькую роль в маленьком кружке. Но все это было весьма невинно. Друзья подтрунивали над его слабостями, и он принимал это очень добродушно. Под старость эта сторона его характера развилась в мелкое честолюбие,

которое, наконец, охватило его всего и затемнило прекрасные качества его ума и сердца. Сама судьба его на это натолкнула, а современное русское общество довершило остальное. Пока он занимался наукою и преподаванием, у него был живой умственный интерес, который возвышал его над жизненными мелочами. Но он принужден был оставить университет. Болезнь глаз положила предел и его научным занятиям. Да и сам по себе, чисто кабинетный труд мало приходился к его живой, общительной и деятельной натуре. Я на себе испытал, что писать ученые книги в настоящее время в России — работа в высшей степени неблагодарная. Можно сказать, что это подвиг самоотвержения, на который может решиться лишь тот, у кого выработались своеобразные взгляды, которые он чувствует потребность высказать, хотя бы только для собственного удовлетворения. Дмитриеву нужен был иной исход. Поселившись в провинции, где ему по наследству от тетки досталось довольно значительное состояние, он весь погрузился в земскую деятельность и скоро стал центром и душою своего уезда, который совершенно преобразился под его влиянием. Те, которые видели его на этом поприще, не могли им налюбоваться. Ю. Ф. Самарин, который тоже был сызранским помещиком, с тех пор вошел с ним в дружеские отношения. Деятельность Дмитриева была неутомима. Он был и уездным предводителем, и председателем мирового съезда, и председателем училищного совета. При постоянно плохом здоровье, он ездил по самым невозможным дорогам, чтобы обозревать школы и производить экзамены. Несмотря, однако, на существенную приносимую им пользу, несмотря на первенствующую роль, которую он играл в этой среде, ему было в ней тесно. Человеку с широким умом и образованием, трудно закабалить себя в узкой провинциальной сфере, которая волею или неволею наполняет его своими мелкими интересами, а удовлетворения все-таки не дает. К тому же, и здоровье не дозволяло ему продолжать эту жизнь. Поэтому он жадно ухватился за предложение барона Николаи, который, будучи назначен министром народного просвещения в начале нынешнего царствования, призвал его к управлению Петербургским учебным округом.

Это был роковой шаг в его жизни. При бароне Николаи, какой он ни был чиновник, можно было служить с честью; но он скоро слетел вследствие происков Каткова и Победоносцева. Тогдашним заправилам нужно было более удобное орудие, и вскоре после катастрофы 1 марта, управление взволнованным русским юношеством, которое требовало прежде всего разумного руководства, было вверено старой, истасканной и засаленной армянской тряпке. Делянов давно был известен в Министерстве народного просвещения и заслужил всеобщее презрение. Он был лакеем графа Толстого, лакеем Каткова, лакеем всякого, кто имел силу. Возведение его в должность министра означало торжество направления „Московских Ведомостей", которые стремились уничтожить всякую самостоятельную жизнь университетов и подчинить все народное образование в России бюрократическому произволу, направляемому из-за журнального стола. Вскоре в этом духе внесен был в Государственный совет новый университетский устав, который все университеты ставил вверх дном без всякой мысли и всякого повода. Но мой взгляд служить в Министерстве народного просвещения при таких условиях для независимого и порядочного человека было невозможно, и я настойчиво уговарипривал Дмитриева выйти в отставку. Я должен сказать, что ни один из наших общих друзей меня в этом случае не поддержал. Несчастная, распространенная в России, хотя постоянно обличаемая практикою мысль, что можно принести пользу, делаясь органом вредного направления, побуждала наших друзей одобрить решение Дмитриева остаться на своем месте, пока не будет прямого повода к выходу. Единственная польза, которую он принес, состояла в том, что он своею энергиею и авторитетом расчистил поле для Делянова и Каткова. С самого начала возникли студенческие беспорядки, вызванные подлым адресом Полякова, устроенным от имени студентов агентами министерства помимо попечителя. На обеде, которым ознаменовалось открытие учрежденного Поляковым студенческого общежития, министр, в своей речи, ставил этого железнодорожного пройдоху на ряду с славнейшими именами русской земли. Я говорил Дмитриеву, что поведение Делянова в этом деле совершенно невозможное и представляет более, нежели

достаточный повод для выхода в отставку. На это общая наша приятельница, баронесса Раден, воскликнула: „Уходить теперь в оставку значит бежать с поля битвы; после — другое дело“. Дмитриев ухватился за этот предлог. Он употребил всю свою решимость и все свое умение, чтобы подавить волнения. Университет был очищен; но выходить в отставку он не думал. Он объявил, что выйдет, если пройдет новый университетский устав. Я опять убеждал его, что тогда будет поздно: теперь его отставка явиться протестом против министерства, заявлением несогласия с новым уставом людей, близко знающих дело; тогда же выход его будет бесполезным протестом против вошедшего в силу закона, то есть, против воли государя. Но Дмитриев все надеялся, что устав не пройдет, по крайнеи мере, в том виде, в каком он был представлен, ибо противником его выступал сам Победоносцев. Однако, и эта лазейка была у него отнята. Несмотря на значительное большинство Государственного совета, высказавшееся против нового устава, по внушению того же Победоносцева образован был маленький комитет, подобранный из приверженцев преобразования: графа Толстого, Делянова и Островского; защитником же старого устава явилось только одно лицо, сам предатель, прокурор св. Синода. Дмитриев защищал последнего, уверяя, что его обманули; но из всего хода дела и из переданных мне собственных слов Победоносцева видно, что он просто сдался, уступая личным отношениям, и подстроил все это дело так, что Государственному совету оказано было явное презрение. Дело, обсужденное в верховном государственном учреждении, которого все значение заключается в том, чтобы изъять самодержавную волю из сферы частных и потаенных влияний, переносилось для нового обсуждения в маленький комитет доверенных лиц. Результатом было то, что представленный министерством устав был утвержден во всем своем безумии. Русское юношество принесено было в жертву личным целям Каткова.

Дмитриеву ничего более не оставалось, как выйти в отставку. Он это и сделал, однако и тут показал свою слабость. Делянов просил его остаться еще несколько месяцев, и он на это согласился. Пришлось самому вводить новый устав, соб-

ственными руками разорять университет, наносить смертельный удар высшему образованию в России. Я его спросил, как он мог на это итти. „Я так решительно действовать не могу,— отвечал он, — я вышел, чего же более“? Тут же он высказал, что он через Победоносцева хлопочет о назначении его сенатором, в надежде, что Делянов долго не породержится, и тогда он будет министром. В Сенат его действительно посадили, но министром он не сделался. Делянов все сидел, да сидел. Взамен того, несколько лет спустя, Победоносцев обещал представить его в члены Государственного совета. В это время мы с ним случайно съехались в Москве, и он очень важно возвестил мне эту новость. „Охота же тебе лезть в эту плевательницу, — воскликнул я невольно.— Ты хочешь сидеть рядом с выжившими из ума стариками, с которыми не считают даже нужным сколько-нибудь церемониться.“ На это все тем же важным тоном возразил, что его посадят не в общее собрание, а в Департамент. Я увидел, что он неисцелим. Проказа петербургского чиновничества проникла до мозга костей.

Человеку, погрузившемуся в этот омут, трудно избегнуть заразы. Я сам, когда в позднейшее время живал в Петербурге, чувствовал на себе развращающее действие этой атмосферы. На расспросы о моих впечатлениях, я отвечал, что, вращаясь некоторое время в высших сферах, я замечал в себе странное изменение: то, что прежде я считал важным, начинало казаться мне неважным, и, наоборот, то, что я считал вовсе неважным, начинало мне представляться важным; затем, когда выберешься оттуда, восстанавливается нормальное человеческое воззрение. В Петербурге приходится или негодоватъ вечно и волноваться, или делаться равнодушным и примиряться с существующим. Вследствие этого я петербургских жителей разделял на две большие категории: на беснующихся и пресмыкающихся. Однажды я сообщил Дмитриеву эту классификацию. „Я беснующийся“— воскликнул он живо.—„Ну, куда тебе! — возразил я смеясь;—разве сенаторы бывают беснующиеся?“—Но мне было вовсе не до смеха. Я не мог без сердечной боли видеть упадок этого человека, с которым я столько лет был близок, который меня любил так же, как и я его. Мы жили как бы в разных мирах и перестали понимать друг друга. То, что воз-

мущало одного, что перевертывало в нем душу, то другому казалось естественным и простительным. Это было уж не различие мнений, а противоположность нравственных взглядов. Примириться с этим я не мог. Я понимаю, что человек, посвятивший службе всю свою жизнь, которому она дает насущный хлеб, принужден бывает делаться орудием даже такого направления, которое он считает вредным. Чиновник по ремеслу волею или неволею должен остаться таковым. Но нельзя глубоко не скорбеть, когда видишь, что человек вполне независимый, с обеспеченным состоянием, с обширным умом, с благородными убеждениями, от которых он никогда не отрекался, человек, составивший себе крупное имя в литературе и обществе, на старости лет лезет в чиновники, радуется внешним почестям, становиться слугою правительства, которого направление он считает пагубным для отечества, и все это делает с значительными личными пожертвованиями, расставаясь с семьею, которую любит, обрекая себя на одинокую и печальную жизнь в раболепной и удушливой среде, внушающей отвращение всякому возвышенному уму и благородному сердцу. Есть нравственные обязанности перед отечеством, которые люди, выходящие из ряду вон, не в праве забывать, обязанность показывать пример стойкости убеждений и независимости характера в обществе, слишком склонном пренебрегать и тем и другим. И все это учиняется ради пошленького сенаторского местечка.

Сам Дмитриев с свойственною ему удивительною меткостью, однажды так характеризовал отношение петербургской бюрократии к земским людям: „она поступает с ними, как Геркулес с Титаном: поднимет их высоко на воздух, оторвет от почвы, из которой они почерпывают всю свою силу, и так их и задушит". От него ускользало, что он сам подвергался той же участи.

Членом Государственного совета Дмитриева все-таки не сделали. Его сочли все еще слишком независимым для того, чтобы причислить к высшему разряду государственных людей. Выход из попечителей после нового университетского устава был сочтен актом своеволия, который требовал наказания. К тому же, своим острым языком, который не унимался

и в петербургской среде, он постоянно наживал себе врагов. Наконец, к этому присоединялась идущая еще от университетской истории непримеримая неприязнь графа Толстого, который имел наибольшее влияние на ум государя. Вследствие всего этого, Победоносцеву было отказано в сделанном им представлении, между тем как в то же самое время, по ходатайству того же самого Победоносцева, в Государственный совет посадили жиденькаго барона Менгдена, который даже и не мечтал о такой почести, а хлопотал только о том, чтобы попасть в сенаторы. Дмитриев не потерял, впрочем, надежды. Года два спустя, сестра моя, Нарышкина, которая осталась с ним в самых приятельских отношениях, писала из Петербурга: „Не понимаю нашего общего друга; и спит и видит быть членом Государственного совета. А все из пустого тщеславия!"

Так бедный Дмитриев и не дождался желанного повышения. Он умер сенатором. В последние годы его жизни мы почти не видались. В Москву он наезжал, когда меня там не было, а я не ездил в Петербург. Но в январе 1894 года мы случайно съехались в Москве и провели несколько дней вместе. Он произвел на меня впечатление совершенной развалины. Прежний огонь потух; от отличавших его живости и остроумия не осталось и следа. Он говорил медленно, с трудом, кашляя и задыхаясь, через меру длинно, но без оживления рассказывал о сенаторских делах и всяких петербургских сплетнях. Видно было, что его в самом корне подточило недовольство и собою, и своим положением. Мне его стало невыразимо жалко. Я вспомнил, чем он был прежде, все живое, сердечное и благородное, что некогда таилось в этой душе. Старое дружеское чувство воспрянуло с новою силою. Я няньчился с этим чувством, как бы предвидя, что ему в последний раз дано проявиться. Всякий день мы видались и утром, и вечером; я старался быть как можно ласковее и дружелюбнее, избегая всего, что могло его сколько-нибудь задеть. Повидимому, это его тронуло; вернувшись в Петербург, он с чувством говорил обо мне моей жене. При прощании я обнял его от полноты сердца и сказал, что бог знает, увидимся ли еще. И точно, через две недели его не стало. Господствовавшая инфлюенца неожиданно унесла

его в несколько дней. Он умер одинокий, вдали от семьи и друзей, как растение, пересаженное на чужую почву, и там заглох и предался забвению. Хоронили его в Москве; отпевание происходило в университетской церкви, в том учреждении, которому он посвятил лучшие свои силы. Народу было немного; кроме семьи и нескольких оставшихся в живых старых друзей, с горестью вспоминали о нем молодые люди, которым он всегда оказывал и сердечное участие, и матерьяльную помощь. На следующий день после похорон я напечатал в „Русских Ведомостях" посвященную его памяти статью, которая вылилась из сердца и произвела некоторое впечатление. Прилагаю ее в конце, а здесь выписываю последние прощальные слова[1].

„Мир душе твоей, старый друг. Перед твоею могилою исчезают грустные воспоминания последних лет и еще живее воскресает светлый образ давно прошедшего, прожитые с тобою дни молодости, память о той жизни, которую ты вокруг себя разливал, о твоем тонком и образованном уме, неистощимой веселости, блестящем остроумии, о тех нравственных свойствах, которые делали тебя дорогим всякому, кому доводилось подойти к тебе близко и заглянуть в твое сердце. Один за другим уходят прежние ратники на поле мысли и труда, унося с собою живую часть прошлого. Старикам остается с грустью озираться на пройденный путь, вспоминая о тех временах, когда и сошедшие ныне в могилу и немногие оставшиеся в живых шли дружной фалангой, одушевленные верою в будушность России, в науку, в свободу, в развитие человечества, одним словом, в те идеалы, которые одни делают человеческую жизнь достойною этого названия и для которых стоит жить на земле".

Я ввел в кружок Станкевича другого моего сверстника, с которым я в это время очень подружился — Льва Толстого. Но он скоро отстал; серьезные умственные интересы были вовсе не его сферою. Он тогда успел уже приобрести себе громкое имя своими очерками: „Детство и юность" и своими „Севасто-

---

[1] „Русск. Ведомости" 4 января 1894 г. Текст статьи к копии, принадлежащей издательству, не приложен.

польскими рассказами". По окончании войны, прожив некоторое время в Петербурге, он вышел в отставку и поселился в Москве, где жили его братья и сестра. Мы скоро с ним сблизились. Меня привлекала эта чуткая, восприимчивая, даровитая, нежная, а вместе с тем крепкая натура, это своеобразное сочетание мягкости и силы, которое придавало ему какую-то особенную прелесть и оригинальность. Мы виделись почти каждый день, иногда ездили ужинать вдвоем и вели долгие беседы. Образования он не имел почти никакого, ничего не читал; но душа его была в то время всему открыта, и собственные его, более или менее фантастические мысли облекались в своеобразную и заманчивую форму. Наклонность его преследовать всякую позу в себе и других, которая привела к столкновению его с Тургеневым, никогда не вносила ни малейшей тени в наши взаимные отношения. Мы жили душа в душу. Я и теперь не могу без умиления перечитывать его старые письма. От них веет такою свежестью, искренностью и молодостью, они так хорошо рисуют его в эту первую пору развития его таланта и так живо переносят меня в это далекое время, что не могу отказать себе в удовольствии сделать из них некоторые выписки.

Весною 1858 года он уехал в деревню, занялся хозяйством и писал мне: „Здравствуй, милый друг. Ты, я думаю, злился и уже перезлился на меня, так что письмо это застанет тебя равнодушным; это было бы мне очень, очень больно. Впрочем, тебя не угадаешь; ты субъект странный. Не писал я тебе оттого, что с приезда моего в деревню и до сей минуты буквально не брал пера в руки — сеял, косил, жал и т. д. — тоже буквально. Я не могу заниматься чем-нибудь немножко. От этого я и тобой не занимался; теперь же, в эту минуту, я весь в тебе и отдал бы все скирды, сложенные моими трудами, за вечер с тобою. — Хочется опять умственных волнений и восторгов, которые, однако, мне так надоели, что я четыре месяца отдыхал от них в физическом труде; хочется слушать тебя, разгадывать, даром, мгновенно ловить трудом выработанную мысль, усваивать их, цеплять одну за другую и строить миры, новые, громадные, с одной целью: любоваться на их величавость. Ты, верно, понимаешь, что я хочу сказать. Как я провел

нынешнее лето? трудно сказать и на словах, не только в письме.

„Два дня лежало это письмо; я остановился на том месте, где хотел начать хвастаться,—совестно стало, а есть чем похвастаться. Построить свой честный мирок среди всей окружающей застарелой мерзости и лжи, стоит чего-нибудь, и, главное, успеть—дает гордую радость. Быть искушаемым на каждом шагу употребить власть против обмана, лжи, варварства и, не употребляя ее, обойти обман — штука! И я сделал ее. Зато и труда было много; зато и труд вознагражден, во-первых, самим трудом и огромным новым содержанием, почерпнутым мною в это лето. В чем оно, не расскажешь, но следы его всякий человек, любящий меня, увидит легко на мне; почему я и сам их на себе вижу и чувствую.—Но не о том хочется говорить. Читал ли ты переписку Станкевича? Боже мой! что за прелесть. Вот человек, которого я любил бы, как себя. Веришь ли, у меня теперь слезы в глазах. — Я нынче только кончил его и ни о чем другом не могу думать. Больно читать его — слишком правда, убийствено-грустная правда. Вот где ешь его кровь и тело. И зачем? за что? мучилось, радовалось и тщетно желало такое милое, чудное существо. Зачем? ты скажешь: „затем, что бы ты плакал, его читая“. Да это я знаю и согласен, но этот ответ не мешает мне все-таки совсем из другого, более цельного, более человеческого источника спросить: зачем? и с каким-то болезненным удовольствием знать, что ничем, кроме грустью и ужасом, нельзя ответить на этот з а ч е м? Тот же з а ч е м звучит и в моей душе на все лучшее, что в ней есть; и это лучшее мне тем, не скажу, дороже, а больнее. Понимаешь ли ты меня, мой друг? Я бы желал, чтобы ты меня понял, а то на одного много этого — тяжело. Чорт знает, нервы что ли у меня расстроены, но мне хочется плакать и сейчас затворю дверь и буду плакать. Пора умирать нашему брату, когда не только не новы впечатленья бытья, но нет мысли, нет чувства, которое невольно не привело бы быть на краю бездны.—Счастливый ты человек, и дай бог тебе счастья. Тебе тесно, а мне широко, все широко, все не по силам, не по воображаемым силам. Истаскал я себя, растянул все, а вложить нечего. Прощай, как бы дорого я дал,

чтобы поговорить с тобою и смущенно замолчать. Пускай бы мальчики забегали в глазах, это ничего".[1]

В следующем году он писал:

„Благодарствуй за твое письмо, любезный друг Чичерин. Я уже боялся, что ты бросил писать ко мне за мою неаккуратность, причиной которой ничего и все—моя натура. Ну да что, это точно к родителям объясненье. Давно мы не видались, мой друг, и хотелось бы попримериться друг на друга: на много ли разъехались—кто куда? Я думаю иногда, что многое, многое во мне изменилось с тех пор, как мы, глядя друг на друга ели quatre mendiants у Шевалье, и думаю тоже, что это тупоумие эгоизма, который только над собой видит следы времени, а не чует их в других. Но у тебя в душе, я чай, многое повыросло, многое повыкрошилось за эти полтора года, и опять нам будет хорошо вместе. — Хотел было пофилософствовать с тобой о бессмертии души и о прочем, но на этом месте третьего дня помешали мне, и теперь не знаю, как допишется. Дам отчет тебе о своем прошедшем и о планах будущего. Жил я зиму в Москве, лето в деревне. В деревне занимаюсь хозяйством и хотя скучно и трудно, но с нынешнего года уже заметны кой-какие следы моих трудов и на земле, и на людях. А ты знаешь, что ничто так не привязывает к делу, как следы своего участия в нем. Я уже положительно могу сказать, что я не случайно и временно занимаюсь этом делом, а что я на всю жизнь избрал эту деятельность. Литературные занятия, я, кажется, окончательно бросил. Отчего? трудно сказать. Главное то, что все, что я делал, и что чувствую себя в силах сделать, так далеко от того, что бы хотел и должен бы был сделать. В доказательство того, что это я говорю искренно, не ломаясь перед тобою (редкий человек, когда говорит про себя, устоит от искушенья поломаться, хоть с самым близким человеком), я признаюсь, что мое отречение от литературной (лучшей в мире) деятельности было и теперь очень иногда тяжело мне. Все это время я то пытался опять писать, то старался заткнуть чем-нибудь пустоту, которую оставило во мне это

[1] Письмо напечатано по подлиннику Н. М. Мендельсоном в „Трудах Публичной Библиотеки СССР имени В. И. Ленина". (Сборник, „Письма Толстого и к Толстому", М. и Лгр., 1928), стр. 16—18.

отречение: то охотой, то светом, то даже наукой. Я начал заниматься естественными науками. Но теперь уж жизнь пошла ровно и полно без нее.— Решительно не могу дописать, два раза перервали, а теперь надо отправлять. Пришли пунктуальный адрес, а мне хочется писать тебе. Прощай, душа моя, я тебя очень, очень люблю. Я зиму нынешнюю живу и деревне; да и будущую тоже, я думаю. Уж ты в Ясную приедешь поговорить. Вот где горошо поговорить, пощупаться. Никакое ломание невозможно". [1]

Я старался убедить его, что, когда человеку дан от природы решительный талант, от литературной деятельности отказываться не следует. Но это его только рассердило. [2] На него, бывало, найдет какой-нибудь стих, и он вдруг начинал самые простые и естественные вещи находить гадкими и мерзкими. Но скоро эти случайные вспышки приходили и опять водворялось обычное благодушие.

Однако, и в то время уже проявлялась у него погубившая его впоследствии наклонность к резонерству. Уединенная жизнь в деревне еще более развила в нем эту болезнь. Его занимали высшие вопросы бытия, а подготовки для решения их не было никакой. Он и предавался своеобразному течению мысли, перемешанной с фантазиею. В лице Левина он изобразил себя, валяющегося на стоге сена и размышляющего обо всем на свете без малейшей руководящей нити. Такое резонирующее направление уже само по себе вредит художественному смыслу; но у него к этому присоединялось еще удивительное упорство в отстаивании случайно взбредшего ему на ум всякого вздора. Он сам и его близкие рассказывали мне со смехом, что с самой ранней молодости на него по временам находила разная дурь. Вдруг он вообразил себе, что человеку ничего не нужно, устроил себе халат, который служил ему единственною одеждою и жилищем, и жил как Диоген. Затем эта дурь проходила и являлась какая-нибудь другая, которой он держался так же упорно, как и первый. С летами это упорство в исключительно овладевшей им мысли, это радикальное отрицание всего, что к ней

---

[1] „Письма Толстого и к Толстому", стр. 18—19.

[2] Письмо, рассердившее Л. Н. Толстого (из Берлина от 5/17 декабря 1859 г.), напечатано там же стр. 279—281; ответ Толстого, стр. 19—21.

не подходило, получало все большее развитие. Я видел тому удивительные примеры. В 1860 году он поехал за границу, был в Италии и приехал в Париж, где я находился в это время. Я начинал тогда составлять собрание гравюр старинных мастеров и показывал ему свои приобретения. Рембрандтами и Дюрерами он восхищался; но Марк-Антониев (?) он презрительно отбрасывал в сторону, уверяя, что вся итальянская школа совершеннейшая дрянь. В это время он вздумал заниматься педагогикой и покупал в Париже разные раскрашенные литографии для своей будущей школы. Эти литографии изделия какого-то Гренье очень ему нравились. Накупивши картинок и осмотревши несколько школ, он поехал на несколько дней в Брюссель, повидаться с знакомою дамою,[1] занимавшейся также педагогикой. Оттуда он писал мне всякий день, и я отвечал ему из Парижа. В одном из его писем было буквально следующее: „Когда Рафаэль с картофельно-шишковатыми формами мне противен, а картинки Гренье приводят меня в умиление, я не единой минуты не сомневаюсь, что Гренье выше Рафаэля“. Ему не приходило в голову, что вкус его может быть неверен, что он может ошибаться, и что для произнесения приговоров нужно кой-чему поучиться.

Страсть к педагогике продолжалась несколько лет. Он заводил школы, сам учил мальчиков, издавал „Ясную Поляну“. Но потом жар охладел, и все это было брошено. Взамен того он вообразил себя мыслителем, призванным поучать мир. К этому он менее всего был способен. О философии он не имел понятия. Он сам признавался мне, что пробовал читать Гегеля, но что для него это была китайская грамота. Шопенгауер, рекомендованный ему Фетом, был его единственной пищею. Но, несмотря на это, можно сказать, полное отсутствие философских знаний, он храбро уверял в своих писаниях, что он проглотил всю человеческую мудрость и нашел, что она суета сует. „Соломон, Шопенгауэр, и я“, такова была троица, которую он цитировал на листах своих поучений. Наконец, он пришел к тому, что всякая головная работа, то есть, то, что было ему недоступно, объявлялась дьявольским навождением. Он прямо высказал эту мысль в Сказке об Иване Царевиче.

[1] См. Дополнительные примечания.

Взамен того он жадно стал хвататься за всякую нелепость, порожденную невежеством. Как он прежде мудрецом считал Фета, так он величайшим мыслителем признал князя Урусова [1]. Этот князь Урусов был севастопольский герой и известный шахматный игрок, но отличался крайним скудоумием. Князь Виктор Илларионович Васильчиков рассказывал мне, в какой он был повергнут конфуз, когда однажды Хрулев предложил ему назначить Урусова начальником редута, и он, не заметив присутствия последняго слишком резко отозвался об его умственных способностях. После войны князь Урусов вышел в отставку и принялся писать философские статьи. Как то раз Сергей Рачинский, в виде курьеза, принес нам изданную им брошюрку. Этот была такая невероятная галиматья, что все присутствовавшие хохотали до упаду. Оказалось, что именно из этой брошюрки Толстой почерпнул все те исторические теории, которые он внес в свой роман „Война и мир": эти теории как-раз отвечали той задаче, которую поставил себе Толстой, и которая состояла в том, чтобы развенчать всех великих людей и все приписывать действию маленьких невидимых единиц, руководимых темными инстинктами. И мысль, и воля человека все осуждалось бесповоротно. Толстой Шекспира объявлял дрянью за то, что он изображал небывалых цезарей. Точно так же он не хотел признавать Пушкина, утверждая, что русскому народу нет дела до воспеваемых им ножек. Все свелось, наконец, к поклонению уму и деятельности мужика. Мужицкое изречение выдавалось за верх человеческой мудрости; физический труд признавался единственным полезным и нормальным. Толстой, который уже и прежде косил и пахал вместе с крестьянами, начал собственноручно класть печи и точать сапоги. Из крестьянской среды он стал почерпать и религиозные свои убеждения. Одно время под влиянием пробудившихся религиозных потребностей, он примкнул к православию; но скоро он отверг всякую официальную систему.

Вместо того, узнавши о существовании в Тверской губернии своеобразного раскольника, Сютяева, [2] он поехал туда,

---

[1] Урусов Сергей Семенович, князь (1827—1897).

[2] Сютаев Василий Кириллович (1819 (?) — 1892), крестьянин дер. Шевелино, Новоторжского уезда, Тверской губернии, сектант.

привез его к себе в Москву и стал у него поучаться. От него он заимствовал взгляды, которые потом распространял в рукописных брошюрах. Сам он сделался главою религиозной секты. Он переделал Евангелие, приспособляя его к своему учению, откинув все сверхестественное и переиначивая тексты по своей фантазии. В этом удивительном произведении Христос превращается в графа Льва Николаевича Толстого. Более противонаучнаго и противохудожественнаго изуродования святыни невозможно представить. И все это делалось с тою же самоуверенностью, с какою он Гренье ставил выше Рафаэля. В предисловии к своему Евангелию, сравнив официальную церковь с мешком вонючей грязи, в котором находиться перл, он говорит: „Может показаться странным, что в течение 1800 лет никто не докопался до этого перла, и я первый его открыл. Да, это действительно странно, но, тем не менее, это так".

Для тех, кто близко знали Толстого, все эти печальные блуждания крупнаго таланта легко объясняются отрицательными свойствами его ума и характера. Эта была новая дурь, сменившая прежние, но уже более закоснелая и упорная. Невинные фантазии молодости перешли в умственное самодурство старости, поддержанное всею приобретенною славою писателя и постоянным каждением многочисленных поклонников. В русском обществе путная мысль редко находит отголосок, но всякое пустословие встречает отзыв и сочувствие. Как перед Катковым стояли, развесив уши, патриотические Бобчинские и Добчинские, так Бобчинские и Добчинские другого рода окружали Толстого. Ему поклонялись, как мудрецу, возвещающему человечеству новые истины; его возводили в гении. Между прочим его жена рассказывала мне, что в Петербурге, куда она ездила хлопотать о пропуске какой-то статьи, Победоносцев, к которому она обратилась, сказал ей, что ее мужу недостает умственного равновесия, побуждающего человека удаляться от крайностей и стать посредине истины. Когда она сообщила это Страхову, последний воскликнул: „Вы бы ему отвечали, что гений стоит выше всего этого". Под влиянием Толстого на разных концах России стали устраиваться маленькие общины, занятые земледельческим трудом, с общением имуществ. Благовоспитанные юноши братались с конюхами, переходили в крестьянское житье, соеди-

нялись браком без всяких обрядов. Жены разлучались с мужьями, дети с родителями. Сам же Толстой, проповедуя отречение от всех жизненных благ, преспокойно продолжает ими пользоваться, предоставив все матерьяльные заботы своей жене, которая взяла в свои руки и издание сочинений, и все хозяйственные хлопоты. Благодаря ей благосостояние многочисленной семьи обеспечено. А муж на все это смотрит благодушно, как-будто это до него не касается. Он занимается рубкою дров и тачанием сапог, причем его поклонники таинственно сообщают, что он переносит эту противоречащую его убеждениям жизнь, как возложенный на него крест. Иногда он пишет и поучения о том, как следует жить, или о вреде крепких напитков, или вдруг выступает перед публикою с нравоучительною повестью в роде „Крейцеровой сонаты“, которая на читателя, сохранившего каплю эстетическаго вкуса, производит впечатление рвотнаго, но в современной публике находит громадное количество почитателей. В описании грязи видят предостерегающее средство против чувственных увлечений.

При таком господстве одуряющей атмосферы, наши отношения, разумеется, не могли остаться прежними. Мы много лет почти не видались. Он жил безвыездно в Ясной Поляне, а я в Москве или у себе в деревне. Встречи были весьма редкие, всегда дружелюбные; но всякий раз чувствовалось, что мы расходимся все более и более. Сначала я спорил, но потом увидал, что это совершенно бесполезно, и он, с своей стороны, постоянно твердит, что надобно говорить о том, в чем люди сходятся и избегать предметов разногласия. Узнавши из газет, что он болен, я к нему заехал по пути из Крыма (1890). Нашел его выздоравливающим, в обычном его спокойном благодушии. Несмотря на то, что он в своих статьях ругает докторов, как первых врагов человечества, он советывался с Захарьиным и по его предписанию пил воды. Я увидел Диогена, живущего в просторном доме и пользующегося всеми удобствами жизни, но продолжающего уверять, что надобно жить в бочке и исполнять самые низкие работы, ибо только относительно их можно быть уверенным, что они несомненно полезны. Попрежнему свидание было самое друже-

любное, я слушал, не возражая, но чувствовал, что общего уже ничего нет. Осталось только сердечное воспоминание прежней связи. Было время, когда мы оба были молоды и плыли рядом по одной жизненной волне. Но скоро поток унес нас в разные стороны и выбросил на противоположные берега. И теперь, глядя на некогда близкого человека, измеряешь грустным взором разделяющее нас расстояние. Воспоминания молодости нередко служат огорчением старости[1].

В московских кружках, примыкавших к „Русскому Вестнику", появлялись иногда и два петербургских литератора, с которыми я тогда познакомился, Безобразов и Салтыков. Оба в то время только что выступали на литературное поприще и писали в московском журнале. Они были товарищами по лицею и в Петербурге жили в одном доме, Безобразов наверху, а Салтыков внизу. Однако, они мало сходились или, может быть, в это время разошлись. Однажды Безобразов приезжает в Москву. Я спрашиваю его о Салтыкове. „Помилуйте,—отвечает он—у него такое самолюбие, что просто мочи нет. И представьте, он и днем и ночью читает свои произведения своей бедной жене. Она не знает куда от него деваться". Несколько времени спустя, приезжает Салтыков. Я его спрашиваю о Безобразове. „Безобразов,—воскликнул он,—да это такое раздутое самолюбие, что ни на что не похоже. Он воображает себя великим писателем. И, представьте, совсем зачитал свою жену. Он ее в гроб сведет". Действительно, самолюбие было выдающеюся чертою у обоих; но оно проявлялось в разной форме. Безобразов был образованнее Салтыкова. Получивши в лицее обычное, весьма поверхностное подготовление, он дополнял его чтением. Он добросовестно занимался экономическими и финансовыми вопросами. Но при недостатке природных способностей, все выходило у него чрезвычайно жидко, а, между тем, он хотел разыгрывать роль, постоянно носился с собою, был в вечной ажитации, говорил, что надобно сходиться, столковываться, хотя столковаться было решительно не

[1] Для истории отношений Б. Н. Чичерина и Л. Н. Толстого богатый материал дает их переписка, напечатанная в „Трудах Публичной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина"; см. вводную статью к письмам Толстого к Чичерину—Н. М. Мендельсона.

за чем. Вообще, жижица, наполненная собою, вечно волнующаяся и старающаяся раздуться, представляла не очень привлекательное явление. Салтыков был гораздо умнее и даровитее; но это была грубая и пошлая натура, что выражалось и в его голове, и в его манерах. В то время он печатал в „Русском Вестнике“ свои „Губернские очерки“, которые производили эффект, как разоблачение внутренних наших язв, но которые в сущности были только карикатуры Гоголя. Изображая пошлость с неподражаемым мастерством, Гоголь стоял вне ее и описывал ее, как художник. Щедрин же сам всласть валялся в пошлости и грязи, так что чтение его становилось, наконец, противным. Впоследствии талант его развился, хотя не сделался более высоким. У него был бьющий ключем юмор, иногда меткий, часто забавный, редко художественный, которым несколько искупались крайне поверхностное понимание жизни, одностороннее и тенденциозное отношение к явлениям, полный недостаток изящества и вкуса, наконец, отстутствие истинно художественнаго таланта. Гоголь с глубоким сочувствием относился к человеческим чертам даже в пошлых лицах. Он не стал бы глумиться над несчастным помещиком, воспитанным в мягкой патриархальной среде, который не умеет справиться с новыми отношениями и погибает под бременем внезапно обрушившихся на него суровых требований жизни. У Щедрина грубое и пошлое глумление составляет отличительную черту его сатиры. В сальностях он купался, как в родной ему сфере, даже когда это вовсе не было нужно. И все это он размазывал без удержу, вопреки самым элементарным требованиям художественной отделки. Под конец у него пропал даже юмор; он впал в уныние, и тогда сделался уже совершенно невыносим. Причислять его к разряду крупных талантов, которыми может гордиться Россия, нет никакой возможности. Он может считаться одним из типических представителей современной жизни, но не как писатель, глубоко ее понимающий, а как порождение современного брожения. Сатирик не понимал, что собственное его направление составляет одну из язв русского общества.

Кроме своих друзей и кружка „Русскаго Вестника“, я в это время часто видался и с славянофилами. Кошелев, кото-

рый с Павловым был давнишний приятель, очень меня обласкал и зазвал к себе. У него еженедельно собирались по вечерам, и тут, в течение двух зим происходили бесконечные споры.

Отношение славянофилов к западникам состояло вовсе не в противоположности учений. Из предыдущего можно видеть, что у так называемых западников никакого общего учения не было. В этом направлении сходились люди с весьма разнообразными убеждениями: искренно православные и отвергавшие всякую религию, приверженцы метафизики и последователи опыта, социал-демократы и умеренные либералы, поклонники государства и защитники чистого индивидуализма. Всех их соединяло одно: уважение к науке и просвещению. И то и другое, очевидно, можно было получить только от Запада, а потому они сближение с Западом считали великим и счастливым событием в русской истории. При этом они вполне признавали, что когда младенческий народ приходит в соприкосновение с высшею цивилизациею, он сначала усваивает себе преимущественно внешние формы, иногда с большим легкомыслием; но лекарство от этого зла они видели в глубоком понимании и усвоении плодов просвещения, а никак не в возвращении к отжившей старине. Славянофилы, напротив, выработали весьма определенное учение, которое разделялось ими всеми. Эта была настоящая секта. В основании лежали возвышенные и верные начала; глубокое нравственно-религиозное чувство и пламенный патриотизм; но то и другое искажалось преувеличением, узостью и исключительностью.

По их теории источник всякого просвещения заключается в религии; и наука, и искусство от нее получают свои верховные начала. Западный мир развивался под влиянием двух оторвавшихся от истинного корня отраслей христианства: католицизма, свойственного романским племенам, и протестантизма, составляющего принадлежность племен германских. Эти две противоположные крайности одинаково удаляются от цельной христианской истины, хранимой православною церковью. Последняя представляет высшее единство противоположностей, вследствие чего она призвана создать из себя новую, высшую цивилизацию. Развитие Запада закончило свой круговорот и дало

из себя все, что могло дать; ныне это не более, как разлагающееся тело, которое должно уступить место новым, живым силам, лежащим в православном русском народе. Подобно тому, как греко-римский мир исчез в историческом процессе и передал знамя человеческого просвещения германцам, созданный последними западный мир должен, в свою очередь, уступить это знамя новому историческому деятелю, имеющему высшее призвание—России. Но, чтобы исполнить свое назначение, русский народ должен крепко держаться своих собственных начал. В новейшее время народное самосознание в нем помрачилось. Вследствие пагубного переворота, совершенного Петром Великим, высшие классы оторвались от родной почвы и примкнули к низшей, западной цивилизации. Истинные русские начала сохранились только в простом народе. Возвести эти начала в высшую, сознательную форму, пробудить в русском обществе затмившееся народное самосознание, такова должна быть цель русской мысли и литературы, и в этом состоит задача славянофильства.

Таким образом, в этом учении русский народ представлялся солью земли, высшим цветом человечества. Без упорной умственной работы, без исторической борьбы, просто вследствие того, что он от одряхлевшей Византии получил православие, он становился избранником божьим, призванным возвестить миру новые, неведомые дотоле начала. И среди этого народа, носителем его самосознания являлся маленький кружок славянофилов, которые выступали, как пророки будущего и обличители современного человечества. Они возносились на недосягаемую высоту, с которой они в безграничном самоуслаждении презрительно смотрели на гниющий западный мир и на жалких поклонников этой отживающей свой век цивилизации. И патриотизм, и религиозное чувство, и народное самолюбие, и личное тщеславие, все тут удовлетворялось. Но, конечно, все это было не более, как чистое фантазерство, лишенное всякого научного, как исторического, так и философского основания. Ни один серьезный ученый не мог примкнуть к этому направлению, которое, по самому существу своему, в научном отношении осталось бесплодным. Даже по древней русской истории, на которой сосредоточилась вся их любовь, славянофилы

не произвели ничего дельного. С трудом можно указать на серьезное исследование, вышедшее из их школы. Все основательные работы, имеющие действительно научное значение, принадлежат их противникам. Славянофильское учение было произведением досужих московских бар, дилетантов в науке, которые думали упорный труд и зрелую мысль заменить виртуозностью и умственною гимнастикою, создавая себе привилегированное умственное положение с помощью салонных разговоров и журнальных статеек. Значение их в истории русской мысли состояло единственно в том, что они возбуждали прения; но это более чем искупалось вредною стороною их деятельности, тем, что они сбивали с толку неприготовленные умы, которые ослеплялись блеском софистики и увлекались обаянием ходульного патриотизма. Никакого самосознания в русском обществе они не пробудили, а, напротив, охладили патриотические чувства тех, которые возмущались нелепым превознесением русского невежества над европейским образованием. Нет ничего, что бы так вредило всякому делу, как безрассудное преувеличение. Я сам на себе испытал, до какой степени прирожденная мне любовь к отечеству, составлявшая одно из самых заветных чувств моей жизни, страдала от необходимости вести войну с славянофилами. Приходилось напирать на темные стороны нашего быта, чтобы побороть то высокомерное презрение, с которым они относились к тому, что нам было всего полезнее и что одно способно было вывести нас из окружающего нас мрака. Ни одной путной мысли о так называемых русских началах они не высказали, а рассеяли только множество кривых воззрений, которые не мало содействовали господствующему ныне умственному хаосу. В практическом же отношении, лучшие из них легко сходились с западниками, ибо цель у тех и других была одна: расширение свободы. Поэтому, когда наступила пора практической деятельности, теоретические различия сгладились и споры умолкли.

Основателями славянофильского учения были Иван Васильевич Киреевский и Хомяков. К сожалению, я Киреевского не знал. Он умер в 1856 году, именно в то время, когда я ближе познакомился с славянофилами. Но я от многих о нем слыхал, как о самом симпатическом члене славяно-

фильского кружка. С кротким и мягким характером он соединял большую задушевность, значительный ум и широкое образование, которое как-то плохо клеилось с странностью его воззрений. Я уже говорил, как он, будучи в молодости ярым последователем Шеллинга, вслед за своим учителем перешел к религиозному миросозерцанию. Однако, он не примкнул к католицизму. Усвоив себе критические воззрения мюнхенской реакционной школы и отзываясь с сочувствием о новой философии Шеллинга, от которой он ожидал поворота в западной философии, сам он углубился в провославную мистику. Ополчаясь против рационализма так же, как западные мыслители богословской школы, он искал его корней не в протесте Лютера, а дальше, в учении самой католической церкви, которую он обвинял в том, что она поставила силлогизм на место живого единения любви: обвинение ложное, ибо, в противоположность православной церкви, преобладающим элементом в католицизме является начало власти, а вовсе не силлогизм. Исходя от этих начал, Киреевский хотел и в философии заменить логический анализ цельным воззрением, вытекающим из совокупности человеческих способностей. Вследствие этого он оклеветанных, по его мнению, мистиков, признавал глубочайшими мыслителями, единственными постигавшими истину в ее полноте. С этой точки зрения он излагал всю историю философии, древней и новой, уверяя, что все западное мышление развивалось под исключительным влиянием Аристотеля, того из греческих философов, который, по его определению, представлял не более, как посредственную обыкновенность. Во всем этом, конечно, не было ни тени научной истины. На лету схваченные явления освещались ложным светом и извращались в угоду фантастической теории, которой все достоинство заключалось в изящном изложении. Едва ли бы эти кабинетные измышления тихого и скромного Киреевского нашли себе приверженцев, если бы те же самые мысли с большим блеском и с большею настойчивостью не стал проповедывать Хомяков.

Хомяков был истинным главою партии. У него были все нужные для того свойства: определенность мысли, удивительная находчивость и изворотливость, дар слова, способность

убеждать и притягивать к себе людей, а вместе и те отрицательные качества, которые нередко обеспечивают успех. Он представлял необыкновенное сочетание силы, ума и самой беззастенчивой софистики, глубины чувства и легкомысленного шарлатанства. Друзья его видели только первую сторону, хотя иногда с улыбкою признавали его слабости; враги же обращали внимание преимущественно на вторую. Потому о нем выражались самые противоположные суждения со стороны людей, близко его знавших. Настоящее лицо составлялось из обоих. В молодости он славился, как поэт. Но стих его, всегда тщательно и изящно отделанный, был, вообще, холоден и безжизнен. Тургенев рассказывал, что однажды в споре с Аксаковым, он утверждал, что у Хомякова нет даже искры поэтического дарования, и взявши в руки книгу его стихотворений, доказал им, что все у него сочиненное, а не выливающееся из души, как у истинного поэта. Однако, под старость у него в стихах выражалось иногда глубокое религиозное чувство, а также патриотическое одушевление, которое в соединении с блеском образов подымало его до поэзии. Его скорбно-патриотические стихи по поводу Крымской кампании облетели всю Россию.[1]

Но на старости лет Хомяков не пленялся уже славою поэта. Ему не только хотелось быть мыслителем и ученым, но он положительно считал себя всеведущим. Не было пустого и мелкого вопроса, о котором бы он ни толковал с видом знатока: „Я специалист во всем“, — говорил бывший тамбовский губернский предводитель Никифоров; это изречение можно было вполне применить к Хомякову. Книги он глотал, как пилюли. Его друзья говорили, что ему достаточно одной ночи, чтобы усвоить себе самое глубокомысленное сочинение. Разумеется, таково было и чтение. Когда пошли толки о гегелизме, Хомяков заперся на несколько дней с „Логикой“ Гегеля и затем, вышедши из своего уединения, объявил, что он перегрыз четверик свищей. Однако, он с этими свищами обращался очень ловко и осторожно. Он утверждал, что в „Логике“ все так связано и выведено с такою последовательностью, что, приз-

---

[1] См. выше стр. 149.

навши первое положение, тождество чистого бытия и небытия, все остальное вытекает из него необходимым образом. Коренная ошибка заключается именно в этом первом положении, далее которого Хомяков и не шел в своих бесконечных спорах о гегелизме. Также обходился он и со всем остальным. Он знал множество названий книг, из каждой схватывал что-нибудь на лету и из всего этого делал удивительный винегрет. В статье о русской художественной школе говорилось и о всеобщей истории, и о винокурении, и об укатывании зимних дорог. У него был рецепт на все, и все эти рецепты он соединял в общую микстуру, которая должна была служить к вящему возвеличению славянофильства. Однажды в каком-то журнале он напечатал подобный попурри, и в той же книжке поместил статейку о борзых собаках. Встретив Михаила Александровича Дмитриева, он спросил его: „Что вы мне скажете о моей статье?"—„Да вот что,—отвечал остроязычный Дмитриев, — я все хотел у вас спросить: зачем это вы статью о борзых собаках поставили особо". Хомяков добродушно рассмеялся.

Такое же разнообразие всякой всячины представлял и его разговор, необыкновенно блестящий и остроумный, то серьезный, то шутливый. Говорил он без умолку, спорить любил до страсти, начинал в гостиной и продолжал на улице. Про него рассказывали по этому поводу забавные анекдоты. Однажды после какого-то литературного вечера Герцен, который отличался теми же свойствами, сел в свой экипаж и продолжал свой шумный разговор с ехавшим с ним вместе приятелем. После него выходит Хомяков, зовет кучера: нет экипажа. Оказалось, что его кучер уехал порожняком за Герценом и после оправдывался так: „Слышу, кричат, спорят; ну, думаю, верно барин. Я и поехал за ними".

Соперничая с Герценом в блеске и находчивости, Хомяков уступал ему в добросовестности, и это делало разговор его менее привлекательным. Без сомнения, в основных своих чувствах и мыслях он был вполне искренний человек, глубоко верующий, непоколебимый в своих убеждениях; это и давало ему возможность действовать на других, даже выходящих из ряда вон людей. Но в прениях вся его цель заключалась в том, чтобы какими бы то ни было средствами побить противника.

Он прибегал ко всяким уловкам, извивался, как змея, иногда сам подшучивал над предметом своего поклонения, чтобы устранить удар и показать свое беспристрастное отношение к вопросу. Пламенный патриот, видевший в русском народе властителя будущего, провозвестника новых идей, он с усмешкой говорил, что русский человек не выдумал даже мышеловки. Иногда же, припертый к стене, он не брезгал ссылкою на ложные факты и фантастические цитаты. Про него рассказывали, что однажды, встретившись с Цуриковым, который тоже занимался богословскими вопросами, он хотел поразить его цитатою какого-то несуществующего соборного постановления. Но Цуриков, который на этот счет сам был мастер, отвечал ему тем же, и они начали бомбардировать друг друга мнимыми постановлениями соборов, над чем сами после смеялись вместе с публикою. Мне также случалось натыкаться на такого рода ссылки в спорах с Хомяковым, и это было даже одно из первых моих впечатлений при ближайшем знакомстве с ним. В 1855 году он приехал на несколько дней в Петербург, где я в то время находился. Тургенев дал для него большой литературный вечер. Зашла речь об освобождении крестьян, и Хомяков стал разглагольствовать об общинном владении, как об исконном, специально русском учреждении, разрешающем все мировые задачи. Я в то время занимался этим вопросом; древние грамоты мне хорошо были известны, и я начал доказывать, что в древней России не было ничего подобного. Встретив такой неожиданный отпор и видя, что на почве напечатанных актов он со мною не справится, Хомяков сослался на то, что у Киреевского есть какие-то неизданные документы, которые неопровержимо доказывают существование у нас общинного владения в древнейшие времена. Разумеется, никто этому не поверил, и Тургенев на следующий день пошел трубить об этом по городу. Сам Хомяков поспешил переменить разговор и стал доказывать, что наши инженеры не умеют защищать Севастополь. Он говорил, что писал даже об этом Сакену[1] и послал ему описание изобретенных им сна-

[1] Граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен (1790—1851) был начальником Севастопольского гарнизона во время Крымской войны.

рядов для спускания пушек и для ночного освещения неприятельских траншей. Он воображал себя таким же специалистом в военном деле и в инженерном искусстве, как в философии, в употреблении барды и в борзых собаках.

Это энциклопедическое всеведение и эта неразборчивость в средствах происходили оттого, что Хомяков не был только убежденным человеком; он видел в себе предводителя партии, призванной изменить лицо мира. Его учение возносило его на высоту, с которой обозревалось настоящее, прошедшее и будущее. Никакая мелочь не должна была ускользать от его всевидящего ока, и все должно было служить торжеству славянофильской идеи. Нельзя было ни о чем с ним говорить, чтобы он тотчас же не свернул на отношение славянофилов к западникам. Эта была совершенная мания. Во всяком пустом вопросе, во всяком суждении о людях ему мерещилась коренная противоположность взглядов. Везде он видел темные интриги и каверзы, направленные против славянофилов. Он воображал, что общество их ненавидит, что бюрократия их преследует, а литература не имеет иной цели и иных стремлений, как их уничтожить. Мне случалось выражать удивление, что, вращаясь постоянно в противоположном лагере, я ничего не ведаю об этих кознях. „Это оттого, что вы стоите за редутом,“ — отвечал Хомяков. Между тем, мне было хорошо известно, что никакого редута тут не обреталось. Когда же появлялось что-нибудь выходящее из рядов славянофильской партии, хотя бы даже вовсе не замечательное, он предавался таким восторгам, что сами его друзья приходили в недоумение. Однажды при мне Ю. Ф. Самарин, с свойственною ему иронией, рассказывал, как Хомяков хотел обратить его к поклонению Мадонне, написанной славянофилом Мамоновым, который, будучи студентом, славился своими карикатурами, и как Юрий Федорович решительно не в состоянии был постигнуть ее красоты. Павлов, который был приятель с Хомяковым, услыхав об его восторгах, полетел его допрашивать: „Правда ли, что ты Мадонну Мамонова ставишь выше Сикстинской?“—„По идее выше,“—спокойно отвечал Хомяков.

Но главною его специальностью были богословские вопросы. Изданные им на французском языке богословские полеми-

ческие брошюры составляют, конечно, самое значительное из всего, что он писал.[1] За них его друзья возвели его даже в отцы церкви. В этих брошюрах выражается вся изворотливость его ума; но, вникая в них глубже, трудно усмотреть в них что-либо кроме чисто логической гимнастики. Об исторических исследованиях, которые в деле церковного предания имеют первенствующее значение, нет и помину. Все ограничивается построением церковной истории по правилам гегельянской философии, которою Хомяков, отвергая ее, пользовался, когда было нужно, только невпопад: из начального единства сперва выделяется одна противоположность — начало власти, затем другая — начало свободы, и над обеими возвышается, наконец, вытекающее из первоначальной основы—единомыслие любви, которое должно соединять все и всех. В то время эти брошюрки только что появились в печати, и Кошелев мне их навязал, как нечто весьма замечательное. Я внимательно их прочел и, возвращая их на вечере у Кошелева, сказал свое мнение. Хомяков, услыхав издали, что речь идет о его новых произведениях, тотчас подлетел и стал допрашивать, что я об них думаю. „Ваши брошюры повергли меня в недоумение,— отвечал я.— Вы отвергаете с одной стороны власть, как решающее начало в спорах, с другой стороны свободу, как ведущую к разногласию, и требуете единомыслия любви. Все это очень хорошо, когда оно есть; но что делать, когда его нет, как обыкновенно и случается между людьми? Ведь вы не признаете решения большинства“ — „Отнюдь нет,— отвечал Хомяков.— Тогда две церкви“.—„Как две?. Обе святы и непогрешимы?“—„Нет,— непогрешима только одна“.—„Которая же?“— „На это нет внешних признаков; дух истины открывается только любящему сердцу. Поститесь и молитесь, и вы узнаете“.—„Но тогда зачем же вы пишете полемические брошюрки; вы бы просто написали, что вы постились и молились и дух святой открыл вам, что православная церковь единая

[1] 1) Quelques mots par un chrétien orthodoxe sur les communions occidentales. Paris, 1853; 2) Id, Leipzig, 1855; 3) Id, 1858. В русском переводе статьи эти напечатаны в III томе Полного собрания сочинений А. С. Хомякова под заглавием: „Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях“.

и истинная. Католик будет воображать, что ему открыто совсем другое".—Хомяков стал доказывать, что для единомыслия любви необходимо предварительное общее совещание. „В таком случае, на что же вы нападаете?—возразил я.—Ведь совещание было; вопрос обсуждался на Флорентинском соборе. Католики остались при одном мнении, а мы при другом. Оказалось две церкви, которые никакими внешними признаками не различаются и могут иметь равное притязание на непогрешимость".—Но Хомяков утверждал, что совещание было вовсе не такое, какое требуется. Надобно было сначала прочесть старый символ веры, и потом уже обсуждать вопрос об исхождении св. духа, как требовал Марк Эфесский. Но его не послушали и прямо приступили к прениям. Я заметил, что тут уже вопрос сводится не к различию догмы, а просто к крючкотворству: надобно или сначала читать, а потом препираться, или прямо препираться. К этому окончательно и сводилось все это мишурное построение, которое под внешним блеском скрывало совершенную пустоту содержания. Обвиняя западную церковь в том, что она поставила силлогизм на место любви, славянофилы сами строили все свое богословское здание на чистых силлогизмах, и притом ложных, то есть на софистике.

Ревностным приверженцем этого учения был сам хозяин дома, где собирались, Александр Иванович Кошелев; но умственная поддержка, которую он мог дать своей партии, была весьма неважная. Я мало встречал образованных людей с меньшею способностью к теоретическим вопросам. Иногда я даже удивлялся, как человек несомненно очень умный в сфере практических интересов, оказывается до такой степени слабым, когда речь заходит о теоретическом предмете. Он не умел поддерживать ни одной мысли, а целиком глотал то, что клали ему в рот его друзья, повторяя одно и то же положение без малейшего доказательства. Пустота, изданных после его смерти записок, обличает скудость умственного содержания. В практических делах, напротив, он был смышлен и толковит, когда не увлекался своими теоретическими убеждениями. Он составил себе большое состояние в откупах, и, как говорили близко знающие его люди, несовсем прямыми путями. Дела шли

плохо, и Кошелев решился поставить все на карту: он на торгах снял несколько уездов смежных с его большим винокуренным заводом и стал производить корчемство в самых широких размерах. В результате получилось миллионное состояние, с которым он оставил откупное дело и поселился в Москве, желая разыгрывать здесь роль литературного мецента. На его средства издавались все славянофильские журналы и сборники. Он хотел также дом свой сделать литературным центром, где бы сходились славянофилы и западники. В особенности же он ревностно хлопотал о вербовке новых членов в малочисленную словянофильскую секту. Однажды он с обычною своею громкою усмешкою, походившею на рычание зверя, объявил, что он настоящего генерала уговорил надеть русское платье. И на следующий вторник я увидел в гостиной Кошелева толстого светского генерала, важно восседающего в мужицком одеянии. Это был Н. А. Жеребцов, автор пустейшей и нелепейшей книги „Histoire de la civilisation en Russie“.[1] Когда в описываемое время на сцену явился Кокорев,[2] славянофилы хотели и этого невежественного шарлатана завербовать в свой кружок. Они всячески с ним няньчились, что и вызвало ходившее тогда по рукам стихотворение, написанное Н. Н. Боборыкиным, с заключительным четверостишием принадлежавшим С. А. Соболевскому:

Во имя странного святого
Устроен ваш славянский скит.
На бочке там вина простого
Великий Кокорев сидит

Пред ним коленопреклоненный,
Не враг, конечно, откупов,
Кадит усердно муж почтенный,
Отец „Беседы“,[3] Кошелев.

---

[1] См. Б. Н. Чичерин, „Московский университет“ („Записи прошлого“) стр. 68.

[2] Откупщик Василий Александрович Кокорев (1817—1889) в 50-х годах одновременно разыгрывал роль либерала и выступал защитником винной монополии.

[3] „Русская Беседа“, орган славянофилов.

И воскадит ему он паки,
Пока его не сломит рог
Кабакомудрый Бенардаки,[1]
Двукрат продавший Таганрог.

Ревностный либерал Кошелев писал проекты освобождения крестьян и, как член рязанского комитета, ратовал против представителей дворянских интересов, князя Волконскаго и Офросимова. Он надеялся быть членом Редакционных Комиссий и играть там выдающуюся роль. Я в это время встретил его за границею. Он купался в море и говорил мне, что постоянно получает журналы заседаний Редакционных Комиссий, которыми он отменно доволен. Но по возвращению в Россию его постигла неожиданная неприятность. Государь, который почему-то был невысокого мнения о его нравственных свойствах, отказал в назначении. Тогда Кошелев немедленно повернул фронт и протянул руку своим бывшим противникам, Волконскому и Офросимову, чтобы вместе вести атаку против Редакционных Комиссий. Он сам с удивительною наивностью рассказывал об этом в своих записках.[2] Казалось бы, что после этого его друзья должны были сделаться с ним крайне осторожны. Однако же, когда они вместе с Милютиным призваны были к реорганизации Польши, они настояли на приглашении его в министры финансов, и на этот раз последовало согласие свыше. Однако, Кошелев некоторое время колебался, боясь потерять свою репутацию либерала. Ю. Ф. Самарин, который оставался в Москве, с большим юмором описывал в письме к Черкасскому, каким образом Кошелев, наконец, дал свое согласие. Получивши сперва его отказ, Черкасский из Варшавы писал Самарину, чтобы тот сделал предложение Бабсту. Самарин при Кошелеве прочел это письмо. Тогда Кошелев вдруг по своему обыкновению крякнул на всю улицу и громовым голосом воскликнул: „Я поеду“. Но и тут в самом скором времени последовал такой-же поворот фронта, как и во время Редакционных Комиссий. Будучи призван, как союзник, он тотчас же присоединился к врагам. В своих записках он с такою же невозмутимою наивностью рассказывает, что приехавши

[1] Грек-откупщик, описанный Гоголем под именем Костанжогло.

[2] Напечатаны в Берлине в 1884 году.

в Варшаву, он встретился с Арцымовичем и тут же объявил ему, что он вовсе не клеврет Милютина, а готов действовать заодно с своим собеседником. Они подали друг другу руку, и поддержанные наместником, пошли в поход против вызвавших его друзей. И на этот раз однако поход вышел неудачен. Не прошло и несколько месяцев, и Кошелев в отставке вернулся в Москву, украшенный анненскою лентою, которою он очень гордился. Политическая карьера его была кончена. Напрасно он за границею печатал брошюры, доказывавшие необходимость созвать земский собор; никто им не внимал. Оставалось опять разыгрывать в Москве роль литературного мецената. Он снова стал давать деньги на издание журналов, но на этот раз сошелся уже с социал-демократами, ибо старые славянофилы окончательно от него отшатнулись. Попрежнему он старался по вторникам устраивать у себя литературные вечера, и в этих заботах был даже умилителен. В Москве давным давно не было уже никакого литературного кружка, всякие умственные интересы заглохли, а старик все хлопотал, суетился, зазывал к себе всех и каждого, неутомимо делал визиты даже совершенно неизвестным молодым людям, открывал новые знаменитости. Скука на этих вечерах была страшная, разговор не клеился, а Кошелев все продолжал говорить о своих вторниках, как о каком-то старинном и важном московском учреждении. До конца он не отставал и от общественной жизни, был гласным городской думы, и хотя по глухоте редко участвовал в прениях, но заседал в финансовой комиссии, где высказывал дельные мнения. Я был в то время городским головою и находил в нем поддержку в осторожном отношении к финансовым вопросам. Кошелев выражал даже удивление, что мы всегда спорим, когда встречаемся в гостиной и, напротив, постоянно сходимся в Думе на практической почве.

Редко на вечерах Кошелева появлялась семья Аксаковых, которая занимала видное место в славянофильском кружке, однако с особенным оттенком. В ней преобладающим началом был доведенный до крайности патриотизм. Это была старая, отличная, чисто русская семья, в высшей степени почтенная, с живыми умственными интересами, с глубоким благочестием

и горячей любовью к отечеству. Но все эти высокие качества были извращены рьяным славянофильством.

Я вовсе не знал старика Сергея Тимофеевича. По общему отзыву это был самый умный и самый симпатический член семьи, одаренный большим здравым смыслом, с горячим сердцем, с знанием жизни и людей, хотя и он на старости лет поддался увлечениям сыновей. Из напечатанных отрывков его писем видно, как трезво и глубоко он судил о таких явлениях, как „Переписка с друзьями" Гоголя, которая своим религиозным направлением могла подкупать славянофилов и которою увлекался сын его Иван. Под конец жизни у него проявился и довольно значительный литературный талант. Все прежние его опыты были неудачны. „Только на старости лет он дошел до искренности,"—говорил про него Н. Ф. Павлов. „Семейная хроника" бесспорно ставит его в ряды лучших русских писателей.

Далеко не таким умом и не таким дарованием обладал Константин Сергеевич; но по силе и страстности своих убеждений он сделался направляющим членом семьи. Даже отец, который в нем души не чаял, подчинился его влиянию. Эта была самая чистая, возвышенная и пылкая душа. Всецело погруженный в умственные интересы, одержимый самою пламенною любовью к отечеству, он боготворил Россию и все русское. В молодости, под влиянием кружка Станкевича, с которым он был близок, он занялся философиею и заразился господствовавшим тогда гегелизмом. Но и в ту пору, как он мне сам говорил, он был убежден, что русский народ преимущественно перед всеми другими призван понять Гегеля,—дикая мысль, вполне характеризующая его взгляды. Впоследствии он совершенно примкнул к учению Хомякова, хотя оттенок гегелизма у него всегда оставался. Он русскую историю строил по всем правилам гегелевой логики: древняя Россия представляла положение, новая—отрицание, а будущая, возвещенная славянофилами, должна была явиться восстановлением в высшей форме первоначального положения. Эта формула могла успешно прилагаться разве только к бороде: в древней России была борода, в новой ее сбрили, в будущем она должна восстановиться. Все же остальное и самое существенное, литература, учреждения, никак не могло втиснуться в эту тему.

Сам Ломоносов, которого Аксаков избрал предметом своей магистерской диссертации,[1] отнюдь не мог считаться чистым отрицанием. Но для Аксакова фактическая сторона была последним делом. Он уносился в облака и строил свои воздушные замки, не обращая ни малейшего внимания на действительность. Постоянно роясь в древних грамотах, он видел в них только то, что хотел видеть, закрывая глаза на все остальное. Древняя Россия была для него идеалом человеческого общежития. Самые противоположные явления одинаково приводили его в восторг — и городское вече, и московские цари. В вече, прототипе русского мира, он видел совершеннейшую форму совещания, в которой господствует не юридическое начало большинства, свойственное презренному Западу, а славянское начало любви, выражающееся в требовании единомыслия. Аксаков не подозревал, что исследователи древне-германского права тоже начало единомыслия считали принадлежностью чисто германских народов. В сущности, оно свойственно всякому неустроенному общежитию, где не выработались правильные формы совещаний. В Новгороде оно вело к тому, что разъяренные партии бросали противников в Волхов. Но Аксаков ни мало этим не смущался; он везде видел только согласие и любовь. Точно так же и Московское государство представляло для него совершеннейший из всех образов правления—самодержавие, совещающееся с народом. Тут не было взаимного недоверия и взаимных ограничений, порождаемых внутреннею враждой. Между царем и народом установился полный союз любви: народ оставил за собою свободу мысли, а царю предоставил полноту воли, и царь, с своей стороны, одушевленный любовью, совещался с народом и действовал по его мысли. Что в Московском государстве под этими совещательными формами господствовало чисто татарское холопство сверху донизу, от первого боярина до последнего крестьянина, этого Аксаков также не хотел видеть. Он строил фантастическую идиллию, не думая даже о том, что ею нарушалась та духовная цельность, которую славянофилы считали первою принадлежностью славянского племени: мысль и воля распределялись

[1] „Ломоносов в истории русской литературы и русского языка“, М., 1846.

по разным органам, отношение невозможное ни при каком общественном устройстве и неизбежно ведущее к подавлению свободы мысли. Между тем, эта уродливая фантазия ставилась в образец всем народам. „Нам нечего учиться у Запада,— говорил мне Аксаков, — в древней Руси все было.“ Но вдруг при Петре Великом повеяло отрицанием, и вся эта идиллия рушилась. Увлеченные бессмысленным и преступным подражанием Западу, верхние слои русского народа оторвались от своего корня, и теперь чисто русские начала можно найти только в одном крестьянстве. На нем сосредоточились все патриотические надежды и вся пламенная любовь Аксакова. Как древняя Россия представлялась ему идеалом человеческого общежития, так русский мужик был для него высшим идеалом человека. Он украшал его всеми добродетелями; мирская сходка была для него живым воплощением любви и согласия; общинное землевладение признавалось чистейшим продуктом любви, призванным примирить все противоречия, которыми терзаются западные народы. Аксаков не допускал ни малейшей тени в этой светлой картине. Однажды я рассказал ему происшествие, случившееся у нас в деревне. Ночью зимним путем приехали грабители в повозке, запряженной тройкой и нагруженной всякими инструментами. Их увидали, лошадей остановили, и грабители были схвачены. Отец отправил их к становому с конвоем из крестьян, во главе был поставлен один из самых умных и надежных мужиков. И что же? Разбойники по дороге убедили их заехать в кабак, напоили их, и были отпущены. Аксаков принялся с жаром защищать крестьян, утверждая, что это произошло единственно от того, что становой—лицо правительственное; русский народ верит только выборным. Этим способом можно было, конечно, оправдать все, что угодно.

При таком нескончаемом фантазерстве, разумеется, о научной деятельности не могло быть и речи. Постоянно занимаясь русской историей, Аксаков не представил по этой части ни одного серьезного исследования. Тяжеловесная его диссертация о Ломоносове лишена всякого значения, а мелкие статьи не содержат ничего, кроме журнального разглагольствования. Он пробовал себя и на филологическом поприще, издал рус-

скую граматику. Но филология—наука западная, которую не заменишь доморощенными измышлениями. Буслаев обличил полную несостоятельность этой попытки. Столь же мало успеха имели и его беллетристические произведения. Он написал комедию „Князь Луповицкий“ с обличительным направлением, но без малейшаго комизма и лишенную всякого художественного элемента. Затем он написал драму: „Освобождение Москвы в 1612 году“, которая намеренно должна была отличаться отсутствием выдающихся лиц и всякого драматизма. Главным действующим лицом являлся в ней русский народ. Эту пьесу поставили на сцену. Я был на первом представлении, которое было вместе и единственным. Скука была непроходимая, так что едва можно было высидеть до конца.

В сущности, Аксаков вовсе не имел таланта писателя. Но он говорил хорошо, с увлечением, и этим даром, в соединении с пылкостью убеждений и с чистотою характера, действовал на мало приготовленных слушателей. В устной проповеди славянофильских начал заключалась главное дело его жизни. Он первый в 40-х годах надел терлик и мурмолку, и в высоких мужицких сапогах разъезжал по московским гостиным, очаровывая дам своим патриотическим красноречием. Над ним подсмеивались даже его друзья, про него рассказывали разные анекдоты, например, как он в доказательство, что русский климат лучший на свете, зимой подбежал к растворенной форточке, полною грудью стал вдыхать в себя морозный воздух и тут же схватил жабу, от которой слег в постель. Но оживления в общество он вносил не мало. Как фанатик, преданный одной идее, он представлял оригинальное явление. Он очень огорчился, когда в 1849 году его вместе с другими заставили снять русское платье. Перед этим император Николай имел милостивый разговор с Юрием Самариным, который был посажен под арест за „Рижские письма“. Государь остался также очень доволен ответами арестованного в то же время Ивана Аксакова. Славянофилы возмечтали, что правительство склоняется на их сторону и принялись усердно возвеличивать монарха, как вдруг их постиг такой неожиданный удар. Русское направление поражалось в самое сердце, в образе шапки мурмолки и высоких сапогов. Сам старик Сергей Тимофеевич опечалился не в меру и придал

этому делу неподобающее историческое значение. Хомяков тотчас объяснил это по-своему тем, что их жалует царь, истинный представитель русского народа, а гонит русское общество, зараженное тлетворным влиянием Запада. В графе Закревском славянофилы видели представителя этого развращенного общества. Все это был чистейший вздор, который напрасно повторял Д. Ф. Самарин в предисловии к 7-му тому издаваемых им сочинений брата. Постоянно вращаясь во всех сферах московского общества, я могу достоверно сказать, что никакой ненависти к ним не питали. Вне литературного круга на них смотрели, как на чудаков, которые хотят играть маленькую роль и отличаться от других оригинальными костюмами. Менее всего можно было графа Закревскаго считать представителем русского общества. Он был чистым представителем превозносимого славянофилами русского самодержавия, которое не терпело независимости мнений ни в славянофилах, ни в западниках и воспрещало всякое уклонение от принятой формы. Николай Павлович особенно на этом настаивал. Он выражал сочувствие мнениям славянофилов, когда они ополчались против западных либеральных идей, которые были ему столь же противны, как и им, но он не допускал, чтобы они при этом смели иметь свои особенные мысли и стремления. Бороды он брил всем дворянам, и я, приезжая из деревни в Москву, всякий раз должен был с нею расставаться, чему, однако, не думал придавать какое-либо историческое значение.

Гораздо умнее и даровитее Константина Сергеевича был младший его брат Иван. Изданные после его смерти „Письма из Астрахани“, куда он поехал с ревизующим сенатором тотчас после выхода из училища Правоведения, показывают раннюю его зрелость. Он был дельный и работящий чиновник, который самые сложные поручения исполнял добросовестно и толково. К этому присоединялись нравственные качества, свойственные всему семейству, возвышенность чувств и неуклонная прямота характера. У него был и поэтический талант, о котором свидетельствует недоконченная его поэма „Бродяга“. Но не имея никакой серьезной подготовки и не успевши выработать собственных убеждений, он легко подпал под влияние старшего брата. Фанатизм, более нежели ум и талант, увлекает колеблющихся. Как

человек, с открытыми глазами смотрящий на практическую жизнь, он иногда подтрунивал над идеальными представлениями брата о русском мужике, но в теоретической области он ничего не мог противопоставить проповеди, которая затрагивала самые глубокие струны его сердца. Он целиком проглотил славянофильское учение и сделался ревностным его последователем. Нельзя без некоторой грусти читать те ответы, которые он написал на заданные ему в III Отделении вопросы, когда он в 1849 году был арестован, как неблагонадежный человек. Недоученный правовед громит свободные учреждения и всю цивилизацию Запада, о которых не имел не малейшего понятия. Разумеется, такое направление как нельзя более приходилось по сердцу Николаю Павловичу. Аксаков был тотчас выпущен, и ему было дано важное поручение по службе.

Скоро, однако, служебные обязанности пришли в столкновение с наклонностью к поэзии. Министр, следуя бюрократическим воззрениям того времени, не считал приличным, чтобы его чиновники писали стихи. Он предложил Аксакову выбор между службою и стихотворством. Аксаков с благородным чувством достоинства не хотел терпеть такого посягательства на свою независимость. Он вышел в отставку, несмотря на то, что его друзья, между прочим, Ю. Ф. Самарин, сильно убеждали его снести неприятность и продолжать службу. Однако и поэтом он не остался. В сущности, он не имел к этому настоящего призвания. Он сам мне говорил, что для него писать стихи—все равно что плясать в кандалах. Ему эта форма казалась совершенно неестественною, между тем как настоящий поэт именно находит в ней истинное выражение своих мыслей и чувств. Кольцов с гораздо большим трудом писал прозою, которая невольно принимала у него стихотворный оборот.

Отказавшись от поэзии, Аксаков всецело предался журналистике. Он хотел быть распространителем славянофильских идей, особенно после того, как главные корифеи этой партии, в том числе его брат, сошли в могилу, а другие занялись практическими вопросами. Несколько журналов один за другим погибали под его смелою редакциею, подвергаясь правительственной каре; но он не унывал, возобновлял предприятие сызнова, благодаря связям получал новые разрешения и продолжал работу до самого

своего конца. Нельзя не сказать, что он и к этому делу вовсе не был подготовлен, так что путного выходило весьма мало. Талант у него бесспорно был и довольно значительный; было одушевление, инициатива, умение владеть языком, говорить благородною речью; когда он громил порядки прошедшего времени, он был красноречив. Успеху его много содействовало и неуклонное благородство убеждений, отсутствие всяких мелких чувств и всяких недостойных уловок. Но нравственное достоинство и литературный талант не могли восполнить коренной недостаток основательного образования и трезвого отношения к жизненным вопросам. Серьезное содержание заменялось пустозвонною славянофильскою фразою, которая повторялась и повторялась на все лады. Сначала она возбуждала внимание; легковерные даже ею увлекались, но потом она начинала нагонять скуку, а, наконец, от нее делалось тошно. Это нескончаемое разглагольствование о каких-то русских началах, об оторванности высших классов, о слепом поклонении Западу, было тем невыносимее, что оно изливалось с самою резкою самоуверенностью, кстати и некстати. При тогдашнем положении русской журналистики надо было серьезные и практически приложимые мысли высказывать в возможно умеренных выражениях, а тут в самой резкой форме обнаруживалась все одна и та же пустота. Черкасский, несмотря на свою близость к славянофилам и на приязнь к Аксакову, приходил в негодование от этого способа обсуждения общественных вопросов. В письме к Самарину, которое мне довелось читать, он в весьма сильных выражениях характеризует журнальную деятельность Ивана Сергеевича. Я часто говаривал, что у нас есть один умный и образованный журналист (Катков), да и тот подлец, и один честный журналист, да и тот пустозвон.

В это позднейшее время я иногда сходился с Аксаковым, особенно после его женитьбы на Анне Федоровне Тютчевой, с которою я уже прежде был знаком, и которая приглашала меня к себе[1]. Она была женщина очень умная и образованная,

---

[1] О начальном знакомстве И. С. Аксакова с А. Ф. Тютчевой в 1858 г. см. дневники А. Ф. Тютчевой в „Записях Прошлого“ („При дворе двух императоров“, ч. II, стр. 142 след.).

с благородным пылом, но раздражительного характера. Мужа она любила страстно, хотя во многом с ним не сходилась. В первую пору их супружества беседы с ними, когда они были вместе, бывали довольно затруднительны. Проживши весь век при дворе, она плохо говорила по-русски, и с нею надобно было вести беседу на французском языке, тогда как с ним, наоборот, неловко было говорить по-французски. Они расходились и в мнениях: „Что мне делать?— говорила она иногда с отчаянием.—Я терпеть не могу славян и ненавижу самодержавие, а он восхваляет и то и другое.“ Одно, в чем они вполне сходились это — глубокое благочестие, соединенное с искреннею привязанностью к православной церкви.

Такие отношения к жене, естественно, должны были развить в Иване Сергеевиче некоторую терпимость. Действительно, в частных сношениях он оказывал ее вполне. Я даже иногда ему удивлялся. Можно было беседовать с ним в течение нескольких часов самым приятным образом, как со всяким разумным человеком, и не догадаться, что у него в голове торчит неисправимое славянофильство. Он даже избегал споров. Но как только он брался за перо, он точно закусывал удила и, закрывши глаза, без всякого уже удержу пускался стремглав в свою славянофильскую болтовню. Перед самою его смертью у нас завязалась маленькая, но довольно характеристическая переписка. Он получил от министра внутренних дел предостережение за то, что один из всех русских журналистов осмелился высказать правду насчет наших отношений к Болгарии. В министерском решении его упрекали даже в недостатке патриотизма. На это он в своем журнале отвечал весьма благородно, и я написал ему из Крыма сочувственное письмо. „Не понимаю только,—писал я,—отчего вы в этой ни с чем несообразной политике обвиняете оторванную от национальной почвы бюрократию; обвиняйте восхваляемое вами самодержавие, которое одно несет за нее ответственность. Вспомните, что та национальная политика, за которую вы стоите, получила свое начало не в древней, а в новой России, и притом от немки, от Екатерины II. Все дело в том, что она была умная женщина и знала, чего хотела.“ На это он мне отвечал, что проведение национальной политики в восточном вопросе при

Екатерине II объясняется тем, что при ней русские люди не успели еще совершенно офранцузиться или онемечиться: они переменили только кафтаны, а внутренно оставались русскими. Полное же превращение в иностранцев совершилось только в начале царствования Александра Павловича. — „Помилуйте, Иван Сергеевич,—возразил я,—разве можно считать оторвавшимся от России то поколение, которое на своих плечах вынесло двенадцатый год и довело до высшей степени совершенства то духовное орудие, в котором выражается самая суть народного духа — русский язык. Ведь это поколение Пушкина.“—Ответа уже не последовало; через несколько дней пришло известие о его смерти. Это был последний представитель старого славянофильства. После него оно мелькает, как блуждающие огоньки на могилах, лишенное самостоятельной жизни.

В тесных дружеских отношениях с Константином Аксаковым состоял Юрий Федорович Самарин, хотя характерами они не были вовсе сходны. Аксаков писал ему:

> Не увлечение,
> Не сердца глас,
> Лишь убеждение
> Связало нас.

В это время Самарин, который в последние годы войны из статской службы вступил в ополчение, вышел в отставку и поселился в Москве. Тут я, как приятель дома, узнал его ближе. Это был бесспорно человек совершенно из ряда вон выходящий. Необыкновенная сила ума, железная воля, неутомимая способность к работе, соединенная с даром слова, и с блестящим талантом писателя, наконец, самый чистый и возвышенный характер,— все в нем соединялось, чтобы сделать из него одного из самых крупных деятелей как на литературном, так и на общественном поприще. Разговор у него был живой и блестящий, всегда в утонченной светской форме, нередко приправленный холодной и едкой иронией или острою шуткою. У него был удивительный талант подражания; он мог и забавлять и увлекать, мог равно блестеть в салоне, развивать самую отвлеченную философскую мысль и разрабатывать фолианты практического дела.

К сожалению, все эти блестящие дарования с самого начала получили ложное направление. В напечатанном письме к Гоголю, перед которым, как перед исповедником, Самарин изливал всю свою душу, он объясняет, как железная воля отца, при всей пламенной любви к многообещающему сыну, сдавливала все его юношеские порывы. Он ушел в себя и весь предался беспокойной мозговой деятельности. Но и тут он не чувствовал себя на свободе. Отец хотел направить его на практическую карьеру; он уже видел в сыне будущего министра, а Юрий Федорович чувствовал особенное влечение к теоретическим вопросам, которых решения он жадно доискивался. Вращаясь в московских литературных кружках, он некоторое время колебался между Хомяковым и Герценом, однако не долго. Вся его натура, все его глубочайшие убеждения влекли его к Хомякову. Он находил в нем именно то, чего искал; готовое, цельное, логически связанное учение, которое отвечало самым сокровенным потребностям его души, его нравственному строю, его горячему патриотизму, и которое, вместе с тем, возносило его на недосягаемую высоту, с которой он мог обозревать весь лежащий у его подножия мир. Он и воспринял это учение целиком и с свойственною ему силою логики стал развивать и прилагать его во всех последствиях. Но так как точка отправления была радикально ложная, то и все развитие и весь склад ума получили фальшивое направление.

Однажды великая княгиня Елена Павловна спросила меня, что я думаю о том, чтобы Самарина назначить попечителям Московского учебного округа. Я отвечал, что не считаю его к этому пригодным: он бесспорно чрезвычайно умен, но у него ум фальшивый.

Этот проистекавший из основной точки зрения неверный склад мышления проявлялся тем ярче, что у Самарина, при всей силе его логики, не было умственного качества, свойственного самым обыкновенным людям, именно, простого здравого смысла, который побуждает человека прямо и трезво смотреть на вещи, видеть различные их стороны и избегать односторонних увлечений. Вследствие этого он лишен был и всякого практического смысла. Он способен был в своем

кабинете разрабатывать кипы бумаг, но живой взгляд на дело был ему совершенно чужд. Когда ему вверено было управление имениями, он тотчас принялся делать бесчисленные выписки из старых хозяйственных документов, чтобы восстановить вовсе ненужную историю хозяйства, но к настоящему хозяйственному управлению он оказался неспособен. Ум его был отвлеченно-логический, и это свойство он вносил и в обсуждения теоретических вопросов. Вся задача состояла в том, чтобы принявши на веру известную посылку, развить из нее непрерывную цепь умозаключений. Это было повторение хомяковской софистики, с большею искренностью и с большею меткостью в полемических приемах, но с меньшею гибкостью и с меньшею инициативою. Хомяков сочинял теории; Самарин же не высказал ни одной оригинальной мысли: он только развивал и доказывал чужие, проявляя свою силу особенно в изыскании слабых сторон противников.

У Самарина был и другой существенный недостаток, который дозволял раз принятому ложному направлению развиваться на просторе; у него не было основательного научного образования. Он литературно был очень образован, обладал тонким эстетическим вкусом; он искусился и в философии, однако весьма немного. В серьезное изучение различных философских систем он никогда не углублялся, а юридического и исторического образования, можно сказать, почти вовсе не было. Основательному знакомству с наукою мешало уже то глубокое презрение к Западу, которое питала славянофильская школа; в их глазах западная наука была плодом гнилого просвещения; достаточно было опровергнуть ее в последних ее логических выводах, не углубляясь в ее сущность. А так как своя собственная, чисто русская наука еще не существовала, да не было и способности ее создать, то оставалось только на крыльях славянофильской идеи витать в облаках и оттуда метать свои громы на западное просвещение и его поклонников. Трудно поверить до какой степени доходило это презрительное отношение ко всему европейскому. После похорон Гоголя Самарин возвращался домой пешком вместе с Грановским. Он стал расспрашивать о Герцене, с которым был близок в Москве, и который в это время

выселился за границу. „Скажите пожалуйста,— сказал Самарин,— что за охота Герцену смотреть на предсмертные судороги развратного старичишки.“ Так характеризовались европейские народы. И это говорилось не в пылу спора, когда человек, увлекаясь, может сказать лишнее, а в спокойной беседе об отсутствующем приятеле. Грановского это взорвало. „Отчего же нет!— отвечал он.— Этот старик все-таки жил, и у него можно кой-чему научиться. Это во всяком случае приятнее, нежели глядеть в глаза малолетнему идиоту.“— „Мы с Вами, кажется, никогда не сойдемся“,— заметил Самарин. „Полагаю“,— отвечал Грановский. На этом они разошлись. Едва ли нужно прибавить, что, выражаясь так резко, Грановский вовсе не высказывал своего убеждения, а хотел только кольнуть вызывающего его противника. Он любил Россию не менее Самарина, но служил ей иначе, не отрицанием, а усвоением выработанного человечеством просвещения.

Крымская кампания открыла глаза тем из славянофилов, которые в состоянии были что-нибудь видеть. Оказалось, что умирающий старичишка способен был нанести жестокий удар юному богатырю, полному сил и надежд. Когда вслед затем выдвинулся вопрос об освобождении крестьян, Самарин, весь преданный этому делу, в котором он видел будущность России, стал изучать исторический ход его в других странах, и к удивлению своему, увидел, что и вопросы и решения те же самые, что у нас. Мы только отстали от других. Призванный к участию в великом преобразовании, видя приложение к русской жизни европейских идей в сочувственном ему направлении, он стал трезвее смотрить на вещи, и хотя славянофильское направление осталось, однако, оно проявлялось в гораздо менее резкой и исключительной форме, нежели прежде. Это был второй период его жизни, в котором первоначальная узкость и односторонность мысли постепенно уступали более широкому взгляду, и в котором ярко выступили лучшие стороны его характера, в высшей степени достойного любви и уважения. Сохраняя глубокое благочестие, свято исполняя все обряды православной церкви, ведя, можно сказать, почти аскетическую жизнь, он соединял с этим постоянное внутреннее самоиспытание и неуклонное чувство долга, которое было

главным вдохновляющим началом всей его деятельности. Для себя он ничего не искал: всякий внешний почет, всякие мелкие побуждения были ему противны: он весь был предан идее общего блага. Вследствие этого он с тех пор устранялся от всякого соприкосновения с официальными сферами и посвятил себя исключительно общественной деятельности.

Он значительно смягчился и в отношении к людям, на которых прежде склонен был смотреть с тем высокомерием, с каким обладатели исключительной истины обыкновенно взирают на простых смертных. Мне памятно, как в 1860 году я в конце мая ехал через Москву за границу. По обыкновению, я пошел обедать к Самариным на Ордынку. Там я нашел и Юрия Федоровича, который был членом Редакционной Комиссии и вследствие нездоровья приехал на несколько дней отдохнуть в Москву. Как теперь вижу его стоящим после обеда с чашкой кофе у камина. Я стал расспрашивать его о работах комиссии, о наших общих знакомых. „Что Милютин?"— спросил я. И он с обычною своей ироническою миною, с тем холодно-презрительным тоном, который иногда был в нем так неприятен, снисходительно ответил: „Навострился". — И это говорилось в то время, когда Милютин стоял во главе величайшего дела, которое он среди бесчисленных препятствий вел с необыкновенною энергиею и умением. Прошло немного времени, и Самарин сделался самым близким приятелем того же Милютина, которого высокие качества он умел оценить; а когда Милютин, сраженный ударом, переселился в Москву, Самарин постоянно оказывал ему самое заботливое и нежное внимание. Под этою холодною и надменною оболочкою скрывалось горячее и любящее сердце. Он был самым нежным сыном и самым преданным другом.

На сторонних он действовал, как силою своего ума и таланта, так и возвышенностью характера, внушавшего всеобщее доверие; но управлять людьми он все-таки не научился и настоящим практическим человеком не сделался. Иногда он пытался действовать практическими путями. Случалось даже, что в виду какой-нибудь общественной цели он прибегал к несвойственной ему хитрости; но это выходило всегда неу-

дачно. Однажды он стал подъезжать к Щербатову, бывшему тогда московским городским головою, с какими-то предложениями, которые имели в виду привести его окольными путями к тому, что хотелось Самарину; но умная и проницательная княгиня Щербатова тотчас раскусила, в чем дело. „Vous êtes un renard, qui a sa queue autour de sa tête",— сказала она ему, намекая на его рыжие волосы и бороду. Самарин принялся упрашивать ее, чтобы она, если питает к нему малейшую дружбу, никогда не говорила бы ему таких вещей, которые колют его в самое сердце. О том, чтобы вверить ему какое-нибудь административное дело, не могло быть и речи. „Странный человек Юрий Федорович,— говорил я однажды Черкасскому.— С его умом, с его характером, с его способностью к работе нельзя даже выбрать его в московские-городские головы. Все этого желают, все признают, что это невозможно. Он слишком теоретик для практики и слишком практик для теории. Просто не знаешь, куда его девать и где его настоящее призвание".—„Я вам скажу,— отвечал Черкасский, который для всякого человека всегда придумывал подходящее место.— Ему следовало бы быть членом Государственного совета. Он всякий законодательный проект разобрал бы по ниточке и принес бы неоценимую пользу."— Это было совершенно верно, хотя, в сущности, Самарин был создан не для бюрократических, а для общественных собраний. По природе это был лучший парламентский боец, которому не было места в самодержавной России. При существующих у нас условиях Самарина, конечно, никогда бы не сделали членом Государственного совета. Это значило бы пустить козла в огород. Многочисленные наполняющие это собрание ничтожества, искушенные в закулисных интригах, пустили бы в ход все свои батареи, чтобы отделаться от человека, блистающего умом и красноречием и не поддающегося никаким искушениям. Да и правительству нужны были не люди, а орудия. Вместо того, чтобы привлекать к себе способных людей, оно заботливо их отстраняло, и Самарин, игравший такую видную роль в Редакционной Комиссии, при всех своих блестящих дарованиях в последние годы своей жизни занимался представлением в Московскую городскую

думу докладов о пожарной команде и о налоге на собак. И это он исполнял с тою добросовестностью и с тем трудолюбием, которые отличали его во всем, ведя часто бесплодную борьбу с администрацией и подавая другим пример усердного отношения к общественному делу. Зато в Московском городском управлении о нем сохранилась благодарная память.

В России не было места и для его печатной деятельности. Он не мог довольствоваться пустыми разглагольствованиями Ивана Аксакова. В это время он уже с облаков спустился на землю; его привлекали серьезные жизненные вопросы, а обсуждать их откровенно в России не было возможности. Он перенес свой печатный станок за границу. В изданных им там брошюрах проявляются все крупные, а вместе и все темные стороны его таланта. Он силен был преимущественно в полемике. Найти слабую сторону противника, разнять его на части, показать внутреннюю несостоятельность его положений и их противоречие с коренными требованиями жизни, на это он был великий мастер. И все это, несмотря на едкую язвительную иронию, излагалось всегда с неизменным изяществом форм и удивительным умением владеть русским языком. Его полемики можно назвать образцовыми. Письмо его к генералу Фадееву в изданной в Берлине брошюре: „Революционный консерватизм", писанной в сотрудничестве с Дмитриевым, и, совершенно в другом роде, напечатанное впоследствии в „Руси" письмо к Герцену, составляют лучшее, что он писал.[1] Нельзя того же сказать о том произведении, которое приобрело ему наибольшую славу, об „Окраинах России".[2] Здесь полемика уже обращена не против писателя, проповедующего ложные идеи, а против целого общественого строя, сложившегося веками, и имевшего свои как темные, так и светлые стороны. Это не беспристрастное обсуждение данного положения вещей, какое можно ожидать от государст-

---

[1] Ответ на книгу ген. Фадеева: „Чем нам быть?" напечатан был заграницей в 1875 г. Письмо к Герцену в „Руси".

[2] „Окраины России" в 5 вып. вышли в 1868—1876 гг. в Берлине (по вопросу о Прибалтийском крае).

венного деятеля, а чистый памфлет, дышащий ненавистью и злобою. Собрано множество фактического матерьяла, большею частью верного, иногда более чем сомнительного, но всегда подобранного с одностороннею целью, и все это кидается в глаза врагам с тою холодною и язвительною ирониею, которая служила у него выражением сдержанного пыла. Тут упускается из виду вся оборотная сторона дела: особенность положения немцев в крае, естественная привязанность к унаследованным от предков правилам, составляющим для них единственную гарантию независимости, необходимость крепко держаться друг за друга и вытекающее отсюда нежелание впустить к себе произвол русского чиновничества и податливость русского люда, невозможность, наконец, действовать на самодержавное правление иначе, как окольными и часто темными путями. Им ставится в укор то, чему мог бы позавидовать всякий русский человек, который скорбит о раболепстве и бессилии окружающего его общества. Все это с неподражаемою силою и изяществом было высказано Самарину общею нашею приятельницею, баронессою Раден, о которой я буду говорить ниже, и с которою он по этому поводу вступил в переписку. Она обличала его даже в не совсем добросовестном употреблении оружия, и надобно сказать к его чести, он перед нею склонился и протянул ей руку. В его благородном сердце не было места для мелкого самолюбия. Если бы он дожил до настоящего времени, он мог бы быть удовлетворен. Все, к чему он стремился, и даже более, исполняется без всякого внимания к историческим правам и данным обещаниям. „Окраины России", которые должны были издаваться за границею, пока самодержавная власть считала нужным щадить неизменно верных подданных, проливавших кровь за Россию, ныне печатаются в Москве. Но почитателям его памяти, не увлекающимся ложно понятым патриотизмом, грустно видеть его имя, связанное с тем, что совершается ныне. Непоколебимым памятником его славы останется плодотворное его участие в величайшем деле русской истории, в освобождении крестьян.

С именем Юрия Самарина неразрывно связано имя князя Владимира Александровича Черкасского. В последующую

практическую пору деятельности, они постоянно шли рука об руку, в Редакционных Комиссиях, в польском деле, в земстве, в городском самоуправлении. Но теоретические их мнения далеко не были сходны. Хотя Черкасский примыкал к славянофилам и писал в „Беседе“, но, в сущности, у него славянофильского не было ровно ничего. Он не поклонялся древней России, весьма неблагосклонно смотрел на русскую общину, не возводил русского мужика в идеал, был поклонником свободных учреждений Запада, а в религиозных вопросах в эту пору был скептик. Однажды мы гуляли с ним вдвоем; среди разговора он с обычным своим шутливым тоном сказал мне: „Я просил Хомякова обратить меня в православие, но мы разошлись на первом вопросе. Я говорю, что может быть господь бог есть, а может быть и нет, а Хомяков говорит, что он наверное знает, что он есть“.

Жена его, которая была очень благочестива, говорила, что она всегда с некоторым ужасом смотрит на маленький шкафчик, где у мужа хранятся разные непотребные книги, вроде истории церкви Гфрёрера. Кажется, она в этом отношении имела на него значительное влияние. Он ее очень любил, и она в нем души не чаяла. Она же много содействовала и сближению его с славянофилами. Видаясь с ними постоянно, он соединился с ними, потому что лично был равнодушен к теоретическим вопросам, а в практическом отношении считал более удобным и полезным проводить либеральные идеи под патриотическим знаменем, в чем, может быть, и не ошибался. На одном из тогдашних литературных вечеров я стал трунить над ним, говоря, что у него убеждения географические, применяющиеся к тем домам, где он чаще бывает. Он немного рассердился, но ненадолго. Вообще, из всего славянофильского кружка, я ближе всего сходился с ним. Когда я выступил на литературное поприще, он показал мне такое теплое участие, что я был даже тронут. Я этого не ожидал и с тех пор его искренно полюбил.

Зная его ближе, его нельзя было не полюбить. Это был тоже человек из ряда вон выходящий. Ум был замечательно сильный, гибкий и разносторонний, образование обширное, не только литературное, но и юридическое и политическое.

Блистательно кончив курс на юридическом факультете Московского университета, он, по примеру многих молодых людей того времени, держал экзамен на магистра. Но его диссертация о целовальниках никогда не была написана. Она была задумана в либеральном духе, а с 48-го года нельзя было писать уже решительно ничего, носящего на себе хотя тень либерализма. После статьи о Юрьеве дне, предназначавшейся для одного из „Московских Сборников“, ему даже совершенно запрещено было писать, и только с новым царствованием открылось для него снова литературное поприще. Он и выступил на него, на этот раз уже не с историческими изысканиями, а в той области, которая была ему наиболее сродна, с обсуждением практических вопросов. Он писал в „Беседе“ политические обозрения. Вообще, это был человек по преимуществу практический. Общественные вопросы всецело привлекали его внимание, и всякий вопрос он рассматривал, главным образом, со стороны приложения. Он тотчас соображал, что̀ с данными средствами и при данных условиях можно сделать, и на это бил прямо, устраняя всякие посторонние соображения. Иногда практические рецепты сочинялись даже слишком легко; он охотно шел и на сделки, лишь бы только достигнуть цели. Оттого его обвиняли иногда в изменчивости убеждений, в отступлении от принятых начал. Но в сущности он убеждений своих никогда не менял, а только приноравливал их к тому, что он считал в данную минуту возможным. Отсюда, например, те разнообразные предложения, которые он высказывал относительно освобождения крестьян, применяясь к тому, что̀ он надеялся провести при данном направлении правительства. Его обвиняли в честолюбии, даже в низкопоклонстве. Честолюбие у него действительно было, но не мелкое честолюбие чиновника, ищущего почестей, а благородное честолюбие человека, сознающего свои силы и жаждущего их употребить на какое-нибудь крупное дело, полезное отечеству. В виду достижения цели, он мог иногда склониться на неизбежное при самодержавной власти угождение; но никогда он честолюбию не жертвовал своим достоинством и своими убеждениями, а, напротив, не раз в жизни показывал свою независимость. Характер был возвы-

шенный и благородный, неспособный ни на какие мелкие интриги. Необходимая в практике гибкость соединялась в нем с неуклонною энергиею в преследовании предположенной цели, энергиею не чуждой, впрочем, односторонних увлечений. Когда он брался за дело, он уже не смущался ничем и не допускал никаких возражений. Работник он был неутомимый: он сам вникал во все подробности и направлял всякое дело. И эту одушевляющую его энергию он умел вдохнуть и в других. Он всюду отыскивал людей, ценил их по достоинству, умел каждого поставить на подходящее место и направить к желанной цели.

Когда он был министром внутренних дел в Царстве Польском, я, будучи профессором в Москве, посылал ему молодых людей, кончивших курс в университете. Он принимал их самым ласковым образом и тотчас сажал за работу. Все они были от него в восторге. В последние годы его жизни, когда он действовал в Болгарии, служащие при нем жаловались на его раздражительность и говорили, что он стал очень тяжел. Но это происходило от того невыносимого положения, в которое он был поставлен. Вообще же, не было человека более приятного в личных отношениях. В семье его обожали. В нем не было ничего холодного, резкого и отталкивающего. Приветливый и обходительный со всеми, всегда ровного характера, он в разговоре был прелестен. Его речь, всегда полная мысли, текла легко, свободно, разнообразно и игриво. Это был один из самых привлекательных собеседников, каких можно было встретить.

Так же свободно говорил он и в общественных собраниях, без красноречия, но всегда умно, живо и убедительно. Как писатель, он стоял гораздо ниже. Без сомнения, и тут проявлялись высокие качества его ума; но литература не была его настоящим призванием. Поэтому он на литературном поприще никогда не играл видной роли. Истинная его деятельность началась с освобождения крестьян. Призванный в Редакционную Комиссию, он проявил здесь все свои замечательные способности. Он сделался главным работником Комиссии. Основной план Положения 19 февраля принадлежит собственно ему. Он же был и главным редактором. Первоначальный

проект Положения, как мне говорили участвовавшие в нем лица, весь писан его рукою. Этого одного было бы достаточно, чтобы вписать его имя в историю.

Во всякой другой стране, человек, выдвинувшийся таким образом, ставший, единственно в силу своих способностей, одним из главных деятелей в величайшем из всех преобразований, получил бы влиятельное значение в государственной жизни. Всякое разумное правительство старалось бы его к себе привязать. Но русское самодержавие привыкло смотреть на людей, как на орудия, которые можно брать и бросать. Выходящие из ряда вон способности внушали ему даже опасения, особенно, когда они соединялись с независимостью характера. Как только было обнародовано Положение 19 февраля, главных деятелей тотчас спустили. В награду за труды им дали маленькие крестики; правительство сочло, что оно этим с ними расквиталось. Самарин отослал свой крестик назад графу Панину, который был в большом затруднении, не зная, что̀ с ним делать; но Черкасский не счел возможным оказать такой знак презрения к монаршей милости, тем более, что это ни к чему не вело. Он уехал в деревню и наравне с сотнями местных помещиков сделался мировым посредником в своем околодке. Начертав закон, которым коренным образом изменялась вся русская жизнь, он взял на себя приложение его в маленьком провинциальном округе. После двухтрех лет неутомимой, чисто практической работы, он поехал в Петербург посмотреть, что̀ там делается. Вернувшись, он в добродушно шутливом тоне, без малейшей горечи писал Самарину, что если они могли воображать, что кто-нибудь в них нуждается, то эта поездка должна была рассеять всякие мечты: как это ни обидно для самолюбия, но надобно признаться, что решительно никто об них не думает, находят, что без них можно очень легко обойтись.

Однако, нужда скоро настала. Вспыхнуло Польское восстание, и опять потребовались люди. Государь обратился к Милютину, а тот в свою очередь вызвал Самарина и Черкасского. Первый не принял никакого официального положения, хотя работал для дела; Черкасский же поехал в Варшаву председателем Коммиссии внутренних дел. Пустить этих, так

называемых демагогов в революционную Польшу, где они могли производить свои эксперименты in anima vili, считалось безопасным. Однако, и тут их не оставили в покое и тайные интриги и явная злоба врагов. Милютин жил в Петербурге, имея непосредственные сношения с государем, и мог легче противодействовать козням; Черкасскому же пришлось выносить всю тяжесть положения на своих плечах. Он был непосредственно подчинен наместнику и должен был вести против него постоянную подземную войну, противодействовать всем его тайным и явным стараниям парализовать принимаемые правительством меры и подставлять ногу назначенным от государя исполнителям. Мне довелось читать переписку Черкасского с Милютиным в это тяжелое время. Как бы мы ни смотрели на отношения России к Польше, нельзя без боли и негодования вспоминать о том невыносимом положении, в которое русская самодержавная власть ставила доверенных своих людей, которых она посылала поддерживать русские интересы в усмиренном крае. Это был целый ряд ежедневных мелких неприятностей, которые сыпались со всех сторон и заставляли человека, заваленного работою, постоянно быть настороже, не против чужих, а против своих, действовавших у него за спиною с авторитетом и власти, и положения. Нужна была вся настойчивость, вся энергия и ловкость Черкасского, чтобы выдерживать подобные отношения. Он не раз хотел подавать в отставку, но Милютин его все удерживал, указывая на то, что с его удалением он останется совершенно без рук. Наконец, Милютина постиг удар, и тогда уже Черкасский, лишенный своей главной опоры, не хотел более оставаться. Как ни уговаривал его государь, он решительно отклонил всякие предложения и ушел, возбудив против себя неудовольствие монарха и преградив себе всякую дальнейшую карьеру.

Вскоре после того последовала совершенная отмена наместнического правления; Царство Польское было включено в состав русских губерний. Правительство как бы хотело доказать, что можно принимать радикальные меры даже при совершенно ничтожных орудиях. Поведение графа Берга в последних событиях значительно содействовало этому исходу, который в глазах многих являлся как бы завершением веко-

вой борьбы, но который, в сущности, еще более запутывал вопрос, прикрывая его фальшивым решением. Нельзя исторический, живучий народ вычеркнуть из числа существующих; ему должна быть оказана справедливость. Когда Черкасский на известном славянском обеде в Москве утверждал, что история произнесла свой окончательный приговор, то это было не более, как мечтою увлеченного практическим делом человека, который за интересами отечества забывает все остальное. Существенное дело Милютина и его друзей в Царстве Польском состояло в наделении крестьян землею, мера, которая была вызвана необходимостью и оказалась благотворною. Обеспечивая надолго русские интересы, она составляла благо и для Польши. Нельзя не видеть в ней важной услуги, оказанной отечеству.

Черкасский вернулся в частную жизнь, из которой он выступил уже на общественное поприще. Москва избрала его своим городским головой. Конечно, после тех крупных дел, которыми он орудовал, поле для него было слишком тесное. Самые привычки диктатуры, приобретенные в усмиренной Польше, вовсе не подходили к требованиям выборного управления. Однако, и тут он успел показать свои административные способности, умение управлять людьми и полную независимость характера. Когда в 1870 году, во время франко-прусской войны, русское правительство объявило условия Парижскаго трактата насчет черноморского флота расторгнутыми, оно искало опоры в общественном мнении и вызывало подачу адресов в этом смысле. Московское городское общество, под влиянием патриотического увлечения, жадно ухватилось за эту мысль; но Черкасский долго не соглашался. Наконец, он уступил, но решился не ограничиться пошлыми патриотическими фразами, а воспользоваться этим случаем, чтобы высказаться насчет внутренних дел. Надобно сказать, что минута была выбрана не совсем удачно, и сам он хорошо понимал, что правительству это не будет приятно; но он хотел раз навсегда прекратить недоброжелательные толки о том, что он будто-бы принял должность городского головы, единственно как ступень для дальнейшего повышения. Предложенный им и посланный от имени Думы адрес не был принят государем, и тогда те, ко-

торые наиболее хлопотали о его подаче, первые отступились от автора. Вслед за тем произошли новые выборы, и Черкасский отказался от баллотировки. Снова он вернулся в частную жизнь, в которой он и оставался несколько лет, до Болгарской войны.

Как он ни любил отдых, однако, бездействие стало его, наконец, тяготить. Он чувствовал себя полным сил, а приложить их было некуда. Государственное попроще было для него закрыто; мелкая общественная деятельность его не удовлетворяла; журнальная болтовня ему претила. Я все уговаривал его приняться за какой-нибудь серьезный труд по экономической или финансовой части. Он действительно в Берлине усердно занялся изучением прусских финансов. Но, в сущности, деятельность писателя была не по нем, хотя он любил литературное общество. Еще менее могла удовлетворять его практическая деятельность в Московском поземельном банке, председателем которого он был выбран. В это время он писал мне: „Что сказать вам о московской жизни? Она проходит тихо, безцветно и весьма безжизненно. Старая Москва интеллигентная, литературная, исчезла надолго. Ее заменили—биржа торговля, промышленность. С трудом мирюсь с этим, хотя среди всеобщего равнодушия к другим интересам я сам, один из последних, решил дать себя увлечь общему неудержимому потоку. Пустоту нашей русской жизни приходится поневоле наполнять чем-нибудь, хотя и не вполне сочувственным“...

При таком настроении, понятно, что когда вспыхнула война, возбудившая в России дурно понятый патриотический энтузиазм, Черкасский ухватился за этот случай, чтобы вернуться к политической деятельности. Через Д. А. Милютина он предложил себе официально для управления Красным Крестом, а, в сущности, для организации гражданского управления в Болгарии. Предложение было принято, и ему было поручено составить для себя инструкции. Это было для него гибельное решение. Предшествующая деятельность в Польше могла убедить его, что надежды на постоянную поддержку сверху он не мог питать. Если в то время, когда он, действительно, был нужен и имел опору в лице, пользовавшемся значительным доверием государя, его тем не менее отдавали на жертву врагам, то

чего же можно было ожидать при иных усовиях, когда на первом плане стояло военное дело, а он в сущности был последнею спицей в колеснице. Еще раз, и в последний, ему пришлось испытать, как в России обходятся с людьми. Всякие неприятности и унижения сыпались на него со стороны военных властей, начиная с главнокомандующего[1]. Про него пускали в ход всевозможные толки; на него писали злые сатиры. Все это он должен был молча выносить; он сделался крайне раздражителен, стал выказывать власть свою в мелочах. Он всеми силами души рвался вон из того невыносимаго положения, в которое он поставил себя неосторожным шагом. Однако он не хотел этого сделать, не окончив предпринятого им труда выработки органического статута для внутренего управления Болгарии. На эту работу он и налег с тою неутомимою энергиею, которая его отличала, и с свойственным ему умением совладать даже с совершенно незнакомым ему материалом. Люди, знающие дело, говорят об этом труде с большим уважением; Болгария доселе им руководится. Наконец, проект был написан; Черкасский представил его великому князю и и вздохнул свободно. Но силы были уже надломлены. Его сразила смерть в самый день подписания Сан-Стефанского договора и в годовщину обнародования Положения 19 февраля. Неожиданная весть о его кончине поразила горестью всех его друзей, а вместе и всех истинных сынов отечества. С ним умер человек, одаренный высшими государственными способностями, который сам собою выдвинулся в критические минуты, показал все свои силы, оказал отечеству незабвенные услуги и затем был кинут в сторону, как негодная тряпка.

Но я забегаю далеко в перед. В то время, о котором идет речь, Черкасский только что выступал на литературное поприще. Практические вопросы, на которых впоследствии славянофилы сошлись с западниками, ратуя вместе против врагов либеральных преобразований, еще не поднимались. В ту пору кипела литературная полемика, которая завязалась с самаго появления славянофильского органа, как только двери, дотоле запертые для мысли, немного растворились. Судя по литера-

---

[1] Великий князь Николай Николаевич.

турным силам, которые были собраны около обоих журналов, можно было ожидать, что полемика будет интересная и плодотворная. На деле вышло не то, хотя ума и таланта было потрачено достаточно. Я убедился, что журнальная полемика редко к чему-нибудь ведет, и всего менее при тех условиях, при которых она тогда велась. Истинное значение журнала заключается в критике, критика в свою очередь питается капитальными произведениями. Когда русская литература выставляла ряд писателей, не только высоко даровитых, но и гениальных, как Пушкин и Гоголь, могла существовать литературная критика, и тогда журнал имел серьезное общественнное значение. Но русская наука была, можно сказать, еще в младенчестве. Славянофилы проповедывали необходимость самобытной русской науки, но сами не представляли в нее ни малейшего вклада, а ограничивались общими идеями, в которых под внешним блеском и заманчивым покровом патриотизма скрывалась полная внутренняя пустота. На этой почве можно было спорить до бесконечности, без всякого путного результата. При некоторой ловкости и изворотливости противников, вопросы не только не выясняются, а затемняются для большинства неподготовленной публики. Немного есть людей, способных разобраться в массе софизмов. На это требуется научное образование, которое именно у нас отсутствовало. К тому же полемика со стороны славянофилов велась, надобно сказать, не вполне добросовестно. Главная их цель заключалась не в том, чтобы исследовать и выяснить истину, а в том, чтобы поразить противников.

Первый спор возник о народности в науке, которую „Русская Беседа" внесла в свою программу. В „Московских Ведомостях" было сделано на этот счет маленькое примечание, в ответ на которое Ю. Ф. Самарин в первой же книжке „Русской Беседы" написал небольшую статью,[1] где доказывал, что наука, так же как искусство, должна быть национальною, а потому русский народ может из западной науки принять только то, что приходится к его собственным взглядам. По тео-

---

[1] „Два слова о народности в науке" („Рус. Беседа", 1856, № 1).

рии Самарина, ученый, приступающий к научному исследованию, должен предварительно окунуться в живую струю народной жизни. Точка зрения на предмет не вырабатывается сама собою из изучения, а дается заранее теми началами, которые лежать в народном духе. Подкладкою всей этой аргументации было славянофильское учение, признающее науку порождением известного религиозного миросозерцания. Западная наука, по мнению славянофилов, вся проистекала из односторонних начал католицизма и протестантизма. Не усваивать себе эти заблуждения призван русский народ, а взглянуть на мир с своей собственной точки зрения, почерпнутой из православия.

Разумеется, подобного воззрения не мог принять ни один человек, знакомый с истинно-научными методами исследования. Такая проповедь казалось мне, да и теперь кажется, крайне вредною для интересов русскаго просвещения. Русский народ дотоле никакой творческой силы в науке не проявлял, и ссылаться на это творчество, как на какую-то национальную особенность, славянофилы не имели ни малейшего повода. Наше общество было, вообще, глубоко невежественно; ему следовало учиться, а не приступать к неведомой ему науке с заранее приготовленными мнениями, почерпнутыми из совершенно другой области. В этом смысле я написал маленькую заметку на статью Самарина в одной из ближайших книжек „Русского Вестника".[1] Самарин на это прямо не отвечал. Ему, уже приобретшему громкую репутацию ума и таланта, вовсе не хотелось вступать в полемику с молодым человеком, только что выступающим на литературное поприще. Но дабы не оставить возражателя без должнаго наказания, он открыл какую-то нелепую статью одного пензенскаго помещика, отхлестал его с обычным своим умением и иронически сопоставил его мысли с теми, которые были высказаны в моей заметке. Я с своей стороны не остался в долгу и написал другую статью, в которой, в весьма умеренных выражениях, старался обличить всю внутреннюю пустоту этого мнимо-философскаго воззрения.

---

[1] „О народности в науке" („Рус. Вестник", 1856, № 5, стр. 62—71).

Отец был очень доволен моею статьею; он находил ее даже слишком умеренною. „Карикатура, ирония и высокомерно научный тон,—писал он мне,—заслуживали иного возражения, нежели твое“. Редакция „Русского Вестника“, с своей стороны, вступилась в спор и напечатала от себя маленькую статейку в том же смысле, как и моя. На этом, после небольшой перепалки, полемика прекратилась.

Гораздо более шума произвел другой спор, на этот раз по историческому вопросу, поднятому мною. Я уже говорил, что первая статья, которую я дал в „Русский Вестник“, было исследование о сельской общине в древней России.[1] Это был один из коньков славянофильской школы, которая в нашей сельской общине видела идеал общественного устройства и разрешение всех грозных экономических вопросов, волнующих Западную Европу. Известный путешественник, барон Гакстгаузен, именно с этой точки зрения написал свою книгу о России.[2] Новейшие научные изыскания показали, однако, что та же форма сельской общины существовала и у других народов. Исследователи пришли к заключению, что она составляет, вообще, принадлежность древнейшего родового быта и разлагается постепенно, с разрушения вызвавшего ее общественного строя. Об этом уже Грановский написал статью в „Архиве“ Калачева.[3] Прочитавши Гакстгаузена и сравнивая современные наши порядки с новейшими исследованиями, я, как многие другие, был вполне убежден, что первобытная сельская община, исчезнувшая у западных народов вследствие развития цивилизации, сохранилась у нас, как остаток незапамятной старины. Но когда я стал изучать древне-русские памятники, я увидел совсем другое. Из них оказывалось, что крестьяне в древней России лично владели своими участками, продавали их, пере-

---

[1] „Обзор истории развития сельской общины в России“ („Рус. Вестник“, 1856, т. I, стр. 373—386, 579—602).

[2] Известное сочинение барона фон Гакстгаузена (1792—1866). „Studien über die inneren Zustände, das Volkleben und inbesondere die ländliche Einrichtungen Russlands“, I—II, Han. u. Berlin, 1847, III, Berl. 1852. Извлечение из этого сочинения (об общине) напечатано было в „Современнике“, 1857, № 7.

[3] „О родовом быте германцев“ (Архив историко-юридических сведений, относящихся до России), изд. Н. Калачевым, кн. II, пол. 2, М. 1855.

давали по наследству, завещали в монастыри. У северных черносошных крестьян, которые одни из всех ушли от крепостного права, этот порядок сохранялся до половины XVIII века, и только Межевые инструкции ввели современное нам общинное устройство, при чем ясно обнаруживалось, что последнее состояло в прямом отношении к податной системе. Без малейшей предвзятой мысли, я изложил результаты своих чисто фактических исследований, которые привели меня к заключению, что нынешняя наша сельская община вовсе не исконная принадлежность русскаго народа, а явилась произведением крепостного права и подушной подати.

Произошел гвалт. Славянофилы ополчились на меня, как на человека оклеветавшего древнюю Русь. Главные вожди партии были, однако, слишком слабы по части фактических исследований и не решились выступить на эту почву. Они выдвинули Беляева, архивного труженика, который всю свою жизнь рылся в древних грамотах, но был совершенно лишен способности их понимать. У него не было ни смысла, ни образования, и он готов был фантазировать без конца, внося в старые тексты свои собственные дикие измышления. В этом впоследствии могли убедиться сами славянофилы. Несколько лет спустя великая княгиня Елена Павловна, которая об этом вопросе имела смутные понятия, но желала содействовать его разъяснению, спросила у Ю. Ф. Самарина, кому бы можно заказать статью о древней русской общине, с тем чтобы ее перевести и издать на иностранном языке. Самарин тотчас указал на Беляева и взялся устроить это дело. Статья была написана, но, просматривая ее для перевода, заказчик убедился, что необходимы справки. Он обратился за ними к автору, и тут-то оказалось, что фактическое основание совершенно отсутствовало, и что написанное было чистым плодом фантазии трудолюбивого ученого. Деньги были уплачены, но статья никогда не увидела света.

С русской публикой не было нужды так церемониться. Критика Беляева на мои изыскания могла обойтись без всякой проверки; она появилась целиком на страницах „Русской Беседы“. Славянофилы торжествовали победу, а я, признаюсь, был возмущен. Вместо длинного разбора и основательного

исследования вопроса, это был какой-то неуклюжий набор фактов, ничего не доказывающих, криво толкованных, частью даже извращенных, и все это было приправлено тоном грубого глумления, который знающему человеку был противен, но мог произвести действие на совершенно неприготовленную публику, неспособную найтись в этой массе цитат. Конечно, я все это разобрал по ниточке и в новой статье доказал, что приведенный против меня фактический матерьял не что иное, как фантасмагория, сочиненная без всякого знания и без всякого смысла. Беляев, в свою очередь, написал ответ, но уже вовсе не касаясь вопроса о сельской общине, а опровергая лишь предпосланные моему исследованию общие, исторические взгляды. Это значило признать себя побежденным; но славянофилы продолжали утверждать, что он совершенно меня разгромил, и многие верили им на слово [1].

К сожалению, Соловьев вмешался в этот спор. Для него вопрос оставался открытым, но его уговорили написать статью в качестве авторитета по русской истории. Ему не трудно было опровергнуть общие исторические воззрения Беляева. Что же касается до самаго предмета спора, то он привел из XVII века Шуйскую передельную грамоту на посадскую землю, а затем поставил вопрос: а что было прежде? Вопрос был неуместный, ибо в моем исследовании было приведено множество фактов, которые доказывали свободный переход земель, как между крестьянами, так и между посадскими. На этих фактах я и основывал свои выводы. Если Соловьев ими не убеждался, то надобно было сказать почему. Между прочим, он ограничился поставлением вопроса, что впоследствии подало повод утверждать, даже в иностранной литературе, будто он стоял на стороне противников моего воззрения. Все дело в том, что как добросовестный ученый, он не хотел решительно высказываться насчет вопроса, который был для него не вполне выяснен. Нельзя не сказать, однако, что тут выразился присущий ему недостаток юридического образования [2].

---

[1] Критика И. Д. Беляева появилась в „Рус. Беседе“, 1856 г., №№ 1, 2 и 4; ответ Б. Н. Чичерина в „Рус. Вестнике“, 1856 г., №№ 3 и 4.

[2] Статья С. М. Соловьева под заглавием „Спор о сельской общине“ была напечатана в „Рус. Вестнике“, за 1856 г., VI.

Я не счел нужным продолжать спор, который на этом пока и прекратился. Но несколько лет спустя Беляев написал книгу: „Крестьяне на Руси“, в которой все мои выводы нашли полное подтверждение. Он, конечно, не думал признаваться в своей прежней ошибке, но, излагая подробно на основании источников, поземельные права древне-русских крестьян, он представил их совершенно так же, как и я, ибо древние грамоты не показывают ничего другого. Об общинном владении во всей книге нет ни единого слова. Впоследствии, когда В. И. Герье уговорил меня написать вместе с ним критику на книгу князя Васильчикова, мне пришлось опять вернуться к этому вопросу, и я прямо сослался на исследования Беляева[1]. Новейшие изыскания поставили правильность моего взгляда вне всякого сомнения. Оказалось, что в Олонецкой губернии только во времена Екатерины, на основании Межевых инструкций, были отобраны все земли, находившиеся в течение веков в личном владении крестьян и произведено было правительством повальное наделение по душам. Это вызвало общий вопль; некоторые подавали даже жалобы в суд, так что правительство принуждено было приостановиться в исполнении своей меры и решило оставить участки во владении тех, которые жаловались, и отобрать их только у тех, которые молчали. В Архангельской губернии тот же переворот произошел еще позднее, распоряжением Министерства государственных имуществ. Госпожа Ефименко, которая занялась исследованием этого вопроса на месте, точно так же, как я, приступила к нему с полною уверенностью, что нынешнее общинное владение искони существовало между крестьянами; но убедившись из памятников, что ничего подобного в древности не было, прямо объявила, что это чистый миф[2]. При этом, однако, она сочла нужным заявить, что она вовсе со мною не согласна, хотя собственные ее изыскания более чем подтверждали мой взгляд.

Дело в том, что против моих выводов ополчились не одни славянофилы, но также и социал-демократы, отвергающие личную собственность, и, вообще, все те, которые в общинном

---

[1] „Русский дилетантизм и общинное землевладения“. М. 1878. (Чичерину принадлежат главы II, IV и V).

[2] А. Ефименко, „Крестьянское землевладение на крайнем севере“, 1884 г.

владении видят спасение против пролетариата. Отсюда произошло то странное явление, что чисто исторический вопрос сделался лозунгом партий, вследствие чего он и не подвинулся ни на шаг. Прошло тридцать пят лет с тех пор, как он был мною поднят, и, несмотря на то, что старый и новый матерьял убедительно доказывает несостоятельность ходячего мнения, у нас все еще продолжают говорить об общинном владении, как об исконно русском учреждении. Даже ученые выдающие себя за специалистов в этом деле, считают научною ересью теорию, которая производит общинное владение в России из крепостного права и подушной подати. Сколько мне известно, из исследователей русской старины один Сергеевич, правда, самый дельный из всех, высказался в пользу моего взгляда. В недавно вышедшей книге: „Русские юридические древности“,[1] он даже прямо заявил, что в его глазах, моими статьями исторический вопрос окончательно решен. Нельзя не сказать, что способ, каким этот вопрос обсуждался в нашей юридической литературе, показывает весьма невысокий уровень образования в нашем отечестве.

Вскоре после статьи о сельской общине Соловьев выступил против славянофилов с другою статьею „Шлетцер и антиисторическое направление“[2]. Он доказывал, что они сами прежде всего повинны в том, в чем обвиняют своих противников, именно, в отрицательном отношении к истории. Разница состоит лишь в том, что одни отрицают прошедшее во имя настоящего, то есть, исследуют то отрицание, которое совершено самою историею, а другие отрицают настоящее во имя прошедшего, то есть, отрицают самую историю и хотят дать ей обратный ход. Пустое разглагольствование Константина Аксакова, который отвечал на эту статью в „Беседе“, не могло ослабить ее действия.

Рядом с этим шла и мелкая перестрелка. Однажды Дмитриев, к великой своей радости, открыл в „Беседе“ оправдание Беляевым древне-русского правежа. Немедленно была им

---

[1] Первое издание вышло в 1891 — 1896 гг. В приложении к III тому помещена критика точки зрения Б. Н. Чичерина, из которой видно, что автор разделял не все положения последнего.

[2] Напечатана в „Рус. Вестнике“, 1856 г., № 8.

тиснута об этом статейка, подписанная: Любитель старины. Она услаждала нас на одном из вечерних собраний. В то же время я прочел в „Беседе“ статью К. Аксакова о древне-русских богатырях, в которой он с обычными своими восторгами описывал, как Добрыня Никитич, чтобы наказать свою жену, разрезал ее на кусочки. Мне это показалось до того забавным, что я со своей стороны написал об этом заметку, которую подписал: Любитель новизны. Это было, в сущности, не более как шуткою; но Аксаков обиделся. Я отвечал, что обижаться тут нечем, а драпироваться в мантию серьезного и добросовестного отношения к делу „Беседе“ вовсе не пристало. На каждом шагу она давала на себя оружие. Однажды, вернувшись из деревни, я обедал у Павлова с Валентином Коршем, который сообщил мне, что он, вместе с Любимовым и Нилом Поповым, собираются напечатать в „Московсхих Ведомостях“ коллективную статью о „Русской Беседе“, которая завралась уже через всякую меру. В это время, между прочим, в славянофильском органе подвизался, в качестве литературного критика, нелепый и пьяный Аполлон Григорьев, которого так метко характеризовала Щербина:

Григорьев пусть людям в забаву
Серьезные пишет статьи.

Исходя из славянофильской теории, которая всякое признание и всякое воспроизведение основывала на субъективном сродстве, он доказывал, что художник способен изображать только такие лица, какими он сам может быть. Так Шекспир мог бы быть и Гамлетом, и Лиром, и Ричардом III и т. д. „Да скажите ему, что Шекспир, по его теории, мог бы быть и Офелией и Дездемоной,“—заметил я Коршу. Тот немедленно вклеил это замечание в статью, которая и появилась на следующий день за подписью Челышевский, вследствие того, что Нил Попов жил тогда в нумерах Челышева, на Театральной площади.

Все это однако же было только прелюдиею к полемике, которая повела к окончательному разрыву. И тут кругом были виноваты славянофилы. Первый повод к обострению отношений подала, появившаяся в „Беседе“ статья ориентали-

ста Григорьева о Грановском. В. В. Григорьев был товарищем Грановского по университету, но затем он потерял последнего из виду, сходился с ним только случайно, проездом, и не имел ни малейшей возможности судить о том, чем Грановский сделался, когда он стал профессором. И вдруг этот господин вздумал, на основании личных впечатлений, описывать Грановского, как красноречивого, но легенького ученого, который только по недостатку серьезного научного образования увлекся западным направлением [1]. Слявянофилы хотели поразить врагов в лице самаго видного их представителя. Такая недостойная полемическая уловка над свежею еще могилою всех нас крайне возмутила. Кавелин прислал из Петербурга статью под заглавием: „Лакей", в которой изображен был Григорьев [2]. В ней были такие резкие отзывы о самой „Беседе", что редакция „Русского Вестника" сочла даже нужным смягчить его выражения. В письме к нему я высказал сожаление по поводу этого смягчения, полагая, что оно произведено самим Катковым самовольно. Кавелин отвечал: „Катков писал мне и просил о смягчении, потому что он был убежден, и убежден на основании доказательств, что славянофилы добросовестно не оценили вполне всей гнусности статьи Григорьева, по крайней мере в то время, как ее печатали. Вышло на поверку, что это были лишь лицемерные увертки, очень может, быть в надежде, что выставлять на показ гнусность статьи г. Григорьева не станут, и, таким образом, Немезида будет убаюкана. Каюсь перед драгоценною и святою для меня памятью друга Грановского, что был неправ перед ним, близоруко и тупоумно защищая славянофилов. На них лежит печать смерти и гниения, оттого они и отворяют настежь двери Григорьевым и Крыловым. Даже честные люди наперечет в этом лагере, не говоря о талантах. Им бы взять еще в сотрудники Бланка и Лебедева. [3]

---

[1] Статья В. В. Григорьева: „Т. Н. Грановский, до его профессорства в Москве" напечатана в „Рус. Беседе", 1856 г., IV.

[2] Под заглавием: „Слуга, современный физиологический очерк", статья напечатана в „Рус. Вестнике", 1857 г., т. VIII, кн. 6. (В изд. Глаголева т. II, стр. 1186—1192).

[3] Григорий Борисович Бланк (1811—1889), сотрудник „Вести", рьяный крепостник; что касается Лебедева, то, вероятно, имеется в виду священник

Булгарин и Греч, люди все-таки более приличные, если не более честные, чем названные их настоящие и будущие сотрудники. Жестоко каюсь, что смягчил слова о „Беседе" в своей статье; думаю, что и Катков кается, потому что гнили и гадости „Беседы" и „Молвы" нет меры".

Мы сочли, однако, такого рода ответ недостаточным. Надобно было разобрать Григорьева по косточкам, и это взялся сделать Н. Ф. Павлов. Как всегда, насилу от него могли добиться обещанной статьи; но, наконец, она появилась. У Станкевичей был большой обед, где собрался весь кружок. Долго дожидались Каткова и Леонтьева. Наконец, они приехали с новинкою, и статья Павлова была прочитана при общем восторге. Меня в это время не было в Москве; но когда я прочел статью, мне показалось, что Павлов увлекся желанием блеснуть несвойственною ему ученостью. Он не только восстановил образ Грановского, но хотел доказать, что сам Григорьев, как ученый, не имеет ни малейшего права строго относиться к другим. Я боялся, что этим могут воспользоваться противники. Мои опасения сбылись. Скоро последовал ответ со стороны другого ориенталиста, Савельева: защищая Григорьева, он доказывал, что автор статьи „Биограф-ориенталист" не имеет ни малейшего понятия о том предмете, в котором силится выставить себя знатоком. Все думали, что Павлов попался, и сам он был крайне сконфужен. В результате, однако, вышло совсем другое. Материалы для статьи по части восточной учености доставил ему Е. Ф. Корш, и когда Павлов обратился к последнему за справкою, то Корш, опять под псевдонимом Челышевского, написал ответную статью, в которой так ловко, умно и с таким знанием дела обличил присяжных ориенталистов, что всякая дальнейшая полемика должна была прекратиться. Торжество было полное.

В то же время „Русская Беседа" приобрела другого совершенно неожиданного сотрудника—профессора римского права при Московском университете Никиту Ивановича Крылова.

Василий Иванович Лебедев (1825 — 1863), редактор „Душеполезного чтения", сотрудничавший в „Москвитянине", статья которого, направленная против книги М. Н. Каткова: „Очерки древнейшего периода греческой философии", вызвала сильную полемику.

Выше я уже описал эту умную, даровитую, но лишенную всяких нравственных основ и всякого серьезного образования личность. После сей истории, Крылов жил себе в своем маленьком, пошленьком кругу старых профессоров юридического факультета, читал свои лекции, но никогда не дерзал показываться на литературном поприще. Поводом к выступлению его на сцену послужил мой диспут.

Я рассказал долгие мытарства своей диссертации. Потерпев неудачу в Москве и Петербурге, я решился представить ее в общую цензуру, которая с новым царствованием сделалась гораздо снисходительнее. Цензором в Москве былв то время человек, о котором русская литература не может не вспомнить с благодарностью,—Николай Федорович фон-Крузе. Он был умен, честен, образован, с либеральным направлением, хотя, как впоследствии оказалось, несколько легкомысленен. Правительство в то время было исполнено добрых намерений, но ни на какой положительный шаг оно не решалось. Цензурные законы оставались прежние; даже все безобразные циркуляры и инструкции, которыми в последние годы царствования Николая думали задушить несчастную русскую мысль, сохранялись во всей своей силе. В таком положении Крузе взял на себя инициативу и стал пропускать все статьи, которые он считал безвредными. Петербургская цензура, видя, что все это проходит ему даром, последовала его примеру. Правительство молчало, и русская печать вздохнула свободнее. В то время Крузе носили на руках; ему присылали адресы, и у него несколько закружилась голова. Он стал бить на эффект, хотел показать свою храбрость и сломил себе шею. У него были, впрочем, и другие виды. Кокорев, который в эту пору являлся зачинателем всякого рода предприятий, отправил его своим агентом в Англию. Но ни хозяин, ни агент не были в состоянии основательно и расчетливо вести коммерческое дело. Предприятие лопнуло, и Крузе должен был вернуться в Россию. Он поселился в своей деревне в Петербургской губернии. По введении земских учреждений, его выбрали председателем губернской управы. И тут он стал пускаться на эффекты, выступил с резкой оппозициею правительству и опять сломил себе шею. Его либеральные друзья доставили ему место ди-

ректора железноконных дорог в Москве; однако, и это предприятие у него не пошло. Наконец, он получил должность в Дворянском банке, чем и поддерживает свою многочисленную семью.

Крузе, разумеется, без малейшего затруднения пропустил мою диссертацию, которую я и представил в факультет уже напечатанною. Как ни бесились старые профессора на посвящение памяти Грановского, которое казалось укором им самим, но повода к отказу не было никакого. Нельзя уже было ссылаться на цензурные правила; а отвергнуть с ученой точки зрения обстоятельное фактическое исследование, о котором могла судить публика, было уже слишком неблаговидно. Волею или неволею пришлось диссертацию одобрить. Диспут происходил в конце января или в феврале 1857 года. Оппонентами были Лешков и Беляев, которым возражать было не трудно. Тогда для поднятия чести факультета, выступил Крылов. С тем замечательным даром слова, которым он отличался, он произнес блестящую речь, в которой, воздавая мне хвалу, он хотел предостеречь бывшего слушателя от односторонних увлечений. По его мнению, я взглянул на древнюю Россию с чисто отрицательной точки зрения, изобразил ее в самых мрачных красках, представил такой порядок вещей, в котором человеку просто невозможно жить. Воодушевляясь, он, наконец, вскочил со стула и воскликнул: „Если бы все это было так, как вы описываете, я бы просто взял свой чемодан и уехал“. Отвечая ему, я утверждал, что ничего такого мрачного в моей диссертации нет, и стал допрашивать его, на чем он основывает свою характеристику, и что он находит в моем изображении неверного. Но он весьма ловко отклонил дальнейшие прения, объявив, что он все это говорит не в виде возражения, а в виде замечания, для назидания молодого ученого, подающего такие надежды. Декан меня тут же объявил магистром, не обратившись даже с запросом к публике; все меня облобызали. Диспут был кончен, и эффект произведен.

Славянофилы были в восторге. Они тотчас обступили Крылова и стали уговаривать его написать свою речь и напечатать ее в „Беседе“. В самом деле это была для них чистая находка. Они очень хорошо видели, что с бездарным, нелепым,

невежественным Беляевым далеко не уедешь. А тут вдруг подвертывается юрист, имевший громкую репутацию ума и таланта, ученый, заявивший себя перед публикою блестящею импровизациею, в которой славянофильские идеи находили красноречивое и увлекательное выражение. Обласканный, расхваленный, превознесенный, Крылов, наконец, уступил настояниям и, преодолев свою лень, решился написать статью. В это время я уехал в деревню. Мои родители весновали в Москве, но брат Владимир, вместе с дядею Петром Андреевичем Хвощинским, возвращался на весну в Караул, и я решился ехать с ними. Встречать весну в деревне было для меня истинным наслаждением, а я при этом имел еще в виду бродившую у меня в голове статью о недавно вышедшей книге Токвиля: „L'ancien régime et la révolution". Писать среди московской суеты не было возможности, и я хотел уединиться, наслаждаясь вместе с тем всеми прелестями обновляющейся природы. Мы кое-как добрели до места, частью на тележке, частью на санях, частью даже пешком, и я в тишине принялся за свою работу. Между тем, из Москвы приходили непрерывные известия о том, что там совершалось. Отец, который живо интересовался всем этим спором, писал мне длинные письма, описывая все подробности. Вскоре потом, вернувшись в Москву в половине мая, я узнал остальное.

Первая половина статьи Крылова, появившаяся в „Русской Беседе" [1], произвела громадный эффект. Все были поражены необыкновенною его виртуозностью, гибкостью и блеском таланта, разнообразием как бы в скользь кидаемых мыслей. Сам Катков был ошеломлен и с отчаянием говорил: „Вот какие статьи надобно писать". Скоро, однако, стали догадываться, что под этою мишурою скрывается совершенная пустота содержания, что противоречия и неясность оказываются на каждом шагу, что фактическая сторона никуда не годится, что все это, наконец, не более, как громкая шумиха. Когда же появилась вторая половина статьи, то можно было раскусить

---

[1] „Критические замечания, высказанные проф. Крыловым на публичном диспуте в Московском университете 21 декабря 1856 г. на соч. г. Чичерина „Областные учреждения в России в XVII в." („Рус. Беседа", №№ 1 и 2).

автора вполне. Крылов совершенно тут расходился и явился во всей своей наготе. Гром расточаемых ему повсюду похвал и ласкательство славянофилов так помутили ему голову, что он, действительно, вообразил себя великим человеком и не знал уже никакого удержу. Он на улице останавливал прохожих и спрашивал, читали ли они его статью. Каждое утро из университета он отправлялся в книжный магазин Базунова и там, восседая в креслах, свысока поучал всех и каждого. Второстепенных славянофилов он трепал за бакенбарды и говорил им—ты. В „Молве“, которую в это время основали славянофилы для ведения мелкой войны, он, по собственному его выражению, построил себе цитадель, откуда он обстреливал молодых наездников, которые осмеливались пускаться на юридическое поле, не спросив старших. Во второй части статьи, помещенной в „Русской Беседе“, он не устыдился даже упрекнуть молодых ученых в том, что они, под влиянием западных учений, не находят в русской истории царя, и хотел им его показать, между тем как сам он перед тем выставлял себя, как либерала, и выступал защитником древней свободной Руси против тех же молодых ученых, которые будто бы стоят исключительно на точке зрения Московского государства. И все эти недостойные выходки, весь этот непозволительный набор слов „Русская Беседа“ печатала с благоговением.

И вдруг это блистающее тысячами разнообразных огней фантастическое здание, построенное на шарлатанстве и самомнении, рухнуло разом. Явился Байбарода. Однажды Крылов во всем упоении успеха пришел в университет и в профессорской комнате, в присутствии Леонтьева, стал с глубочайшим пренебрежением отзываться о „Русском Вестнике“, говоря, что он даже запрещает студентам его читать. Леонтьева это взорвало и он решился отомстить. Редакция, которая в первые минуты была увлечена Крыловым, втайне приготовила статью, и среди всего этого шума, неожиданно для всех, выпустила ее под псевдонимом Байбороды. [1] Материал был собран Леонтьевым, а статья была писана Катковым. Она была убийственная. С тем мастерством ругаться, которое его отличало, Катков

---

[1] „Изобличительные письма“ („Рус. Вестник“, 1857 г., VIII).

беспощадно изобличал все шарлатанство и все глубокое невежество нового критика. Оказалось, что профессор римского права не знал самых элементарных правил латинской грамматики, перевирал все римские учреждения, доходил даже до того, что в Риме насчитывал пять цензоров!!! Это было бичевание не на жизнь, а на смерть, и внезапное падение было так же глубоко, как минутное превознесение. Славянофилы тщетно старались ослабить силу удара. Они разъезжали по московским гостиным, объявляли, что готовится громовый ответ, уверяли даже, что по новейшим изысканиям, действительно, найдено, что в Риме было пять цензоров, а не два. Скоро Крылов сам себя обличил. В объяснении, напечатанном в „Молве“[1], он признался, что ему просто взболтнулось, и жалобно возопил, что его не за что было так хлестать. Очевидно, что он совершенно потерял голову и начал молоть чистейшую чепуху. Подозревали даже, что статья написана под пьяную руку. Действительно, ошеломленный неожиданным ударом он с горя запил. В этом виде он приезжал к фон-Крузе и в лицах представлял ему, как плебеи удаляются на священную гору и как патриции на коленях молят их о возвращении. Пьянство, гаерство и шутовство—вот чем кончился этот с таким блеском предпринятый поход. С тех пор Крылов умолк и никогда уже более не показывался, не только на литературном поприще, но и в литературных салонах.

Я не мог, однако, довольствоваться этим изобличением шарлатанства в области римского права. Печатая статью Крылова, „Русская Беседа“ в том же номере напечатала и другую критику на мою диссертацию, писанную в том же духе и принадлежавшую перу Ю. Ф. Самарина.[2] Отец писал мне, что „Беседа“ против меня одного направляет все свои лучшие силы, а редакция, печатая обе статьи, нежно уговаривала меня отказаться от своего воззрения на русскую историю в виду того, что два критика, не сговорившиеся друг с другом, с разных концов России упрекают меня в одних и тех же ошибках. Я решился отвечать обоим вместе и объяснил ре-

[1] 1857 г., №№ 3, 4 и 5.

[2] „Несколько слов по поводу исторических трудов г. Чичерина“ („Рус. Беседа“, 1857 г.).

дакции, что это изумительное единомыслие критиков происходит единственно оттого, что ни тот ни другой моей книги не читал, а оба повторяют только те обвинения, которыми „Русская Беседа“ имеет обыкновение награждать своих противников

Уличить Крылова в том, что он, просмотревши наскоро маленькую часть введения, об остальном не имеет понятия и навязывает мне то, чего я никогда не говорил, было весьма не трудно. Мне хотелось, главным образом, разобрать Самарина, который в этом случае поступил с неменьшим легкомыслием нежели Крылов. Он вовсе не думал подвергнуть строгой научной критике сочинение, основанное на фактических исследованиях; на это у него не доставало знания. Поэтому он просто сослался на критику „Русской Беседы“, которая будто бы доказала полную несостоятельность моих выводов, и затем спрашивал: почему же при трудолюбии и даровитости автора, при богатстве собранного им фактического материала в результате вышло только то, что русская история обогатилась несколькими ошибками? Причина, по его объяснению, заключается в том, что у автора нет сочувственного настроения, к предмету, которое одно дает возможность правильно его понимать. Следуя славянофильскому учению, Самарин утверждал, что познавать вещи надобно не одним только умом, а всем своим существом нераздельно. Вследствие недостатка такого понимания у меня, по его уверению, господствует чисто отрицательный взгляд на древнюю русскую историю. В подтверждение он выдергивал из общего заключения несколько отрицательных признаков, которыми будто бы ограничиваются мои взгляды.

И тут мне не трудно было показать всю недобросовестность всех этих обвинений. Стоявшие на первом плане положительные признаки, заключающиеся в развитии государственных начал, намеренно оставались в стороне, а выдвигались одни отрицательные, сводившиеся к недостатку систематической организации в сравнении с последующим периодом, да и тут критик прибегал к явным натяжкам, вследствие чего общая моя мысль получала совершенно неверное освещение. Я не ограничился, однако, восстановлением фактической стороны вопроса в настоящем его виде; главная моя цель состояла

в том, чтобы выяснить истинно-научную методу исследования и существенное ее отличие от ненаучной, которой держались славянофилы, и которая вела лишь к бесконечному фантазерству. Я доказывал, что в самопознании менее всего возможно познавать всем своим существом, ибо именно тут надобно прежде всего отделить себя, как субъект познающий, от себя, как объекта познаваемого. Основательно изучать факты и выводить из них точные заключения, такова была историческая метода, которую я противополагал славянофильскому мистическому познанию всем своим существом.[1]

Статьею о критике Крылова и о способе исследования „Русской Беседы" кончилась наша полемика. В „Молве" появилась о ней коротенькая заметка, не содержавшая в себе ничего, кроме пошленького глумления.[2] Я даже не обратил на нее внимания, приписывая ее тогдашнему совершенно ничтожному редактору „Молвы" Шпилевскому, и уже много лет спустя, к великому своему удивлению, увидел ее перепечатанною в полном собрании сочинений Хомякова. Как видно, он не брезгал и подобными приемами. С прекращением полемики, прекратились и личные споры. Возмущенный способом действия славянофилов, я некоторое время прервал с ними сношения. В последнюю зиму, проведенную мною в Москве до отъезда за границу, я не поехал к Кошелеву, а в апреле 1858 года, я на несколько лет отправился в чужие края. Когда же я вернулся, обстоятельства совершенно изменились. Теоретические споры умолкли; настала пора практических преобразований. На этой почве мы могли сойтись с прежними противниками, тем более, что главные фанатики сошли со сцены. Не было Хомякова, не было Константина Аксакова. Самарин и Черкасский всецело были погружены в освобождение крестьян, на котором сходились обе партии. Один Иван Аксаков продолжал петь старые песни, потерявшие уже всякое серьезное значение. Статья о Крылове была, вместе с тем,

---

[1] «Критика г. Крылова и способ исследования „Рус. Беседы"» („Рус. Вестник", 1857 г., X, стр. 727—768, XI, стр. 174—206).

[2] Статья Хомякова появилась в „Молве", 1857 г., № 29, за подписью „Т...к" (Туляк) и перепечатана в т. I Полного собрания его сочинений, вышедшем в 1878 г.

последнею, которую я дал в „Русский Вестник“. И в лагере западников произошел раскол. С самого начала между ними обозначились два противоположные направления, которые можно назвать государственным и противогосударственным. Катков и Леонтьев в то время всецело принадлежали к той школе, которая старалась государственную деятельность низвести до пределов самой крайней необходимости. Они в этом отношении заходили так далеко, что в статьях, писанных от редакции, буквально проповедывалось, что государство имеет право сказать: не трогай, но не имеет право сказать: давай. Всякое положительное дело должно было исходить от частной инициативы и ею только поддерживаться. Вследствие этого, английский не только политический, но и общественный быт возводился ими в идеал. Они не хотели видеть вредных последствий невмешательства государства и вовсе не ведали новейшего движения английского законодательства, которое, именно вследствие этих указанных самою жизнью недостатков, чисто практическим путем шло к бо́льшему и бо́льшему усилению центральной власти. Другое направление, к которому принадлежал и я, отнюдь не отвергая общественной самодеятельности, а, напротив, призывая ее всеми силами, уделяло, однако, должное место и государственной деятельности, не ограничивая ее чисто отрицательным охранением внешняго порядка, а присваивая ей исполнение положительных задач народной жизни. Для нас идеал гражданского строя представляла не Англия, сохранившая многочисленные остатки средневековых привилегий, а Франция, провозгласившая и утвердившая у себя начало гражданского равенства, причем мы вполне признавали, что, вследствие исторических условий, административная централизация достигла здесь преувеличенных размеров и требовала ослабления. В ряде статей я старался показать выгоды и недостатки того и другого порядка вещей[1]. В этом направлении главную поддержку я находил в Евгении Федоровиче Корше, который вполне разделял мои взгляды.

В настоящее время не может быть сомнения в том, на чьей стороне была истина. Современное движение мысли

[1] Статьи эти вышли в сборнике: „Очерки Англии и Франции“, М., 1858 г.

давно отвергло чисто отрицательные теории государства, которые проповедывались тогда на всех перекрестках. Начало государственного вмешательства, и в практике и еще более в теории, в свою очередь дошло до такой крайности, которая грозит опасностью человеческой свободе. Сами редакторы „Русского Вестника“ скоро отреклись от своего направления и из одной односторонности перешли в другую. Сделав внезапный поворот фронта, они стали превозносить исключительно правительственную деятельность, а общественную свободу ставили ни во что и старались при всяком случае выказать полную ее несостоятельность. Журнальная мысль обыкновенно, как флюгер, следует за всяким дуновением ветра; дело науки стать на твердую почву и установить надлежащую середину между противоположными крайностями. Но, конечно, держаться на ней не легко. При постоянных колебаниях общественной мысли в ту или иную сторону, одна и та же научная точка зрения, обхватывающая предмет с разных сторон, попеременно подвергается противоположным нареканиям. В пятидесятых годах я слыл крайним государственником, казенным публицистом, защитником ненавистной централизации; двадцать лет спустя, меня за те же самые воззрения стали упрекать в преувеличенном индивидуализме, а в правительственных сферах считают даже „красным“. Кто следит за поворотами умственной моды, особенно в таких мало образованных странах, как наше отечество, тот знает цену подобных обвинений. В настоящее время, озираясь назад, нельзя без некоторой усмешки вспомнить, что самая умеренная защита какой бы то ни было правительственной деятельности считалась чем-то чудовищным, а название государственника означало нечто реакционное и тлетворное.

Разрыв с „Русским Вестником“ произошел по поводу моей статьи о Токвиле. Книга знаменитого французского публициста: „L'ancien régime et la révolution“ [1] имела в то время огромный успех; но на меня она произвела невыгодное впечатление. Я был большим поклонником сочинения Токвиля о демократии в Америке; [2] я признавал его первым современным публи-

[1] Первый том вышел в 1856 г.; труд остался незаконченным.

[2] „Démocratie en Amérique“, Paris, 1835—1840.

цистом; но тем более я считал нужным восстать против нового его направления, которое казалось мне ложным. В отличие от прежней исторической школы, которая старалась каждое явление понять и оценить в историческом его значении, на том месте и при тех условиях, среди которых оно возникло, Токвиль стал вносить в историю современные взгляды, осуждая в прошедшем то, что кололо его в настоящем, и не понимая, что учреждение, в данное время благодетельное, может при изменившихся условиях сделаться пагубным. Современная Франция страдала от наполеоновского деспотизма и от избытка централизации; Токвиль стал разыскивать корни этих начал в прошедшем, сетуя на то, что история не приняла другого хода, и что Франция не развивалась так же, как Англия. Историческое призвание абсолютизма и централизации совершенно для него исчезало. Это было в другой форме и при несравненно большей основательности, нечто похожее на те взгляды, которые славянофилы вносили в русскую историю.

Я написал критику, в которой старался восстановить историческое значение централизующих начал в развитии Франции, признавая при этом, что в настоящее время централизация достигла в ней преувеличенных размеров и требует ограничения. Я вовсе не был поклонником наполеоновских порядков, считая их вызванными только временным неустройством неприготовленной к управлению демократии. И что же? Катков отказался поместить эту статью, как радикально противоречащую убеждениям редакции. Он писал мне:

„Статья Ваша о Токвиле причинила мне большое беспокойство, почтеннейший Б. Н. В литературном отношении немногое у нас в этом роде может быть поставлено наряду с нею. Но недоразумения между нами так велики, что было бы, наконец, недобросовестно с моей стороны пользоваться для украшения журнала тем, что так существенно противоречит убеждениям редакции. В прежних статьях Ваших не было такой решительной постановки начал, а потому я, не соглашаясь с Вами во многом, печатал их из уважения к их ученым и литературным достоинствам, к чистому духу науки, которым искупалась казавшаяся мне в них односторонность. К тому же в них речь шла о русской истории и притом о

специальных вопросах, где односторонность эта не так резко бросается в глаза, не так больно чувствуется. Что касается до статьи о Монталамбере то и она, своими достоинствами с одной стороны и своим направлением с другой, причинила мне также много колебаний; но в этой статье была спасительная неконсеквентность; мрачный образ вашей централизации выкупается прекрасным очерком свободы, которая возникла и живет при других условиях. В статье о Токвиле, напротив, первый образ совершенно господствует. Ваш талант умел даже сообщить ему какую-то красоту, опасную для слабых организмов. Мне случилось видеть на Брюссельской выставке изящных искусств статую сатаны, изваянную бельгийским художником, которого имени теперь не могу припомнить. Лицу злого духа придана такая чудная красота, что невольно становится страшно, смотря на это лицо, перед которым уничтожаются все чучеловидные изображения чорта. Хотя и здесь проглядывает спасительная непоследовательность, но слабее: что благодаря ей вошло в Вашу статью, то производит менее действия и парализуется тем, что высказано Вами консеквентно. Тем не менее, я нахожу, как в этой, так и в других Ваших статьях многое, подающее надежду, что Вы выйдете победителем из недоразумения, которое опутало Ваш талант. Правду говаривал покойник Грановский, что изучение русской истории портит самые лучшие умы. Действительно, привыкнув следить в Русской истории за единственным в ней жизненным интересом,— собиранием государства, невольно отвыкаешь брать в расчет все прочее, невольно пристращаешься к диктатуре и, при всем уважении к истории, теряешь в нее веру.“

К этому письму Катков приложил на двенадцати страницах большого формата изложение своих собственных взглядов, которые должны были служить исповеданием его веры. Извлекаю из них все существенное, как памятник тех убеждений, которыми руководился в то время этот человек, игравший такую видную роль, в нашем общественном развитии.

Критикуя мою оценку исторических взглядов Токвиля, Катков говорит, что „начало, которому предан французский автор, более всего имеет право на сочувствие и ценится

выше всего: это — свобода, которой принадлежит будущее и которой вся история служит лишь постепенным осуществлением". Я же, по его мнению, предмету сочувствия автора противополагаю предмет собственного сочувствия; я впадаю в односторонность „в пользу начала по натуре своей весьма несочувственного, весьма антипатического". „В прошедшем,— говорит он,— как подлежащем полному ведению науки, можно оправдывать или, лучше, объяснять то или другое явление абсолютизма, деспотизма или диктатуры; но останавливаться на нем с наслаждением и энтузиазмом невозможно без какого-нибудь радикального недоразумения". Централизация, по мнению Каткова, „имеет только одно законное значение — поскольку она служит ничем иным, как установлением в стране единого государства... Status in statu[1] терпим быть не может... Истинное назначение централизации собрать воедино, под замок и печать, всю фактическую, внешнюю, принудительную силу; подчинить кесарю все кесарево, но отнюдь не отдать кесарю то, что никак принадлежать ему не может, отнюдь не затем собрать эту силу, чтобы воспользоваться ею для порабощения всех прочих начал человеческого мира. Как скоро дело централизации приходит к концу, так требуется возможно полное освобождение человеческой жизни от государственной опеки. Но, к сожалению, не так бывает и с практическими совершителями централизации и иногда с людьми, теоретически следящими за ее развитием... Им кажется, что собранным силою можно и должно пользоваться по личному благоусмотрению диктатора для подвигания человечества по пути прогресса; им приходит в голову убийственная мысль, что можно и должно осуществлять идеи разума посредством монаршего скипетра или диктаторской булавы; им приходит странная мысль, что депозитарии этой силы становятся какими-то ангелами небесными, что стоит человеку окунуться в казну из него непременно выйдет существо по образу и подобию божию, чиновник во всей форме, какого благодушно желал для своих любезноверных поданных император Иосиф II и многие другие императоры". Не то ли самое проповедывал Катков несколько лет спустя?

[1] „Государство в государстве".

„Французская революция,— продолжает Катков,—есть действительно верховный акт централизации, и в ней изобразизилось все благо и все возможное зло этого акта. Благо ее есть тот пункт, в котором государственная централизация, достигла последнего предела, hebt sich selbst auf,[1] сознает этот предел и торжественно провозглашает всеобщее равенство. Гражданское равенство есть великое начало: в нем конец государственной централизации и начало внутренней децентрализации государства. Равенство всех, этот вдохновительный лозунг современных демократических стремлений, значит отречение государства вносить какие-нибудь различия между людьми; этим, конечно, не уничтожаются бесчисленные несходства между людьми, в различных отношениях, в естественном, нравственном, умственном и т. д., но объявляется свобода общества от государственных определений. Всякая привилегия, всякое сословное неравенство, всякая монополия есть дело государства,—и вот государство отказывается быть источником привилегий, неравенства, монополий, и объявляет недействительными все прежде из него проистекшие или им освященные подобные различия. Этим актом государство оставляет свободное поприще для раскрытия всех сторон человеческой природы, ограждая его от всякого насильства, от всякого употребления государственных, т. е. принудительных средств при этом раскрытии. К сожалению, депозитарии государственной власти во времена революции не могли устоять перед обаянием этой силы; у них закружилась голова... Вместо того, чтобы запереть или запечатать эту силу и поставить ее под строгий общественный надзор, ее выпустили au nom du salut public[2] всю на свет и произвели те ужасы, каких мир не часто бывает свидетелем". В том же духе действовал и Наполеон. „Мы можем преклоняться перед историческою необходимостью, перед силою обстоятельств, можем даже простить увлечения людям, которые подвергались сильнейшим искушениям. Но нельзя оправдать теоретически стремления поставить государство во главе всего. Французская революция провозгла-

[1] „Сама себя аннулирует".

[2] „Во имя общественного блага".

сила вместе с равенством, свободу мысли, слова, совести, хотя не смогла воспользоваться этою свободою. Свобода мысли, слова, совести,—что же это, как не ограничение государства, не провозглашение других начал, кроме начала государственного, которое к ним должно относиться индиферентно?

„Самое расчленение государственной организации на три отрасли, законодательную, исполнительную и судебную,—по мнению Каткова,—есть выражение внутренней децентрализации государства. Государственная сила, собственная сущность государства,—говорит он,—заключается бесспорно в исполнительной власти. Законодательная власть должна служить непосредственным органом общественной инициативы, прямым удовлетворением наличных потребностей, прямым выражением опыта жизни, современного духа, а не теорий представителя народного единства, как бы он ни назывался, представителя, на которого вместе с этим значением никто не возлагает тягостей, а вместо сладостной обязанности мыслить, разуметь и хотеть за всех и с устранением всех. Законодательная власть приурочивается к исполнительной в той мере, в какой для нее необходимо непосредственное ограждение и застрахование. Судебная власть в благоустроенном государстве (ибо не государство, вообще,—этого добра всегда и везде бывает много,—а именно благоустроенное государство есть желаемое искомое), должна быть совершенно свободна от администрации, истекающей от исполнительной власти или непосредственно от государства. Английская и французская магистратура потому представляют такое благородное явление, что там судья inamovible[1] и независим от правительства. В Англии, каждый простой смертный может притянуть к суду администратора не только по какому-нибудь частному делу, но и по злоупотреблению власти.

„Говорят, обращаясь к нашему возлюбленному отечеству, что диктатура у нас полезна и может вести к благотворным последствиям; не спорю, но где и в каких случаях? Например, говорят, как произвести освобождение крестьян без принуждения со стороны государства?“. „Это мнение,—говорит

---

[1] „Несменяемый“.

Катков,—основано на непонятном недоразумении, ибо помещик держится только государством, от него получает всю свою власть и если бы оно отняло у него свою руку, то он исчез бы как призрак. Желательно, однако, чтобы при этом имелась в виду не просто смена династии, а радикальное освобождение, не смена помещика становым, которого и без того уже в иным местах величают не иначе, как барином. Говорят еще о церкви у нас, о том, следует ли давать ей свободу. Но церковь у нас есть чисто государственный, почти полицейский институт: без всякого сомнения, нельзя давать ей волю, как полицейскому институту. Совсем иное дело отпустить ее из государственной службы, отобрать у ней привилегии, как прежде были отобраны имущества и самосуд, предоставить религию не полицеймейстеру, а совести: в этом смысле требуется полнейшая свобода церкви, то есть совести и всего того, что из нее следует. Говорят также о наших коллегиях, совещательных и избирательных собраниях,—но можно ли говорить серьезно об этих жалких комедиях, об этих карикатурах общественных льгот в мире совершеннейшей централизации, где все чиновники и солдаты, начиная от будочника и ямщика и так далее вверх?"

В самой реформе Петра Великого Катков оправдывал насилие лишь исключительными обстоятельствами, сближением с системою европейских государств, которое требовало создания войска, флота, гаваней. „Но то, что, таким образом, вынуждало злоупотребление народных сил в пользу государства, должно со временем развенчать государство. Международному праву, началу системы государств предстоит великая будущность... Во множестве государств прейдет величество государства, и оно, бог даст, превратится в доброго констебля, мирного друга свободы и порядка".

„Вот мои мнения,—восклицает в заключение Катков.— Представляю вам самим судить, в какой мере возможно в этом отношении сближение между нами".

К сожалению, у меня не сохранилось копии с моего ответа. Не помню даже, был ли письменный ответ или только личное объяснение. Все возражения Каткова очевидно проистекали из крайне односторонней точки зрения, которая побуждала

его видеть во мне исключительного защитника государственных начал и считать с моей стороны непоследовательностью признание свободы со всеми ее последствиями. То, что он называл „спасительною неконсеквентностью“, было только всестроннее воззрение на предмет, совершенно чуждое Каткову. Когда в известной области есть два начала, надобно понять их оба и стараться понять взаимное их отношение, а не держаться одного и сводить другое до полного ничтожества. Конечно, с воззрением на государство, как на мирного констебля, призванного только охранять внешний порядок, не мог согласиться ни один человек, имеющий малейшее политическое образование; но не было никакой надобности делать журнал исключительным органом таких крайних взглядов. Катков имел на это тем менее права, что в числе редакторов был Е. Ф. Корш, который держался совершенно иных мнений и так же, как я, видел в государстве не одно воплощение внешней силы, а устроение народного единства, призванное осуществлять совокупные интересы народной жизни. Когда Катков приглашал Корша оставить службу в Петербурге и сделаться его товарищем по редакции, он не думал предупреждать его, что журнал должен сделаться проводником противогосударственных начал и не будет терпеть ничего другого. На практике подобная проповедь могла иметь только один результат: сбить с толку русскую публику, давши умам совершенно одностороннее направление. Впоследствии сам Катков обрушился на это направление и стал яростно искоренять плоды, им посеянные. В личном разговоре, который я имел с ним перед окончательным разрывом, я старался убедить его, что с практической точки зрения, нам нет ни малейшей нужды расходиться. Он требовал полного уничтожения централизации, а я только его ослабления. Но в действительности он не мог надеяться, что русская государственная власть согласится превратиться в мирного констебля или что можно ее к этому принудить. Единственное, к чему мы могли стремиться, это — ослабление правительственной опеки, в чем именно мы были согласны. Мне казалось, что при скудости наших умственных сил вовсе не желательно разобщаться из-за оттенков, лишенных всякого реального значения. Но Катков не хотел ничего

слышать; он стоял на том, что для него это—дело убеждения. Таким образом, „Русский Вестник“, около которого в первую минуту собралось все, что в Москве не принадлежало к славянофильскому кружку, перестал быть органом известного общего направления, а сделался чисто личным органом Каткова. Дальнейшее участие в нем стало для меня невозможным. Я послал свою статью в „Отечественные Записки“, которые напечатали ее без всякого затруднения. Крузе говорил мне, что прочитавши ее, он был очень удивлен: Катков наговорил ему бог знает чего, и он ожидал найти страстную защиту самого крайнего деспотизма, и вдруг увидел только историческое объяснение централизации, с чем всякий либерал мог согласиться.[1]

После меня дошла очередь и до других сотрудников. Прежде всего, разумеется, надобно было отделаться от Корша, которого мнения расходились с установившимся направлением редакции. К сожалению, последовав приглашению Каткова и оставив службу в Петербурге, он не обеспечил себя никаким формальным актом, в чем друзья с самого начала его упрекали. Теперь, когда журнал упрочился, и Корш стал не нужен, его старались всячески теснить. Политическое обозрение, которым он заведывал, подвергалось цензуре и искажалось Катковым. Наконец, чтобы окончательно его выжить, с ним просто сделали гадость. Редакция желала иметь свою типографию, а средств у нее для этого не было. Но у Корша были друзья, у которых были деньги. Из дружбы к нему, они согласились внести свои капиталы. Дело было летом; все разъехались и дали Кетчеру доверенность для совершения окончательного акта. И вдруг оказалось, при подписи, что вместо редакции „Русского Вестника“, участниками предприятия являются только Катков и Леонтьев; имя Корша было опущено. Не будучи сам участником в деле, Кетчер не решился отказать в подписи; но все были до крайности возмущены. Приятели Корша не дали бы ни гроша Каткову и его

---

[1] Статья: „Новейшие публицисты. Токвиль, L'ancien régime et la révolution“, напечатана в „Отечественных Записках“, 1857 г., т. CXIII, стр. 501—582, (перепеч. в сборнике: „Очерки Англии и Франции“, М., 1858 г.).

другу; они были вовлечены в предприятие чистым обманом. Типография с первого раза пошла отлично, и деньги были им впоследствии возвращены. Но в результате редакторы остались хозяевами предприятия, основанного на чужие капиталы путем самой некрасивой проделки.

Разумеется, после этого Корш должен был прервать с ними всякие сношения. Он тотчас вышел из редакции и просил разрешения издавать свой собственный журнал. Я в это время жил в деревне, где провел всю вторую половину 1857 года; весною же 1858 я собирался ехать за границу. О всех последних историях я ничего не знал, как вдруг получаю от Корша письмо, в котором он извещает меня, что он оставил редакцию „Русского Вестника" и основывает свой собственный журнал „Атеней". Меня с первого раза удивила странность этой еженедельной формы, неспособной ни к газетной полемике, ни к основательному обсуждению вопросов. Английский еженедельный журнал того же имени имел целью давать небольшие критические статьи о текущей литературе; но в России требовалось совершенно иное. Неужели же Корш хотел этому подражать?

Когда я в начале следующего года приехал в Москву и посмотрел на всю процедуру издания, я пришел к убеждению, что „Атеней" едва ли пойдет. Тут не было ничего похожего на толпящуюся суету редакции „Русского Вестника", где собирались самые разнородные лица и происходило живое обсуждение текущих вопросов. Корш продолжал жить в своем скромном уединении, а, между тем, сам для журнала вовсе не работал. Едва можно было подвинуть его на какую-нибудь маленькую статейку. Основав новое предприятие, он, казалось, успокоился на лаврах и ожидал, что статьи будут падать ему прямо в рот. Он даже как-будто намеренно, с какою-то брезгливостью, удалялся от животрепещущих вопросов дня и спокойно предавался обсуждению чисто теоретических тем, которые никого не интересовали. При таких условиях трудно было рассчитывать на успех, тем более, что приходилось вступать в конкуренцию с „Русским Вестником", который, несмотря на свои диктаторские приемы, вел дело с несравненно большим умением и имел за себя уже упроченную репу-

тацию. В Москве не было достаточно литературных сил для двух журналов приблизительно одного направления. При всяких условиях, основание нового органа с оттенком, непонятным для большинства публики, было затруднительно. При редакторе, который вместо того, чтобы нести дело на своих плечах, уклонялся от всякой инициативы, это было предприятие, обреченное на скорую гибель.

Тем не менее, я старался на первых порах поддержать Корша, сколько мог, и работал для журнала тем усерднее, что с отъездом за границу моя литературная деятельность должна была надолго прекратиться. Я дал в „Атеней“ статью об истории французских крестьян, а также о промышленности и государстве в Англии; наконец, я написал статью о том вопросе, который в то время волновал все умы—об освобождении крестьян в России. В конце 1857 года вышли знаменитые рескрипты виленскому генерал-губернатору, которыми это преобразование ставилось на очередь. Начинали организоваться губернские комитеты. В своей статье я изложил тот способ освобождения, который я считал наиболее рациональным и соответствующим сложившимся у нас жизненным условиям[1].

Об этом уже некоторое время шли горячие прения. Славянофилы, с своей стороны, написали несколько проектов, которые в рукописи ходили по рукам. Сходясь с ними в самом существе дела, в необходимости освобождения крестьян с землею посредством выкупа, мы расходились в способе осуществления этой реформы. Славянофилы держались системы свободных соглашений, а я требовал действия правительства. По этому поводу Черкасский говорил мне: „Ваш проект предполагает разумное, вполне сознающее свою цель и твердо к ней идущее правительство, чего мы ожидать не можем. Мой же проект предполагает только проблеск здравого смысл, на который можно рассчитывать“. А Кошелев писал мне еще в 1856 году; „Совершенно согласен с Вами в том, что справедливо и необходимо уничтожить крепостное состояние, что

---

[1] „О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян“ („Атеней“, 1858 г., ч. I, № 8).

теперь, именно теперь должно к этому приступить, что откладывать невозможно, и что все опасения насчет этого переворота суть или создание воображения или выдумки эгоизма. Во всем этом я с вами совершенно согласен; но Вы во все вмешиваете правительство — Вы хотите, чтобы оно издало подробные положения насчет освобождения, чтобы оно после было судьею и исполнителем по всем спорам и жалобам, чтобы оно было постоянным опекуном и защитником всех и каждого—на это я никак согласиться не могу. Мое несогласие основано не на том только, что наша полиция гнусна и что наше правительство ничего не знает о России, что, впрочем, было бы достаточно для опровержения предлагаемого вами способа, который должен быть приведен в исполнение не со временем, а сейчас, но я считаю вмешательство постоянное и мелочное самой лучшей администрации в общественные и частные дела всегда делом вредным и опасным. Мое убеждение: правительство должно дать толчок уничтожению крепостного состояния, объявив основные правила, на которых освобождение должно быть произведено; но все остальное предоставить взаимным соглашениям помещиков с крестьянами. Не только Россия, но каждая губерния, почти каждый уезд так разнообразны, что если правительство возьмется установить правила, то оно перепутает все, ничего не разрешит, как должно, и из добра выйдет величайшее зло. Для соглашений у нас есть такой элемент, какого лучше желать нельзя—именно мир. Мир не легко принудить к подписанию какого-либо договора, на который он не согласен. К тому же правительство может удостовериться в согласии обществ через своих уполномоченных, при 24 или более понятых, собранных из окольных сел.— Вы имеете также в виду предоставление земли в личную собственность крестьян, а я убежден, что земля должна быть предоставлена в собственность крестьянских обществ; это — одно средство к избежанию пролетариата и общей бедности. Вы полагаете, что частная, дробная собственность гораздо благоприятнее для успехов сельского хозяйства, а я думаю на основании личной опытности и по сведениям, доставленным Францией, что частная, дробная собственность вредна для

успехов сельского хозяйства и убийственна для просвещения сельского сословия".

Последнее разногласие было, впрочем, чисто теоретическое. На практике я был убежден, и тогда же это высказал, что вопрос об общинном владении не должен быть решен вместе с вопросом об освобождении крестьян. Я полагал, что это дело дальнейшего будущего, что надобно предоставить его самой жизни, не запирая только двери, что и было сделано в Положении 19 февраля. Но частные соглашения я положительно считал недостаточными. Из письма Кошелева видно, до какой степени самые практические славянофилы предавались иллюзиям насчет крестьянского мира. Когда пришлось применять Положение, оказалось, что во многих местностях мир, вопреки убеждениям помещика, настоятельно требовал невыгодного для крестьян четвертного надела. Высказанный мною взгляд на способ освобождения нашел себе полное оправдание в последующем ходе дела. Он немедленно был усвоен людьми, призванными руководить работами. Милютин сказал мне, что мою статью в „Атенее" надобно положить в основание инструкций для губернских комитетов. М. Н. Муравьев, в то время министр государственных имуществ, пожелал со мною познакомиться и хотел, чтобы я у него работал. Но так как я объявил ему, что еду надолго за границу, то наш разговор кончился ничем. Действительно, в конце апреля я отправился в путь.

Цель моей поездки состояла в том, чтобы поближе узнать Европу и вместе приготовиться к ученой деятельности. Я писал по книгам об Англии и Франции, но убедился, что судить вполне основательно можно только побывавши в этих странах и изучивши их лично. В особенности экономический их быт известен мне был слишком поверхностно. Тут не трудно было впасть в крупные ошибки. Я хотел также прослушать курс государственного права в Германии. Перед моим отъездом, попечитель Московского учебного округа Евграф Петрович Ковалевский предложил мне кафедру государственного права в Московском университете, на что я изъявил согласие, а так как вслед за тем он был назначен министром народного просвещения, то я считал кафедру за собою обеспеченною.

При таких условиях отвлекаться от своего дела и погрузиться в громадную работу по освобождению крестьян было для меня невозможно. Когда образованы были Редакционные Комиссии, Милютин изъявил мне свое сожаление, что я не состою их членом; но я отвечал, что эту работу исполнят другие, даже гораздо более меня знакомые с практическим делом люди, а у меня есть свое специальное призвание, от которого я не могу уклониться.

Я уехал за границу в самую знаменательную для России пору, в минуту величайшего исторического перелома, когда готовилось преобразование, навсегда покончившее с старым порядком вещей и положившее основание новому. С тем вместе кончался чисто литературный период нашего общественного развития; наступала пора практической деятельности. Перед этим еще раз около немногих центров, соединилось все, что Россия заключала в себе умственных сил, как бы для того, чтобы собрать воедино все духовное наследие предшествующего времени и предать его новой исторической эпохе. Таково было существенное значение литературного движения второй половины пятидесятых годов.

Если мы взглянем на то, что было высказано в то время в приложении к настоятельным жизненным задачам, то мы должны признать, что русская мысль стояла на высоте своего призвания. Вопросы были поставлены верно, цели указаны правильно, самые способы действия были разработаны обдуманно и с знанием дела. Общественная мысль, по крайней мере в московских кружках, не забегала вперед, не задавалась фантастическими задачами, трезво смотрела на жизнь и держалась умеренного, хотя вполне независимого тона. В этом отношении и славянофилы и западники сходились в дружном действии. Вся программа нового царствования была заранее начертана в умах.

Но нельзя сказать того же о теоретической подкладке. Тут под внешним блеском скрывалась значительная бедность содержания. Основательного образования было мало, и славянофильство подрывало его в самом корне, отвергая истинные его источники и возвещая какое-то самобытное русское просвещение, которое должно было родиться из недр правос-

лавного скудоумия. Споры они вели недобросовестно, не разъясняя, а затемняя вопросы и сбивая с толку неприготовленные русские умы. Я уезжал возмущенный тою, во многих отношениях бессмысленною борьбою, через которую я должен был пройти при первом вступлении на ученое и литературное поприще.

Глубоко огорчил меня и тот раскол, который обнаружился в направлении, мне сочувственном. В то время, как нужно было соединить все силы в интересах русского просвещения, все распалось вследствие нетерпимости одного лица, которое не хотело допускать иных взглядов, кроме своих собственных, притом крайне односторонних и шатких, способных не менее славянофильства напустить туман на мало образованное общество. И это лицо, силою своего таланта и уменья, одно осталось торжествующим, беспрепятственно проповедуя сперва пустословный либерализм, а затем самую крайнюю реакцию и устраняя возможность всякой конкуренции на журнальном поприще [1].

Это явление убедило меня, что, вообще, журналистика имеет смысл и может принести пользу только там, где существует серьезная литература, которая служит ей основанием, пищею и сдержкою. У нас научная литература совершенно отсутствовала, а потому о политических, исторических и философских вопросах можно было болтать все, что угодно. Помочь этому горю могло только распространение основательного научного образования. В этом убеждении я решил не писать более в журналах, а вложить свою лепту в основной капитал будущего русского просвещения. Этому я и посвятил всю свою жизнь. Только раз, в 1861 году пришлось мне отступить от этого правила в силу обстоятельств, о которых я расскажу ниже [2]. В других случаях я твердо стоял на своем. В 1860 году, когда после падения „Атенея“ Соловьев, Бабст и другие мои приятели хотели издавать новый журнал и приглашали меня к деятельному сотрудничеству, я изложил им свой взгляд и прямо отказался. Предприятие, вследствие нашего

---

[1] Катков.

[2] Б. Н. Чичерин, „Московский университет.“

разговора, не получило дальнейшего хода. Позднее Черкасский не раз уговаривал меня издавать ежедневную газету; я отвечал, что это значило бы разменять себя на мелкую монету, а я желаю сосредоточиться на более серьезных задачах. Он возражал, что теперь в России книг уже никто на читает, а я доказывал, что если бы у нас было всего пять человек, читающих книги, то единственно для них стоило бы писать, ибо от них зависела бы вся дальнейшая судьба русского просвещения.

Не могу однако не сказать, по прошествии тридцати пяти лет почти непрерывной научной работы, что писать ученые книги в России в настоящее время—труд весьма неблагодарный, требующий значительной доли самоотвержения. Если даже в Западной Европе жалуются на то, что чтение газет вытеснило чтение книг, то у нас и подавно привычка довольствоваться легкою журнальною болтовнею делает несносным всякое напряжение мыслей, даже всякое умственное внимание. Число серьезных чтецов все более и более уменьшается. Я давно говорю, что образованный человек в России скоро сделается ископаемым животным. При таких условиях писать книги, которые, может быть, пригодятся воображаемой будущей публике, а пока только заполняют амбары никому не нужным хламом, составляет занятие очень непривлекательное. Я продолжал упорно тянуть свою лямку, но не раз приходило мне в голову сомнение: да полно, точно ли вся твоя долголетняя работа послужит кому-нибудь в пользу? Не обольщаешь ли ты себя пустыми призраками. Конечно, надобно надеяться, что и в твоем отечестве когда-нибудь водворится, наконец, основательное просвещение; но тогда найдутся и люди, которые исполнят требуемую задачу, а об тебе вспомнят разве, как о человеке, который не понял потребностей времени, и принялся бросать семена мысли на вовсе еще не приготовленную почву. Чем старее я становлюсь, тем настойчивее возбуждаются эти сомнения. Озираясь назад на свою прошедшую жизнь, я в раздумьи ставлю большой вопросительный знак. Только будущие поколения могут дать на него ответ.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ.

К стр. 2.

Эпиграмма С. А. Соболевского „На чтение К. К. Павловой в Обществе любителей российской словесности“ помещена в сборнике его эпиграмм, напечатанном под ред. В. П. Каллаша:

„Забыв о милой Каролине
О прелести ее стихов,
Я уезжал вчера ins Grüne
Послушать майских соловьев.
А бывшие в собраньи лица
Единогласно говорят,
Что этак воет лишь волчица,
Когда берут у ней волчат.“

К стр. 10 след.

Данные о руководстве Грановского занятиями молодого Чичерина и об отношениях его с семьей своего ученика дают письма его к матери Бориса Николаевича — Екатерине Борисовне Чичериной, напечатанные в собрании его писем („Т. Н. Грановский и его переписка“, т. II); там же помещено под № 346 письмо Грановского к самому Б. Н. Чичерину, касающееся его подготовки к университетским экзаменам.

К стр. 156.

„Письма из Риги“, написанные Ю. Ф. Самариным в 1849 г., заключали в себе резкую критику германофильской политики русской администрации того времени в Прибалтийском крае.

К стр. 162 — 163.

„Мысли вслух об истекшем тридцатилетии“ были напечатаны в „Голосах из России“, вып. I, Лондон. 1856.

К стр. 215 — 216.

Выдержки из писем Л. Н. Толстого сверены с изданием Библиотеки им. Ленина.

К стр. 217.

Дело идет о второй поездке Л. Н. Толстого за границу „Толстой за границу выехал 2 июля 1860 г. из Петербурга в Штеттин морем; был в Берлине, Лейпциге, Дрездене, Киссингене, Содене, Франкфурте; 6/25 сентября приехал в Гиер, где 20 октября ст. ст. умер его брат Николай Николаевич. С декабря 1860 г. по январь 1861 г. Толстой в Италии; в феврале 1861 г. Толстой опять в Гиере, затем в Париже, Лондоне; из Лондона выехал 5 марта ст. ст. в Брюссель, где Толстой общался с семьей кн. Михаила Александровича Дондукова-Корсакова“ (сообщено М. А. Цявловским).

ЗАПИСИ ПРОШЛОГО
ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

С. БАХРУШИНА и М. ЦЯВЛОВСКОГО

Ауэр, Леопольд. — Среди музыкантов	2 р. — к.
Брюсов, Валерий. — Из моей жизни	2 » — »
Брюсов, Валерий. — Дневники	2 » 80 »
Гершензон, М. — Письма к брату. Избранные места	2 » 80 »
Григорович, Е. — Зарницы. Наброски из революционного движения 1905—1917 г. г.	1 » 40 »
Декабристы на поселении. — Из архива Якушкиных . . .	2 » — »
Жемчужников, Л. — От Кадетского корпуса к Академии Художеств (1828—[illegible])	2 » — »
Жемчужников, Л. — В крепостной деревне (1852—1855 гг.) .	2 » 80 »
Кузминская, Т. (Рожд. Берс) — Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Распродано.	
Масальская, Е. А. — Повесть о брате моем А. А. Шахматове. Часть I-я. — «Легендарный мальчик»	2 » 90 »
Суслова, А. П. — Годы близости с Достоевским. Дневник, повесть, письма. Вступительная статья А. С. Долинина	2 » 50 »
Толстая, Софья Андреевна. — Дневники. Под редакцией С. Л. Толстого, с примечанием С. Л. Толстого и Г. А. Волкова, с пред. М. А. Цявловского. В 3-х вып.	
Выпуск I	2 » 80 »
Выпуск II	3 » — »
Толстой и Тургенев. — Переписка. С вступительной статьей А. Грузинского и М. Цявловского	1 » 60 »
Тютчева, А. Ф. — При дворе двух императоров. Воспоминания, дневник. Вступительная статья С. В. Бахрушина. Выпуск I (распродан). Выпуск II	3 » 25 »
Чичерин, Б. Н. — Воспоминания. Московский Университет. Вступительная статья и примечания С. В. Бахрушина.	3 » — »

КНИГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ

ВЫПИСЫВАЮЩИЕ СО СКЛАДА
ЗА ПЕРЕСЫЛКУ НЕ ПЛАТЯТ

СКЛАД в ИЗДАТЕЛЬСТВЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХ

Москва, Никитский бульвар, 8. Телефон 3-34-40



